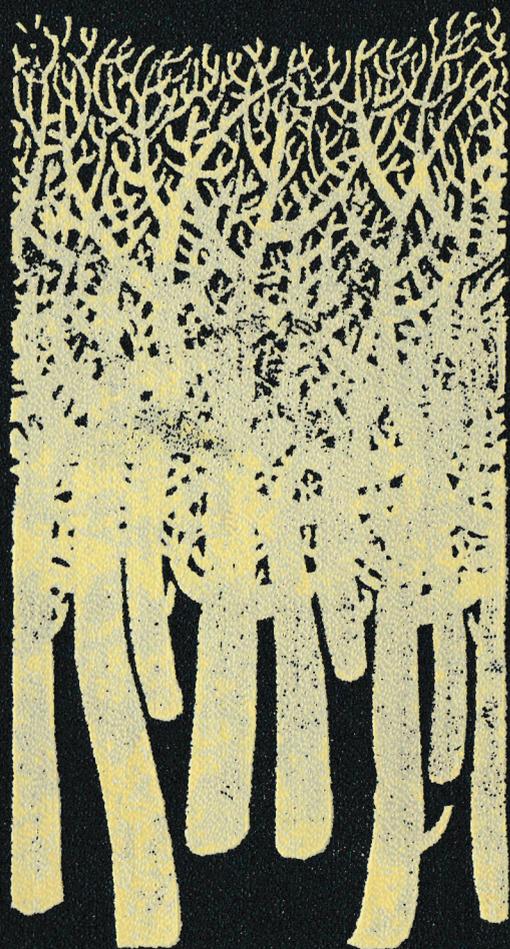


Л. ДАВЫДЫЧЕВ

*Самое  
длинное  
мгновение*

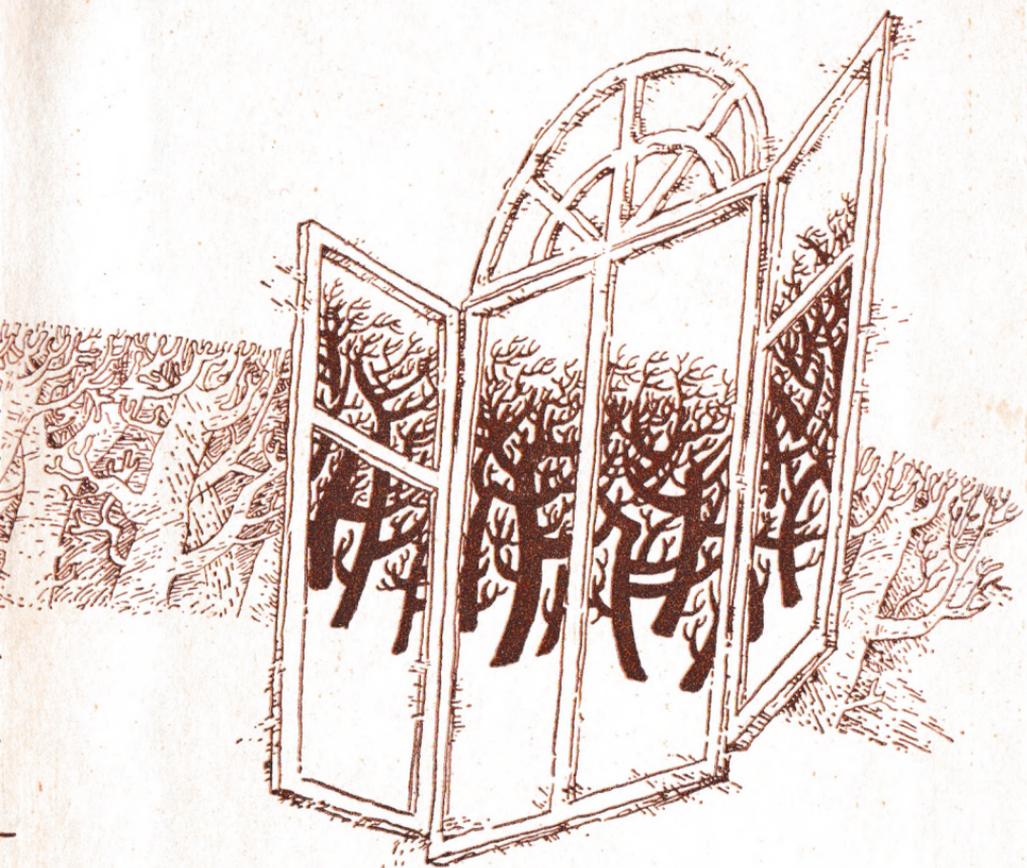


САМОЕ  
ДЛИННОЕ  
МГНОВЕНИЕ



Л. ДАВЫДЫЧЕВ







# Л. ДАВЫДЫЧЕВ



# Самое длинное мгновение

ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ



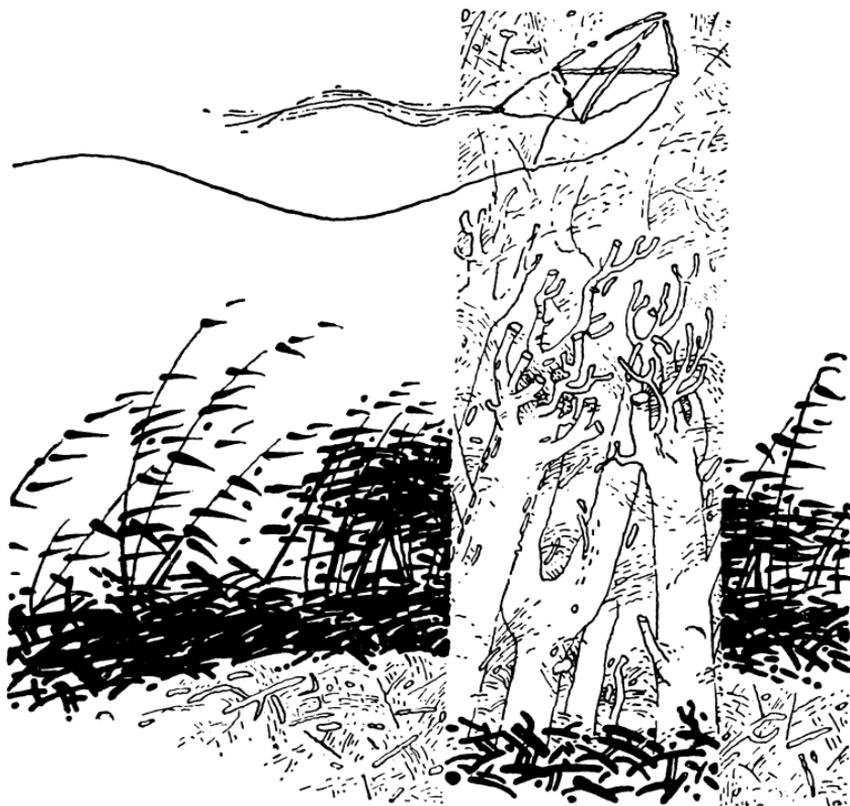
ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1988

ББК 84Р7—44  
Д 13

Д  $\frac{4702010200-8}{M152(03)-88}$  20—88

ISBN 5—7625—0046—2

© Пермское книжное  
издательство, 1988



## САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ

Он редко думал о смерти, но когда мысль о ней все-таки приходила в голову, желал только одного: не умереть бы весной. Ведь именно в эту пору к нему неизменно возвращались силы, он будто молодел и чувствовал биение жизни даже в кончиках пальцев своих огромных, натруженных рук, прошитых темно-синими венами.

Удивительные это были руки: некрасивые, пелепые размерами и формой, они вдруг обретали неожиданную красоту и изящество, стоило им к чему-нибудь прикоснуться, потому что к любой вещи, к любому малому предмету руки эти относились с нежностью и уважением, которое знакомо лишь тем, кто на сво-

ем веку много души вложил в созидание вещей. Труд сделал его руки некрасивыми в момент покоя, труд преобразал их, когда они делали дело.

И как раз весной-то он и вспоминал о смерти, вспоминал без страха, не веря, что перестанет дышать, что уйдет из этого уютного, суматошного, очень ему дорогого мира, не верил, потому что врос в этот мир... Ну, а если на то и пошло, лишь бы не весной!

А умер он весной.

Проснувшись по привычке рано, он сразу подивился бодрости, которой была пропитана каждая частичка его громоздкого тела, подошел к окну и толкнул створки.

Холодный, пронзительный аромат черемухи ворвался в комнату.

— Закрой окно, — сонно прошептала жена, — чего тебе не спится?

Он протянул руку и почувствовал, что ему не хватает воздуха, покачнулся.

Подкрался ветер, шире распахнул окно.

А он еще дышал, еще думал, а сердце уже не двигалось. С обидой решил: сейчас, вот сейчас он умрет.

Но — длинным, бесконечным было мгновение перед смертью, и в это мгновение он вспомнил многое и многому удивился.

Вчера шел с завода, и захотелось ему купить жене букетик цветов.

— Два рубля, — сказала подслеповатая старушка.

— Рубль, — сердито предложил он, торгуясь первый раз в жизни. — Везде по рублю.

— Два, — упрямылась старушка.

Не денег ему было жалко, просто обидела несправедливость. Не купил цветов, расстроился, чуть не обозвал старушку спекулянткой.

Дома он повздорил с родными, ушел на кухню, вбил гвоздь для посудного полотенца и сразу успокоился.

До поздней ночи ходил он по квартире и делал маленькие дела: собрал старые калоши и сложил их в ящик, смазал керосином дверные шарниры, чтобы не скрипели, песком вычистил таз под умывальником, золой протер ножи и вилки.

Каждое движение доставляло ему удовольствие, казалось необычайно важным.

Спать не хотелось. Он тщательно вытер пыль с приемника, купленного неделю назад. Смешно получилось: ушел в магазин за зимним пальто, а вернулся с приемником. Сначала родные дружно бранили его за неразумную покупку, но почти до утра слушали передачи.

Сейчас, в последнее мгновение, он пожалел, что не купил приемника раньше. Вообще не умел он жить! Так и не добился благоустроенной квартиры, так и не собрался съездить в сана-

торий, все откладывал да откладывал, не навестил брата, не... не... не...

Многого он не сделал. И, чувствуя, как в него холодом входит смерть, жалел о несделанном. Маленькой показалась жизнь, короткой. Уже родные сбегались на крик жены, увидевшей его смерть, а он еще жил, все еще длилось последнее мгновение.

Смеялась за окном лукавая весна, дышала устало и страстно, как молодая женщина, что вынырнула из ледяной воды и раскинулась под солнцем.

И он вспомнил девушку, ту, которая первой познакомила его с ласками, подарила все, чем владела... Остановил он разгоряченного боем коня около санитарной повозки, где всегда была эта девушка, а тут ее не оказалось. Больше он ее не встретил, потому что к вечеру бросила его наземь пуля.

Вспомнил, как в далекой азиатской деревне, где-то между небом и землей — в пустыне, — вылавливал басмачей, встретил свою будущую жену, как год не трогал ее. А зачем? Год, значит, отнял у радости.

Двоих сыновей своих вспомнил, но не живых, не людей, а бумажки похоронные об их смерти на поле боя.

Вдруг он с облегчением подумал, что умирает не впервые, ведь в сорок третьем году умирал — грохнулся на пол рядом со станком. Тогда вот так же холодно дышала у самого лица смерть, вот так же сбегались люди...

Черемуха за окном расплылась радужными пятнами. Он еще жил. Трудно было смерти сразу завладеть им.

Не собирался он умирать. Вчера, лежа в постели, рассказывал жене о своих планах. Во-первых, к осени уйдет на пенсию, во-вторых, начнет лечиться. Жена молчала, потому что слышала это в сотый раз.

Хорошо, что не ушел на пенсию, хорошо, что купил приемник. Хорошо, что дрался с беляками и басмачами. Хорошо, что в сорок третьем грохнулся на пол рядом со станком... хорошо... хорошо... хорошо... Длинной, затерявшей начало в дали годов, представилась ему жизнь. Было в ней столько событий, встреч, разлук, горя, радости, праздников, несчастий, друзей, врагов, вина, метелей, солнца, ненастья, что все это слилось в одно радостное ощущение бесконечности жизни.

И не смерть холодила руки, а живой холод металла чувствовали они.

И мертвые пальцы чутко зашевелились, привычно трогая знакомую поверхность какой-то огромной детали...

Жалко ему стало родных и близких, которые в непонятном для него страхе суетились вокруг. Что с ними? Чего боятся?

Нет, смерти не бывает, не страшна она ему ну вот нисколько, потому что не верит он в нее.

«Живем, живем», — радостно подумал он и умер, так и не успев поверить в смерть.

Лежал он, и удивительные руки его, словно живые, покоились на груди, красивые человеческие руки, готовые в любой момент вздрогнуть и начать делать дело...

1981

## ЗАВАРУХА

Иногда желание полюбить становилось таким острым и необоримым, что я с отвращением думал: а вдруг это обыкновенное физическое влечение? Ведь почти все женщины казались мне одинаково красивыми и желанными.

Я был на практике в поисковой партии. Геологи — сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылали на фронт, — не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, они спасались в работе: за день мы проходили не меньше сорока километров.

Поздними вечерами, наполнив желудки в основном водой, мы лежали в избе, вытянув натруженные ноги, дымили самокрутками и слушали тоскливые девичьи песни, невеселый женский смех за окнами. Мы были единственными мужчинами в деревнях, через которые проходил маршрут нашей партии.

Женщины звали нас песнями и смехом — без надежды, и, верно, сами бы удивились, если бы кто-нибудь из нас ответил на их зов.

Очень часто голод побеждал все остальные ощущения. Было одно желание — не просто поесть, а набить себя пищей.

Мы с мамой жили очень тяжело. Утром я выходил на кухню, а мама прятала хлеб. Когда приступы голода были особенно сильными, я искал спрятанный паек. Но ни разу не нашел его. (Только после войны мама рассказала, что подвешивала хлеб на окне, за шторой.)

Однажды, вернувшись из маршрута, я увидел на крыльце нашей избы девушку, такую, какими кажутся все девушки в юности, — легкую и светлую. Это была Леля Соколова, со второго курса. В техникуме мы только здоровались.

Здесь же, когда пришлось делить радости и невзгоды трудной геологической жизни, мы быстро подружились. Было в ее отношении ко мне что-то материнское. Сердце сжималось от счастья и сладкого стыда, когда она делила нашу еду на две явно неравные части.

Ее мать работала в продовольственном магазине, и из города Леля привозила каждый раз рюкзак снеди. И я краснел не от жара костра, на котором бурлил в котелке вкусный ужин...

— Все равно на всех не хватит, — успокаивала меня Леля, и я вскоре перестал краснеть.

День ото дня, а может час от часу, мы все чаще встречались глазами.

Как-то ночь застала нас в лесу. Я разжег огонь. В его отсветах Лелино лицо казалось бледным. Мне было весело и жутко сознавать, что мы одни, что мы в опасности, что кругом злоеущий лес, наполненный таинственными шорохами. Страшнее, но и желаннее их была тишина. Когда она внезапно и ненадолго наступала, нервы в ожидании чего-то натягивались... Стоило протянуть руку в сторону, и ее схватывал холод.

Костер дышал тепло и ровно. У меня чуть кружилась голова — от голода и необыкновенного ощущения близости...

А до утра было далеко.

— Холодно, — сказала Леля.

— Ничего, — ответил я, — не бойся.

— Я не боюсь...

Временами на меня наваливалась дрема, и я словно опускался куда-то.

— Иди ко мне, — услышал я, — холодно...

Под моей рукой билось ее сердце. Она ничего не говорила, не двигалась и не спала.

Только когда начало светать, она спросила с сожалением:

— Пойдем, да?

Мы шли быстро, будто бежали от уже содеянного греха.

Несколько дней Леля казалась мне чужой — так бывает после первого обнаружения близости. И конечно же я верил, что мы судьбой созданы друг для друга.

Никто не замечал наших отношений. Для геологов мы были просто практикантами, нам давали задания, учили работать и — все.

Нас стали посылать в самостоятельные маршруты. Это значит: рано утром мы уходили в путь и до вечера были вдвоем.

Едва мы сворачивали с дороги в лес или в поле, Леля громко и радостно вздыхала и снимала платье. Была она доверчива и совершенно не считалась с тем, что я, так сказать, мужчина, а она — женщина; спокойно шагала впереди. Сильная и гибкая, с гладкой смугловатой кожей, она — среди лугов, цветов, солнечных лучей — словно вместе с платьем снимала с себя будничность и обыкновенность, все, что может вызвать земные желания.

Но я с каждым днем все чаще ловил себя на мысли, что рано или поздно кровь ударит мне в голову. Думалось об этом чисто и откровенно.

А Леля ничего не замечала.

Сидели мы однажды в тени, утомленные походом. Неожиданно для себя я спросил:

— А если не сдержимся?

Она покраснела, подтянула колени к подбородку и, помолчав, ответила:

— Не знаю... А почему ты спросил? — Леля нахмурилась, взгляд ее стал испуганным. — Разве можно об этом думать? Да как тебе это в голову пришло? — Голос ее звучал недоуменно, а выражение лица приняло суровый оттенок. — Как тебе не стыдно?

Удивительно, но мне не было стыдно. Не было стыдно даже за то, что не стыдно. Я любил, я был уверен в своем чувстве, не боялся его, не боялся за него. И еще я был убежден, что сильнее любви нет ничего на свете.

Когда двинулись в дорогу, я сказал:

— Я ведь не хотел тебя обидеть.

Она улыбнулась, и в улыбке проскользнула грусть. Я шел следом и думал, что ведь Леля испытывает то же самое, что и я.

Тропинка, по которой мы шли, вела вдоль глубокого, с крутыми, почти отвесными склонами оврага, называемого почему-то Волчьим. По дну его были ямы, края которых густо, непроходимо заросли крапивой и малиной. О глубине ям никто не знал. Местные жители предпочитали обходить овраг стороной.

И мне в голову пришла отчаянная мысль — свалиться туда, изувечиться и сказать Леле:

— Прощай! Прости меня за все!

И не успел я подумать, как земля под моими ногами обвалилась и я поехал вниз на куске дерна. В первый момент я околел от страха. Но вот движение остановилось.

В трех-четыре метрах от меня — черный зев ямы. Ухватиться не за что. Я боялся открыть рот, боялся повернуть голову, даже думать боялся. Ведь пошевелись подо мной хоть одна песчинка — и я полечу в яму.

— Я сейчас... сейчас... — раздался испуганный Лелин голос. Вверху что-то зашелестело, затрещало, а Леля говорила: — Сейчас, сейчас, сейчас...

Над моей головой показались ветки молодой березки, и я вцепился в них и — полетел вниз.

Ладони ожгло.

Я удержался — лег на склоне. Но стоило подтянуть ногу, как она тут же скользила по песку назад.

Руки напряглись до того, что заломило в локтевых сгибах. Вдруг я ощутил, что меня тянет вверх, и стал осторожно помогать ногами. Руки онемели, казалось, их вот-вот сведет судорогой.

И когда я вполз на тропинку, на твердую землю, то лишь тогда испугался по-настоящему — до озноба.

Леля лежала рядом на спине. Грудь ее тяжело и коротко вздымалась. Тело блестело от пота. Не знаю, сколько мы так пролежали. Закрыв глаза, я целовал Лелю, вернее, просто благодарно прикасался к ней губами.

Всю дорогу мы молчали.

Ноги у меня подкашивались.

Я думал, как в городе приведу Лелю к нам домой, познаком-

лю с мамой, покажу любимые книги, те, которые мы еще не прочли...

В избе никого не было. Записка сообщала, что завтра геологи уходят в далекий маршрут, поэтому сегодня ночуют в соседней деревне. А нас они просили сегодня же принести им уж не помню какой инструмент. Вернись мы домой вовремя, поручение не смутило бы меня. Но сейчас я к тому же едва стоял на ногах, у нас не было ни крошки хлеба.

Я лежал на лавке и чуть не плакал от бессилия.

— Пойду я, — сказала Леля. — Ты плохо себя чувствуешь. — И не успел я возразить, как она обняла меня и зашептала: — Ну разреши... ну отпусти... я быстро сбегаю...

Она так и сказала сбегаю, хотя до соседней деревни было больше пяти километров.

— Я скоро-скоро... быстро-быстро... — шептала Леля. — Понимаешь? Ведь мы будем одни... я и ты... и никого...

— Нет, нет, — бормотал я, удерживая ее.

— Разреши, отпусти... ну, мне хочется... для тебя... мне приятно...

Она ушла. Я понял: ей хочется совершить что-то трудное, очень трудное...

Для меня...

Я лежал в сумерках. В теле было столько слабости, что больно было шевелиться. Верил я, что Леля вернется быстро, потому что я люблю ее, что она меня любит. Она вернется для того, чтобы больше уже не расставаться... навсегда... на всю жизнь...

...А дорога петляет полем, потом — лес. Там темнота. И сквозь темноту ко мне идет Леля. Моя Леля... Я то казался себе ничтожеством, потому что не я ей, а она мне доказывала силу любви, то, наоборот, готов был торжествовать.

Радость, гордость, сладкая и острая тревога ожидания... Но я пересилил себя, поднялся, вытащил из рюкзака свое единственное сокровище — кусок мыла. Мама просила привезти его домой.

Я обменял мыло в соседней избе на несколько стаканов муки и кусочек топленого масла.

Знаете, что это такое?

Это мечта!

За-ва-ру-ха!

Большой котелок заварухи — муки, обваренной кипятком. Если есть ее с маслом... Я глотал слюни, внутренности словно склеились, и чтобы хоть как-то обмануть себя, я выпил воды, много воды... лежал на лавке, борясь с головокружением. Лежал долго. Временами приходилось впиваться пальцами в края лавки, чтобы не броситься к котелку.

Но я верил, что Леля придет, а ее ждет сказочный подарок — заваруха. Не подарок, а — дар.

Вцепившись руками в лавку, будто вдавившись в нее, я мысленно ел муку, запивая ее водой.

Внезапно я почувствовал, что Леля недалеко, бросился к печке, чиркнул спичкой — и сухие щепки под таганцом вспыхнули. Я приплясывал от нетерпения. Иногда мне даже слышалось Лелино дыхание.

И где тут разберешь, от чего кружилась голова — от голода или от любви. Помню только, что я обеими руками оперся о печь, чтобы не упасть.

Оглянулся — Леля стояла на пороге, сзади освещенная лунной. Вокруг головы тонкий венчик сияния. Лунный свет мягко, но отчетливо высветил каждую линию тела.

А на полу дергалась моя изломанная тень.

Плясало пламя, и тень моя подплясывала.

Мы с Лелей обнялись.

Тут я понял, как страшно было ей идти, как она любит меня. И чтобы доказать ей, что я люблю ее несколько не меньше, я поставил на стол котелок с дымящейся заварухой.

До сих пор помню его, мятый, закопченный...

Из него валил пар с пронзительным запахом съестного...

— Что это? — брезгливо спросила Леля, понюхав воздух.

Мне показалось, что я ослышался.

— Ешь, ешь, — не сказал, а испуганно приказал я.

— Е-е-ешь? — недоуменно и обиженно переспросила Леля. — Эту гадость? Да ты что? — Расхохотавшись, она рюкзачком отодвинула котелок. — Я достала картошки...

Котелок упал на пол.

Лунный свет безжалостно освещал горькую картину — дымящаяся заваруха расплылась по полу, стекая в щели.

Преодолев тошноту и головокружение, я широко расставил ноги, чтобы не пошатнуться, не рухнуть. Правая рука набухла. Но я не ударил Лелю по презрительно и брезгливо искривленным губам.

— Ты что? Ты что? — испуганно прошептала она. — Это же ерунда... глупость... нелепость... — Она обняла меня, прижалась и громко сказала: — Я же люблю... очень... насовсем... Ты слышишь?!

Оттолкнуть ее у меня не было сил, и я опустил на пол. Есть я уже не хотел. Но я не имел права дать погибнуть заварухе.

Леля села рядом. Она гладила меня по голове и что-то говорила ласковым, но нехорошим — сытым голосом.

А я ел, заставлял себя есть заваруху.

И жалел только о том, что мама далеко.

# ЛЮБОВНАЯ ДРАМА У НАС В БАРАКЕ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Он появился у нас в бараке к вечеру, но уже на другой день и до самой своей несурзной, а для него вполне закономерной гибели был на нефтепромысле известной персоной. И забыли о нем не скоро, и многие женщины унесли в себе память о нем, верно, навсегда. Не забыли его и некоторые мужчины — с презрительно-завистливым уважением вспоминали долго.

За большим барачным окном зло и давно уже выжил декабрь, а на парне была промасленная телогрейка с одной пуговицей, рваные ватные штаны, кирзовые стоптанные сапоги и грязная пилотка.

Плотно и старательно, даже как-то благоговейно притянув за собой дверь, парень постоял у порога, шурясь от тепла и света, осмотрелся и стылым голосом выговорил:

— Хорошо у нас...

Тетя Лида, высокая, прямая, для военного времени очень полная сорокалетняя женщина, совмещающая обязанности уборщицы и воспитательницы, — вернее, она была уборщицей, а по штату числилась воспитательницей, — вышла из своего закутка, огороженного досками, спросила недружелюбно, настороженно и заинтересованно:

— Откудова и зачем сюда пожаловал?

Он взглянул на нее — сразу на всю, потом ненадолго задержал внимательный взгляд на ее груди, на голых белых ногах, чуть подальше — в глаза ей посмотрел; растянул оттаявшие большие, сильные, немного вывороченные губы в улыбку, наглую и добрую, подмигнул и отвечивал:

— А я, дорогая моя, оттуда, где мне не понравилось. Убег я оттуда, испарился. Даже запаха моего тамо-ка не осталось. Очень уж я... — Он долго смотрел тете Лиде в глаза. — Очень уж я качественный. Вот тебе, милая моя, направление из конторы. И вообще, здравствуйте все. — Он прошел к плите, пригнувшись, будто крадучись к живому существу, присел перед огнем на корточки, протянул к нему багровые руки, блаженно зажмурился и заприкряхтывал.

Пока тетя Лида вертела в руках бумажку, парень снял телогрейку, стянул сапоги, расстелил на полу портянки из цветастой материи, видимо бывшего платья.

— Дело понятное, — чуть ли не испуганно и ласково сказала тетя Лида. — Добра от тебя, видать, не жди... — Она помолчала, вся сжавшись, выдвинув вперед большие литые плечи, и с надеждой, не сводя с него глаз, виновато спросила: — Так, что ли?

А парень повернулся спиной к плите, закричал от удовольствия, будто задышаться начал от жаркого блаженства, ответил не сразу:

— Добра от меня вагон тебе будет, милая, плацкартный. Вот согреюсь, все доложу, и всем ты довольная будешь. А пока ты мне, дорогая моя, постельные принадлежности организуй, да чтоб два одеяла, не меньше. Я зябкий. Да кусочек мыльца взаимно предложу.

Был он гладко выбрит, тощая шея — грязно-красная, а поджарое тело — неестественно белое.

Я сразу заметил, как чем-то обеспокоилась тетя Лида, как торопливо вынесла ему полвафельного полотенца и кусочек мыла, как, уже не отрываясь, разглядывала этого парня, хватаясь руками за пылающие щеки. А он нежился перед плитой и под взглядом тети Лиды то садился, то вставал, потом снял штаны и остался в одних кальсонах, обрезанных чуть ниже колен.

— Срамник, — ласково, задыхаясь, сказала тетя Лида. — Вон ребята при мне так никогда...

— Так то ребята, — оттянув резинку кальсон и пуская туда жар от печки, объяснил парень. — Ничего они пока в нашем главном деле не кумекают. А я, дорогая моя, мужчина в самом что ни на есть соку... Тазик мне какой-нибудь предложу. Помоюся перед делом. А жить тебе и всем вам со мной будет прекрасно. А уж как ты мной довольна будешь... не бывало еще с тобой так... — Он прикрыл глаза, голову закинув назад, из горла вылез столь великий и острый кадык, что, казалось, вот-вот распорет кожу.

Тетя Лида принесла таз с водой, поставила его на плиту, небрежно отодвинув наши кастрюльки с едой. Двигалась она суетливо, часто поправляла волосы, одергивала кофту, стремительно оглядывалась по сторонам, а мы прятали от нее глаза, чтобы она не заметила нашего настороженного и острого, почти ревнивого любопытства и тревожного удивления.

— Зовут меня Серега, — напевно, хотя и хриловато, прислушиваясь к самому себе, заговорил парень, — по фамилии Стригалева. Отца, грешника несусветного, Пантелеем звали. Шофер я. Жизнь люблю. Чего и тебе, ласточка моя, желаю. Сегодня мне одеться во что-нибудь дай. Верну.

— Все, все у меня есть, все! — громогласно сказала тетя Лида. Она уже застелила ему койку, а он и глазом не повел, сидел на полу, царапался, говорил, словно кого успокаивая:

— Мужик я очень хороший. Цену себе знаю, потому и не навязываюсь никогда. Меня везде все любят. Кто — даже и без памяти. Зла никому не делаю. Добрый я, значит. Натура у меня такая. Не серди меня только, и я с тобой помурлыкаю.

— Не на фронте ты почему? — опять громогласно и страстно спросила тетя Лида.

— Инвалид, — с достоинством и лукаво ответил Серега, —

ноги у меня плоские. Да здесь я и нужнее. Пользы от меня — не сосчитать скоко. Сама, дорогая моя, все сама узнаешь.

Мы смотрели не на него, а на тетю Лиду. В наших глазах она до появления Сереги была чуть ли не старухой. А тут она помолодела, раздумянилась, как-то прогнулась в спине, расправила вдруг ставшие роскошными плечи, — будто раньше прятала свое большое тело, а сейчас вспомнила про него, и оно ожило каждой мышцей, каждой округлостью.

И мы почувствовали себя здесь как бы лишними, совсем посторонними, будто бы не Серега к нам заявился, а мы пришли в его с тетей Лидой жилье; мы обидно ощутили себя мальчишками, хотя работали по двенадцать часов в сутки без выходных... И работы наши были не из легких. А тут мы сидели на своих койках, обреченно ждали, что же будет дальше; и заранее чего-то боялись, нервничали, если выразаться по-современному.

— Умывальня у вас за дверьми? — спросил Серега. — Неси, дорогая моя, тазик туда.

Тетя Лида бросилась к плите, схватила таз, отдернув руки, ойкнула, задрала подол — Серега стрельнул одним глазом туда, в белое богатство, — подхватила таз и почти бегом — к дверям, толкнула их плечом.

— Понятливая, — с уважением и задумчиво, словно чего-то припоминая, сказал Серега, сосредоточенно почесывая низ живота, — с такой потом трудновато будет... Это когда она ко мне привыкнет, — объяснил он нам, всовывая ноги в сапоги, и направился за ней, помахивая вафельным полотенцем.

Не сразу вернулась тетя Лида, скрылась в своем закутке, хлопнула там дверцей тумбочки, опять убежала в умывальню с бельем в руках.

Настороженность наша пополнилась тревогой. Ведь мы все ждали — каждый свою — любовь. Она мерещилась нам всюду, всегда, во всем. Мир представлялся пропитанным любовью, ее было так много и она была настолько жива и прекрасна, что даже вот эта страшная война не могла ее истребить; наоборот, может, именно война обнаружила для нас, что любовь — сила великая, неистребимая и всевластная. И еще нам казалось, что не только каждый из нас ждет любви, а вообще, пришло ее время для всех, назло войне. Нам чувствовалось, что человечество всегда молодо, как сейчас молоды мы. Ни голод, ни холод, ни сознание — в прямом смысле слова — смертельной опасности, нависшей над миром, над Родиной, над каждым из нас, не могли — разве что ненадолго — раздавить, искромсать или хотя бы приглушить неистребимую уверенность в обязательности любовного счастья для всех и для каждого.

Мы и боялись пришествия любви, потому что мыслили ее не будничной, незначительной, а — невероятной; мы и ждали ее...

Конечно, в мечтах об этой удивительной и столь нам необходимой любви временами мы не верили самим себе. Чего-чего, а ведь беззаботности в нас не было ни капли. Мы знали: прежде

чем придет черед нашим, пусть самым скромным желанием, должна окончиться война. И еще — не столько знали, сколько жили ощущением, верой, что от каждого из нас зависит, когда придет конец проклятой войне. Все для фронта, все для победы — это был не просто лозунг, даже не просто мысль, а чувство, а смысл жизни.

Черный диск репродуктора... Сколько надежд было устремлено к нему, сколько он приносил скорбного и радостного... Сводки Информбюро мы слушали стоя, словно принимая присягу или готовые сейчас вот дать клятву, что выдержим все. Не мог черный диск сообщить весть, которая лишила бы нас веры в победу... Мы жили. И мы каждый день думали о том, как прожить именно его, этот день...

Так вот, мы ждали и хотели живой любви, которая и есть настоящая, от которой и происходит жизнь. Мы были чисты в помыслах, но в желаниях, оформившихся и резких, мужала греховность, желанная и неотторжимая, радующая нас и пугающая. Мы уже с искренней усмешкой, если не с презрением, вспоминали свои юношеские влюбленности, не предполагая, конечно, что, как говорится, по истечении срока влюбленности эти сильно возрастут в значении по сравнению с первыми телесными притязаниями, которые несколько раз едва не показались любовью...

В тот вечер мы угадали, что теряем нашу тетю Лиду, что она уходит от нас и к нам уже не вернется. Ведь мы, оторванные от мам, привыкли к ней и не представляли, как это мы будем жить без ее прежних забот о нас.

Если в чем и заключалась воспитательная работа тети Лиды, так в том, что она самым строжайшим образом следила, чтобы мы экономно расходовали зарплату и особенно продовольственные карточки. В этом она была сурова и даже груба, но лишь благодаря ей мы научились растягивать карточки на целый месяц. И еще тетя Лида с непонятным для нас неистовством добивалась, чтобы мы остерегались девчат, не только не приглашали их в гости, но чтоб и разговаривали с ними редко и поменьше.

— Кончится война, — внушала нам тетя Лида, — оглядитесь, приглядитесь и по-хорошему, по-человечески выберите, которая по душе. А то сейчас девки дурные. Знают, что после войны им туго придется, вот и торопятся хоть на срам...

Значит, теряли мы тетю Лиду. Отдалялась она от нас туда, куда нас до сих пор сама не пускала.

Место, где мы жили, именовалось Промплощадкой. Находилась она на окраине города, выстроенного перед войной. Барак наш стоял прямо у дороги.

Город был необычен — какой-то гибрид без плана разбросанных улиц с нефтепромыслом и бумкомбинатом. Буровые вышки и нефтяные насосы-качалки попадались чуть ли не среди жилых зданий.

Барак наш разделялся на три секции, две семейные и од-

на — общежитие на двенадцать коек. По военным временам мы — выпускники техникума — устроились совсем неплохо. В бараке даже бывало электричество.

Посередине комнаты громоздилась большая печь с плитой, которую мы топили углем, приворовывая его на железнодорожной станции.

По двенадцать часов мы работали, не считая времени на дорогу, а они, дороги, были в десятки километров, а добирались мы — как повезет. Всегда мы хотели есть и спать, особенно зимой. Вернешься с мороза (а военные морозы были на редкость злыми) в общежитие, где от плиты исходит густой жар, который почему-то казался мне мохнатым, и сразу начинают слипаться веки, но заснуть не дает голод... Я уважаю себя за те годы, счастлив, что вместе со всеми перенес положенную мне долю страданий, в полной мере оценил кусок хлеба как средством выжить и сделать порученную работу, испытал чувство великой веры и надежды; видел и пережил, пожалуй, самое главное: нестремимость жизни, ее способность сохраняться в условиях, в которых куда легче и естественнее было принять смерть, чем выжить. А люди не просто выживали, они еще и находили возможность жить.

В тот вечер, когда состоялось наше с Сергеей знакомство, я блаженствовал: из-за высокой температуры меня освободили от работы.

У нас в электроразведке был так называемый ненормированный рабочий день. Это значило, что меня могли вызвать на базу в любое время суток — с постели, из клуба во время киносеанса, из бани, откуда и куда угодно и — на любой срок да еще без еды. Вот, бывало, лежишь под одеялом, от плиты — африканское тепло, глаза слиплись, в животе — полкотелка овсянки и литр кипятку, а за окном — сквозь любой сон услышу — машина остановилась: мне ехать на буровую. Я одеваюсь у плиты, чтобы забрать в себя как можно больше тепла, вздеваю на себя, кроме рубашки, фуфайку, пиджак, телогрейку, полушубок, пальто, брезентовый плащ, еле-еле залезаю в кузов... Километров сорок в ледяной тьме на ветру... Мечтой моей было — работать хоть по двадцать часов в сутки, но чтоб четыре часа принадлежали только мне и никто не имел права их отнять...

И вот я лежал, и никто не имел права вызвать меня на работу! Никто!

А если к этому добавить, что из-за температуры я не очень хотел есть (невероятное ощущение!), а весь день я проспал, то можете поверить, что мне было как в сказке? Да еще под подушкой книга «Алые паруса»... Чего еще надо?!

...Тетя Лида вернулась из умывальни, прошла по комнате, как еще никогда не ходила — все тело ее ожило, играло, что ли, веселилось. Никого не видела она, села к столу и умиленно-стыдливо выговорила:

— Моется... — И застенчиво, красиво улыбнулась.

А надо сказать, что в нашей умывальне холодина была как на улице, и тетя Лида затратила много сил, терпения и голоса, чтобы приучить нас умываться каждое утро и после работы. Серега же там пробыл более получаса, вернулся сияющим, разгоряченным и как бы одновременно продрогшим; короткие волосы торчали мокрым ежиком. На парне было чистое нижнее белье с завязками вместо пуговиц. Он сел у плиты уже не на пол, а на подставленную тетей Лидой табуретку, негромко попросил:

— Портянки мне сострирай скорее. Кипяточку мне предложь. Карточки я ведь только к завтраму получу. А не жрамши я давненько. Уж пожалей ты меня, милая моя да хорошая...

И опять засуетилась, заспешила, заспотыкалась почти на каждом шагу тетя Лида, а он все, даже кусочек хлеба и две вареные картофелины, принял как должное, без твое удивления или благодарности, громко прихлебывал кипяток, куда тетя Лида бросила несколько кристалликов сахараина, щурил голубые пустые глаза, в которых мгновениями — это когда он задумывался — появлялось что-то ласково-хищное.

— Из каких же ты мест? — тоскливо спросила тетя Лида, будто спрашивала о своей судьбе, и он ответил, аккуратно откусив и тщательно прожевав дольку картофелины:

— Потом, после все узнаешь, моя дорогая. Всем довольна будешь, моя милая. А в местах я во многих бывал. И ни в одном долго побывать не удавалось... Ублажу я тебя, дорогая моя, аж на всю жизнь.

— Больно уж скор ты на посулы-то! — испуганно, видимо, поверив в обещание, шепнула тетя Лида.

Он кивнул, сказал:

— А я знаю, что сулю-то.

Роста он был чуть выше среднего, костист и мускулист, сутулился немного, вернее, пригибался, как боксер или борец перед атакой. Была у него странная привычка — часто и быстро ощущать себя бережными, но беспокойными прикосновениями.

...Ребята стали собираться в столовую: котелки на плите принадлежали тем, кто придет с первой вахты. А те, которым во вторую, в ночь, торопились в столовую.

Ах, столовая, столовая!.. Вернее, столовка... Она была одна на весь поселок, на всю нашу Промплощадку. Две официантки — сейчас бы таким ядра на соревнованиях толкать — разносили баланду враз в двенадцати алюминиевых тарелках, поставленных одна на другую; разгоряченные, сытые, здоровенные девки, вращая огромными, сытыми же бедрами, властвовали среди голодных, усталых, рвущихся к еде мужчин.

Из-за стола мы поднимались медленно, будто обманутые. Ведь каждый раз мы в глубине души надеялись испытать ощущение хотя бы неполной сытости, а его не было, есть после обеда хотелось еще больше, еще острее, чем до него.

— Столовка во скоко закрывается? — спросил Серега и подробно разузнал у нас, как зовут официанток, что они из себя

представляют (мы разведенными руками пытались создать представление о их габаритах) и в поведении чем они отличаются: веселые, гордые или, как он выразился, брыкливые. На эти вопросы мы, человек шесть, еще ответили, но затем Серега стал допытывать: ноги у них какие, шаг широкий или узкий и... тут мы только могли пожимать плечами, удивленно переглядываясь: в столовку мы ходили есть.

— Да ты на них, официанточек-то наших, больно-то не располагай, — насмешливо и явно ревниво сказала тетя Лида. — Вашего брата у них сколь угодно. Да они себе лишнего-то с вами не позволят! У их ухажеры есть.

— А мне лишнего и не надо, — объясняюще ответил Серега. — Зачем мне какое-то лишнее? Мне только самую меру. Правда, мера у меня сильная. Ну, а ухажеры... Тут я самый главный.

— И врать ты горазд... — упавшим голосом выдохнула тетя Лида.

— Нет, моя ненаглядная, — возразил Серега. — Все, все узнаешь, моя ласковая, и меру мою узнаешь, и все такое, и всем довольная будешь.

Сквозь тревогу и недобрые предчувствия я еще ухитрялся наслаждаться покоем, просто вот возможностью лежать в тепле, зная, что и утром — лежи сколько угодно... Но в желании счастья человек не ведает покоя, и я уже размышлял о том, что, если меня придет навестить Любка-шоферка?

Кстати, подошло время рассказать о ней, о нашей замечательной Любке. Все мы пережили любовь к ней, никому она не ответила взаимностью, но никого и не обидела хотя бы словом. Умела она будто бы не замечать и будто бы не понимать, отчего это на нее глазают, и не видеть в наших взглядах того, как мы мечтаем о ней.

Когда-то она работала в столовке хлеборезкой — лучше места и должности не придумаешь, не то что не найдешь. От каждой порции — крошка, и то сыта будешь, и, кроме всего прочего, можешь золотое кольцо на пальце занять, а чуть погодя и золотые часики, и сережки тоже не медные. У Любки, правда, ничего этого не было, жила она как-то странно — очень уж скромно для такой должности. Говорили, мать ее сбежала еще до войны с каким-то грузином, очень волосатым и очень молодым. Потом грузин ее бросил, и она лишила себя жизни.

Любка жила в маленьком домике с отцом, который больше так и не женился и все перед Любкой оправдывал ее мать. Погиб он на фронте в третий месяц войны. Любка пустила в свой домик эвакуированных. Ее, конечно, и не спрашивали — в том смысле, пустит или нет, но вот перед кем дверь открыть, Любка выбирала сама. И тут она удивила всех, приведя в домик к себе трех женщин и пятерых малолеток. Промучилась она с ними целый год и ушла в общежитие. В огород те женщины-матери Любке не позволяли даже и заглядывать...

Но, как это в жизни бывает, все потери и несправедливости

вывели Любку на счастливую тропинку, о которой она только смутно подозревала. Любка и раньше говорила, что очень любит кататься в автомашине, но однажды кто-то из шоферов не просто ее прокатил, а дал ей руль подержать, скорости попереключать, посигналить и немного проехаться почти самостоятельно.

Мало времени и прошло, а Любка уже водила грузовик, а потом — все только ахнули, а кое-кто и сплюнул — стала шофером. Это из столовки-то! Из тепла-то да от еды!

Значит, жила в Любке ей одна предназначенная страсть, которая не сразу обнаружилась, но когда открылась, Любка отдалась ей вся.

И села наша красавица за баранку в кабину самой задрипанной полуторки, от которой отказались все шоферы; в жару и в стужу, в пыль и слякоть затряслась Любка по бездорожью; копалась в полудохлом моторе, буксовала, часами валялась под своей машиной.

И — счастливая была.

А шел ей тогда девятнадцатый год. Когда она летом вдруг появлялась не в замасленном комбинезоне, а в обыкновенном платье и белых прорезиненных тапочках, казалось, что война кончилась...

Размышления мои, смутные и жаркие, вспугнули громкие голоса — ребята ушли в столовку. Я отвернулся к стене, закрыл глаза, уверенный, что сейчас в моем сознании возникнет живая Любка, но вдруг задремал, вдруг тут же проснулся и услышал голос тети Лиды, восторженный, но одновременно и жалкий, и обиженный, и опять же — счастливый:

— Полоумный, стара я для тебя... да не сходи с ума-то... ишь, какой умный... да ученый... бессовестный... не получишь... не на такую нарвался... нельзя со мной так... я серьезная... пошли отсюда... пожалеешь, псих... пожалеешь, говорю, пожалеешь...

В голосе ее возникло столько ласки и благодарности, восторга и тревоги, счастья и недоверия, бессильного возмущения и радостного согласия, что этот впервые в жизни услышанный мною любовный лепет не взбудоражил меня, а поверг в мечтательность, в странное состояние (ведь я был еще и болен), в котором — такое случается в молодости — можно почти физически испытать любой грех, представить его и — быть чистым, потому что пережил ты чужой грех... Я и смысла слов сразу не понял, зачарованный самым женским голосом, необыкновенным для моего слуха. А когда я машинально, без усилий разгадал смысл услышанного, во мне больно зашевелился стыд и почудился голос, как бы обращенный ко мне... И чем явственней я осознавал омерзительность своего желания, тем с большим смятением и бессильной злостью жаждал хотя бы услышать, что происходит там, за дощатой перегородкой... Скоро я утомился и от самого желания, и от борьбы с ним...

Из-за перегородки вышел Серега, одетый в темно-фиолетовую хлопчатобумажную куртку и такие же зеленые брюки, будничный какой-то, очень этим меня разочаровавший. За ним вышла просветленная, тихая тетя Лида, не вышла даже, а выступила. Вся она была словно похудевшая и спела почти:

— Теперь уж не позорь меня.

— Не позорить я тебя буду, дорогая моя, а сердце твое хорошее веселить буду, — сказал Серега.

— Да откуда ты, шалый, про сердце-то мое знаешь?

— Да ведь не дурак я, милая моя. Все понимаю. У баб сердце даже с пяткой связано, не то что с чем другим. Ты у меня главной опорой будешь. Базой. А я в долгу не остануся. Такие я, родная моя, тебе удовольствия сделаю...

— Ой, не надо, Сережа... не говори так-то... И при ребятах не показывай... И не верится мне... И человек ведь я... Ты про меня-то плохо не думай...

— В общем, дело так, — хозяйским тоном сказал Серега, громко прихлебывая кипяток. — Ежели я тебе по душе, то живем душа в душу. Не обижу. Но и не муж я тебе — тоже ясно. Не муж, а куда уж лучше... Сапоги мне оботри, дорогая моя.

Я до того напряженно вслушивался в разговор, не только в слова, но и во все оттенки голосов, что мне казалось, что разговор длится вечность.

— Ночую я дома, — рассказывал Серега, — в куреве и спиртном не нуждаюсь. Брезгую. И силы они отнимают. Карточки отдам тебе, прямую зарплату — тоже. Чо как не подойдет, сразу сообщай, в себе не таи, сразу мне — только тихим способом, без криков и визгов. Мы с тобой люди полюбовные. Все полюбовно всегда и порешим.

— Ладно, ладно, ладно, — весело старалась говорить тетя Лида. — Только чтоб ребята не знали.

— На ребят мне, моя милая, наплевать. Не дураки, так сами поймут. Эту телогрейку я натяну?

— И шапку бери. Болеет он.

Закрылась дверь. Не хлопнула, не стукнула, а бесшумно закрылась. Я отвернулся от стены. Тетя Лида стояла посередине комнаты, смотря в темное окно и переплетая свою огромную рыжую, чуть тронутую сединой косу...

А я почему-то опять вспомнил Любку. Мы с ней дружили, она жаловалась мне, что парни и мужики ей прохода не дают, рассказывала о своей прежней жизни — при отце. Я носил ей книги, сопровождал в кино и на танцы. Со временем она до того ко мне привыкла, что, бывало, в клубе устало приникнет ко мне, а у меня даже в висках заломит.

Но я не обижался, дорожил нашими отношениями, потому что для меня в них все равно была особая острота ожиданий, надежды, да и просто смотреть на нее, слушать ее удивительный голос, — то звонкий, то даже хриловатый, — ради этого можно было и пострадать.

Натурой она была незаурядной, иначе бы ей не доверили водить здоровенный «студебеккер», да еще новый: тут уж доверяли не квалификации, а характеру. В день, когда Любка впервые отработала на своем великане смену, она купила на толкучем рынке несколько пакетиков сахара и напоила сладким кипятком всю комнату в общежитии.

Встречаться нам удавалось редко, но каждая встреча была отлична от другой, волнующа и просто интересна. Любка часто просила меня читать стихи, слушала, задумчиво склонив голову набок, полуоткрыв рот, мизинцем проводя по черным волосикам над верхней губой... Ожидая в жизни чего-то необыкновенного, Любка не замечала ни голода, ни холода — рвалась к своей машине, ладонями гладила капот...

— После войны, — мечтательно говорила она, — пойду учиться. У меня ведь всего шесть классов, да и то с обрывом.

— Замуж выйдешь, — добавлял я в тайной маленькой надежде, что вдруг она возразит мне!

— Конечно, — соглашалась Любка, впрочем, как-то очень уж равнодушно. — Никуда от этого не денешься. А что? — Она уже улыбалась. — На одной машине с мужем работать будем. Только боюсь я, — неожиданно добавляла она. — Боюсь.

— Чего?

— Не знаю. У нас в бараке почти все девчата... не девчата. Такое рассказывают! Противно. Без всякой любви, просто так... Мне они нарочно рассказывают, нарочно хвастаются... дескать, и мы не лыком шиты. Но меня не проведешь...

...Я весь пылал, во рту пересохло. Я попросил:

— Теть Лид, мне бы попить.

Она взглянула на меня отчужденно и снова отвернулась к окну, лишь потом, спохватившись, улыбнулась застенчиво, пригласила кружку, сказала:

— Скоро ребята придут... Спал? — Она присела на край койки у меня в ногах. — Радуетесь, что заболел? — еще спросила она, думая, конечно, о другом. — Придут, придут скоро ребята... Спал ты?

— Нет.

Она скорбно покачала головой, помолчала и заговорила, прикрыв лицо руками:

— Не рассказывай никому. Прямо не знаю, как все случилось. Дьявол он какой-то ласковый... магнит... манит только, а ты сама... — оправдывала она и себя, а больше — его. — Ему-то что, а мне... — Тень тревоги застыла на ее лице, когда она убрала руки, но тут же растаяла тень. — Будь что будет. Поживем — увидим.

Она ушла помешать в печке, но, открыв дверцу, замерла с железным крюком в руках.

— Черт с ним, — неуверенно выговорила она, — единова жи-

вем... Об чем беспокоиться-то мне? Может, он у меня последний... — Она пошуровала в печке, положила крюк на пол, стала медленно подкладывать куски угля, напевая какую-то тоскливую песню, оборвала ее. — Поживем да и... помрем!.. Никому не рассказывай! — через плечо бросила она. — Не вашего ума дело.

Пришли ребята, принесли мне поесть. Я мог бы блаженствовать: есть да еще лежать! Да еще не меньше двух-трех дней вот так валяться, не ходить на работу! Не мерзнуть в кузове на ветру. Но я не очень блаженствовал. Ничего у меня не болело, просто пылала голова, и было в ней что-то тяжелое, оно перемещалось и иногда — резало. Думал я о тете Лиде, и ее смятенные как бы жилы во мне.

Ребята ушли на работу, первая вахта еще не вернулась, и тетя Лида подседела ко мне и стала рассказывать.

— Нас у матери шесть девок накопилось. Я старшая. Уж как мы жили-тужили, ноги таскали, лучше и не вспоминать. Мать больная, отец на работе надорванный — шутка, такую ораву кормить... Я нянькой при всех... Сестры одна за другой замуж, а мне и на вечеринку сбегать некогда да и не в чем. Мать с отцом в один месяц померли. Остались мы с Леной. А у нее жених. И уехала я, и сказала, что живите на здоровье. Дом еще добрый, а я вам только мешать буду. Ну, не мне рассказывать, не тебе знать, а семьи у меня не получилось. — Тетя Лида ушла к плите, опять села перед раскрытой печкой. Лицо покраснелось, и она изредка прижимала к нему ладони; молчала она, но, если можно так выразиться, громко молчала.

И тут я понял, что она, оказывается, красивая. Впечатление это было настолько неожиданным, но определенным, что я присел на койке, чтобы видеть тетю Лиду всю.

Обнаружение мною ее красоты поражало не столько неожиданностью, сколько, если хотите, какой-то закономерностью, естественностью, словно я был подготовлен к такой разительной перемене в ее облике. А скорее всего, это было не превращение, не перемена, а проявление черт, доньше дремавших: не было у них раньше повода выявиться. Ведь многие перемены в людях, часто самые невероятные, на поверку оказываются не переменами, а именно выявлением до сих пор дремавших, спрятавшихся особенностей. И не каждому из нас дано раскрыться до конца, а обильные натуры объявляются лишь в соответствующих обстоятельствах.

Вот и наша тетя Лида не оказалась, а на самом деле была красивой. Даже я, ничего тогда в этом не понимающий, вытирающий глаза и до того жадно, радостно, удивленно и подробно разглядывал ее, так много увидел, что застыдил.

Красота ее была чуть скорбной, с явно проступившим оттенком обреченности, но все равно — красота. Боюсь быть заподозренным в сентиментальности и безвкусице, но видел я однажды березу на высоком, подмытом весенним разливом берегу. На самом его краю стояла она, ожидая неумолимого падения вниз, в

грязную беснующуюся пучину. И, будто собрав остатки сил, все свое жизнелюбие, выпрямилась береза, приподняла голые, сухие ветки, ждала гибели своей, но еще радовалась весне... О ней я сейчас вспомнил.

— Тут до вас инженер жил, — говорила тетя Лида и совсем по-девичьи перебирала косу. — Все я хотела, чтоб он женился на мне. Хороший он был человек. Тут тебя пьянка, а то и драка, а он лежит себе на коечке вон в том углу и книжку почитывает. Умный он был. Но вот не знал, понятия не имел, для чего мы, бабы, придуманы. И ни одну из нас счастливой не сделал... Приметила я как-то, что бумажки он часто разглядывает, когда в бараке никого нет... Невеста была у него, у горемыки. У немцев в оккупации осталась... А ему хоть бы что — листочки ее разглядывает. Это она ему еще в школе писульки-то писала... Сонька Окунева из продуктового так прямо с ума сходила. Напьется, дура, правда красивая, прибежит сюда, обнимет его, плачет, ревет, целует. И чего бы ему надо еще? А он писульки какие-то разглядывал... а живая баба ему ни к чему была... — Тетя Лида встала, выгнулась, потянулась, раскинув руки, замерла так, но вот — руки ослабли, упали. Она низко опустила голову. — Думала, а мне ведь такой любви, как той, в оккупации которая, не выпадет... А ведь бывает такая, бывает... А мне жить охота было — ох! Ну, пусть война. И она пройдет. А вот если жизнь пройдет... — Тетя Лида подошла к моей койке, села у меня в ногах, долго молчала. — Не знала я бабьего счастья. Могу и не узнать. Так, понимаешь, и помру. Инженер тот, который тут до вас жил... спрашивала я его, как жить-то надо. Ничего в этом не понимал. То есть для себя-то он понимал, а другим даже посоветовать не мог... Бумажки, говорю, от своей невесты возьмет и разглядывает. А ее, может, давным-давно и на свете-то нет... А я тут... И думаю... Неужели?! Неужели проживу без... этого?.. А тянуло меня к нему. Ночами без сна всякого в кровати кручуся. Не сама ведь такие муки придумала... Таковую вот на свет произвели и — бросили. Сама, дескать, судьбу устраивай. А что к чему, не растолковали... Ночами-то я горячая, раскаленная, ровно уют, вот-вот дым повалит... Тот-то инженер уехал, а я с сердцем-то своим и осталась. Оно у меня доброе, вот и обманывали его не единожды. Злая стала, высушила сердце-то злобой, а толку? Крути не крути, а жить охота. Мать покойная говорила: вот на ноги вас поставлю и спокойно-де помру. Значит, стать на ноги да и стоять до смерти? Не-е, каждый пожить должен... а ино и родиться не надо...

Впервые я видел живую страсть, раскрывшуюся у меня на глазах. Она поразила меня сочетанием греховного и возвышенного, откровенного и стыдливого, вызывающего и застенчивого. Страсть еще не определилась, не обрела законченного облика, она как бы еще в себе самой искала свои основные черты.

Мое существо не только соприкоснулось с чужой страстью, а и приготовилось понимать ее, сочувствовать и — сопереживать.

И сколько раз потом в жизни я убеждался, что способность сопереживать едва ли не выше и богаче способности переживать; во всяком случае, это помогает понимать людей тогда, когда понять их очень трудно, почти невозможно, а — надо. Половина, если не больше, житейских несуразностей превращается в беды только из-за неспособности, выросшей из нежелания людей понимать друг друга или хотя бы попытаться понять.

В чувстве тети Лиды мне привиделся отблеск чего-то небудничного, высокого, и сама она как бы перешагнула в неведомые мне нравственные измерения. И неправда, что люди больших страстей обитают где угодно, но не среди нас. Мы сами виноваты, что не удосуживаемся различить их суть, сводим ее к привычному, нам удобному, и так называемый свой аршин — понятие далеко не безобидное.

Мелкая страсть понятна и никогда не станет предметом длительных пересудов, толкований и разбирательств, она, собственно, даже и не осуждается, так как не противоречит обычным представлениям, лишь подтверждает свою доступность всем.

В быту обнаружение нездешней страсти вызывает раздражение, слепое неприятие именно из-за того, что она непонятна, а следовательно, и неразумна. Она пугает своим невмещением в обычные рамки.

Похотью отдает лишь мелкая страсть, а в большой всегда присутствует своеобразное целомудрие, которое и ставит непрощенных судей в тупик. Еще сильнее выводит их из себя то, что большая страсть не испытывает потребности защищаться или оправдываться...

Обо всем этом я тогда, конечно, не знал. Мне было просто очень жаль нашу тетю Лиду. Я предчувствовал, что к ней пришла беда, внешне похожая на счастье, или счастье, которое все равно — беда. Мне даже казалось, что я в чем-то ей сопричастен; будто от меня что-то зависит.

...Однажды у нас в электроразведке не оказалось грузовика, и, на мое счастье, прикатила Любка в своей грозившей вот-вот развалиться полуторке. Она выскочила из кабины стройная, сильная, вся обтянутая полукомбинезоном и красной майкой, веселая, звонкоголосая; возбужденная, верно, своей неутоленной женственностью, молодой и терпкой... Мы оторопели, побросали работу, а тетя Нюра, огромная, около центнера, лебедчица, пробасила на весь нефтепромысел:

— Ух стервоза! Будь я мужиком, я бы из-за такой подохла или... ух девка! Вся под орех, так и просится на грех!

Я совершенно не уделяю внимания тому для других прискорбному факту, что старею, как всем и положено, может быть, даже чуточку быстрее, чем положено, никогда не сожалею по поводу «где мои семнадцать?» и тем более не бахвалюсь на тему «эх, мне бы столько-то лет сбросить, я бы...» Наоборот, я спокойно встречаю старость, но только бы не очень много болезней, с ней связанных, я найду себе много дел... Ну, а молодость хо-

роша ведь тем, что ее не только не вернуть, но и не продлить. А те, которые сияют подольше выдавать себя за молодых, пусть их... Но вот что бы я хотел еще раз пережить из молодости, так это всего несколько мгновений. Они — Любкины. Я даже и не попытаюсь их передать, а просто расскажу о них самыми обычными словами... Полуторка так сказала по дороге, ее так бросало из стороны в сторону, вверх и вниз, что в кузове трудно было устоять на ногах. Лебедка, на барабан которой было намотано около двух километров трехжильного кабеля, могла сорваться с болтов, убить меня или покалечить, и — ура! — Любка бы плакала и обнимала меня, но было бы уже поздно, и как бы она жалела об этом! От одной этой картины я чуть не заорал в восторге. Я тогда не знал, что Любка никогда не полюбит меня, но я знал, почему полуторка подпрыгивала! Я знал, почему ее бросало из стороны в сторону! Потому, что недавно мы с Любкой посмотрели друг другу в глаза и оба покраснели!

А приехав на буровую, мы старались не встречаться взглядами, мне было стыдно, и стыд был радостен, какой-то очень стыдный и в то же время совсем не стыдный стыд... Когда я ломом быстрехонько столкнул лебедку из кузова на помост, тетя Нюра определила:

— Женить парня пора! Кровя в нем играют!

Работать было весело. У меня болела шея — до того я часто и резко оглядывался по сторонам, ища глазами Любку. Ее нигде не было. Я чувствовал, все мое существо верило, что она где-то здесь, прячется от меня, боится, стыдится и это — замечательно. Но внезапно привычная работа опротивела мне, или я просто устал от слишком необычного, острого и долгого наслаждения. Вялый, какой-то опустошенный, я старался разгадать, что же происходит со мной... Появилась Любка, рассерженная, с плотно сжатыми губами, с недобрим взглядом, который она всего один раз бросила в мою сторону, но я успел поймать его.

Любка словно состарилась или, вернее, подурнела, и красивое тело ее как бы спряталось в одежды...

Обратно полуторка не мчалась, а катилась, тщательно объезжая рытвины, не вздрагивала даже на ухабах. Неизвестно откуда взявшаяся горечь разъедала мне сердце. Я думал о Любке чуть ли не с неприязнью, хотя не мог, конечно, понять себя и ее. Я запутался в догадках, растерялся. Словно испугавшись внезапно появившегося влечения друг к другу, мы забоялись его... Мне даже страшно стало, когда я подумал, что судьба моя сейчас вот зависит от Любки, все будет так, как она захочет. Сам я, конечно, не осмелюсь, но если она лишь взглянет...

Пока мы разгружали полуторку, Любка не выходила из кабины. Я работал как можно медленнее, я не представлял, что со мной будет, если Любка уедет, не сказав мне ни слова, не представлял, что со мной будет, если услышу обращенный ко мне ее голос...

Уже все ушли с базы, кроме старика-сторожа, который сразу же устроился дремать на лавочке при входе.

Открылась дверца кабины, послышался Любкин шепот:

— Иди... подвезу...

Нет, я не поехал с ней. Я был горд и глуп. А много лет спустя завидовал самому себе, тому, который стоял в кузове мчащейся полуторки и, как никогда больше в жизни, был уверен, что его любят...

• Пришли ребята, расселись вокруг плиты, заставили ее котелками, кастрюльками, в центре — огромный чайник.

— Что с вами, тетя Лид?

— А... ничего...

И вопрос и ответ прозвучали удивленно.

Значит, и ребята что-то сразу заметили. А она, тихая, вся в себе, уже несколько раз машинально и сосредоточенно вытирала стол.

— Тетя Лид, чего это с вами?

— Вот пристали! — постаралась сказать она раздраженно, а получилось равнодушно. — Да ничего... С чего и взяли? — И она ушла за перегородку, ушла торопливо, виновато пряча глаза, и необычно — осторожно и плотно — прикрыла за собой дверь.

Нет, такого у нас еще не бывало. Тетя Лида не гнала никого в умывальню, не проверяла, кто сколько крупы собирается бросить в котелок, не бранилась за кинутые на постели телогрейки...

Как мне хотелось рассказать ребятам о том, что я узнал сегодня! И я бы, конечно, рассказал, если бы мог хотя бы приблизительно восстановить пережитое и передуманное мною совсем недавно. Меня останавливала не только боязнь сфальшивить, но и осознание себя, как ни странно, соучастником, что ли...

Вскоре, проглотив принесенный мне ужин, я устал вдруг, отвернулся к стене, закрыл глаза и — будто против своей воли — как бы лишь краем сознания пытался представить: что же сейчас творится в душе тети Лиды? Я потому и не хотел полностью отдаваться этим мыслям, что они отпугивали меня чем-то неуловимо тревожным...

В этой тревоге я был не один. У меня ясно обозначилось ощущение, что каждая моя мысль мгновенно кем-то подхватывается... Лишь спустя некоторое время догадался, что привык думать и переживать с ребятами одинаково. И пусть они не знали, что же недавно произошло здесь, у нас в бараке, ощущения наши совпадали. Мы как бы давно были готовы к таким вот переживаниям.

Ведь любовь мерещилась нам на каждом шагу. Она была настолько сильна и чиста, что мы — каждый из нас — могли полюбить первую встречную. В помыслах, разогреваемых желаниями, мы жаждали не выдуманной любви, а подлинной, хотя и

не знали, какая она, знали только: от нее зависит очень многое.

Ах, как нам была нужна любовь!

Мы так могли полюбить, как потом уже — не сумели.

Мы просто поражались, что проходящие мимо существа женского пола — ужас и обида! — не подозревают, какое обилие любви таится в нас!

Была война, а мы все-таки ощущали, что всему человечеству приходит время любви к женщине, невероятной, невиданной, всеобщей любви, которую несем мы... Вот как мы тогда думали!..

А Любка все-таки пришла проведать меня. Она заявила под вечер — алые щеки, ресницы и волосики над губой в инее. Одета она была в короткую телогрейку и тонкие ватные штаны, короткие — до икр — валенки, в красноармейский, неизвестно где раздобытый, шлем, с порога крикнула:

— Здесь симулянты проживают?

Из своего закутка в комнату шагнула тетя Лида и — как обухом по голове:

— Стучаться надо девке в мужское общежитие!

— Да я в окошко заглянула, — невозмутимо объяснила Любка, подмигнув ребятам, — смотрю, все в приличном виде.

— Потому только и пушу, — не унималась тетя Лида, — что к больному. А так — не шлейся здесь.

— Проходи, красавица, гостьей будешь, — сказал Серега. — Кипяточку не желаешь?

Любка даже не взглянула в его сторону, села на табуретку возле моей койки, сняла шлем, из-под которого сразу вывалилась масса буйных черных волос — она не признавала никаких причесок.

— Хорошо поболел? — с заметной завистью спросила Любка. — Как мне сказали, я сразу подумала: вот повезло.

Серега внимательно разглядывал ее, полуоткрыв рот, закинув голову назад, отчего его великий кадык опять грозил вспороть кожу на шее.

Видимо, взгляд Сереги обладал какой-то беспокоящей силой, потому что Любка несколько раз повела плечами, как бы освобождаясь от этого взгляда.

— Завтра я, пожалуй, слягу, — громко сказал Серега и сам один посмеялся над своей шуткой. — Если ко всем больным такие красавицы здесь приходят, коклюш завтра же подхвачу.

Тетя Лида стояла у плиты, скрестив руки, исподлобья глядя на Серегу. Он один не замечал неловкости создавшегося положения, потому что не смотрел в сторону тети Лиды, и она не выдержала, встала между ним и Любкой, сказала отдельно:

— Кипяточку бы лучше похлебал.

— Не обращай на них внимания, — шепнула мне Любка. — Когда на работу? Завтра? Тогда чего лежишь? В кино пошли! —

И она рассмеялась — впервые — неестественно, слишком громко, смутилась, куснула губу. — Чего у вас тут стряслось?

Действительно, чего-то у нас тут случилось. Тетя Лида стала злой. Ребята сидели притихшие, только пялили на Любку глаза по привычке.

— Я пойду, — сказала Любка, долго прятала волосы под шлем, встала. — В субботу, если получится, заходи за мной на танцы.

— А ты лучше к нам, красавица, приходи, — вслед посоветовал Серега. — У нас тут мужчины имеются.

Когда за Любкой закрылась дверь, тетя Лида, видимо не сумев перебороть себя, заговорила:

— Не к тебе ведь она приходила. Нужен ты ей, как петуху тросточка. А языком размахался.

— И какое твое дело, дорогая моя? Придет время — и это ко мне придет. Только я-то зря валяться не стану. Привстану.

Ребята дружно хмыкнули, кто-то негромко произнес:

— Чихала она...

Тетя Лида торжествующе усмехнулась, а Серега, встав и по привычке ощупав себя быстрыми, но осторожными движениями, сказал спокойно:

— Ни ты, милая моя, ни они тем боле кой-чего не петрите. Тут просто подумать надо, угадать, с какого боку к ней подрулить. Как ей себя показать.

— Ну, чего рты разинули? — напустилась на ребят тетя Лида. — Он вам... намахает языком-то...

Серега уже спал — так он всегда делал перед вечерним выходом: часа полтора крепчайшего сна, которому ничто не могло помешать. Можно было даже горланить.

«Я сам все делаю, — объяснял Серега. — Засыпаю сам, сплю сам, просыпаюсь, когда мне надо».

Любку я не видел недели две. В общегитии у нас снова воцарились порядок, спокойствие. Тетя Лида опять расцвела, обихаживала Серегу уже открыто, да и мы начали к этому привыкать.

Никто никогда не знает, с какой стороны приползет беда. Вот стою я около диспетчерской будки на развилке двух дорог километрах в восьми от левого берега Камы (нефтепромысел был на правом) и жду Любку. Она на своем «студебеккере» проехала на буровую и на обратном пути должна забрать меня.

Морозец градусов этак за сорок, и если мне придется топтать пешком через Каму — там ветер и все сорок пять градусов. Я даже подумать об этом боюсь... Нет, я залезу в теплую кабину, буду разговаривать с Любкой, любоваться ею, а потом сразу из кабины — в столовку! Еще успею... Я не ел и не спал больше суток и, чтобы не уснуть у раскаленной печки, вышел из будки.

И когда я уже готов был бежать обратно в тепло, на просеке показались фары «студебеккера». Большие сильные лучи то утыкались в снег, будто искали чего-то, то прыгали влево-вправо — шарили по стенам леса вдоль дороги, то вонзались в небо. «Студебеккер» промчался мимо.

Сначала я ничего не понял. Отблески лучей растаяли в темноте, а я все стоял, не двигаясь, тупо думая о том, как же я сегодня опять останусь без еды, без курева... а вдруг меня, обесиленного, собьет ветром на Камере?.. Я вернулся в будку, еле-еле насобирав по карманам табачных крошек на закрутку, задымил.

Почему Любка забыла обо мне? Должно быть, случилось что-то уж такое, чего она не ожидала. Можно мне было и разозлиться, я даже пробовал расшевелить в себе злость, но ничего из этого не получилось... Заспанная диспетчерша, конечно, толком не знала о том, будут или нет сегодня машины с того берега. Что же случилось?.. Я выпил кружку кипятку, уснул, сидя на топчане, уснул сладко и услышал во сне Любкин голос:

— Проснись, поехали... Ну проснись...

Мне так не хотелось просыпаться! Смущало лишь то, что я не видел сон, а лишь слышал.

— Да проснись ты!

Это Любка будила меня.

— Ты откуда? — спросил я, еще ничего не соображая.

— Уже Каму переехала, — ответила Любка, — и только тут вспомнила, что тебя не подобрала. Поехали. Психовал тут? А? Чего про меня подумал? А?

Мы влезли в кабину, Любка протянула мне три папиросы. Я мигом проснулся.

— И спичек дам, — виновато сказала она. — Мне все это добро главный инженер еще днем преподнес. Знаешь, усатый такой? Губы у него еще всегда мокрые. Хотите, говорит, мы вас на легковую переведем при конторе бурения? Нет, говорю, не желаю. А он говорит, что можно и не спрашивать, а просто приказом перевести...

Рассказывала она торопливо, многословно, повторяясь, будто лишь для того, чтобы я не расспрашивал. Я и помалкивал, затягиваясь ароматным дымом так глубоко, что кружилась голова. Папиросы были самодельные, набитые очень душистым и крепким табаком.

— А ты почему ни за кем не ухаживаешь? — вдруг спросила Любка. — Вои девчат везде сколько. И хорошие есть. И ты парень симпатичный.

— Если я парень симпатичный, — с обидой и наконец-то вдруг появившейся злостью сказал я, — то почему тебе не нравлюсь?

— Нет, ты мне нравишься, — задумчиво возразила Любка и краешками губ улыбнулась мне. — Но ты мне не судьба. И я тебе не судьба.

— Это как?

— Не знаю. Но точно. Нет, ты мне нравишься, в общем. Танцевать умеешь, водишь очень хорошо, особенно, когда вальс. Книжек много читаешь. Не похабничаешь... — Любка перечисляла мои немногочисленные достоинства с таким неестественным уважением, что мне стало ясно: сейчас даже они потеряли для нее всякое значение. — Да и никому теперь верить нельзя, — неожиданно закончила она.

— Уж так и никому?

Она несколько раз кивнула, обиженно выпятив губы.

— А почему ты все-таки мимо меня проскочила?

— Задумалась... задумалась о чем-то... — Любка не умела врать, и я не видел, но чувствовал, как лицо ее жарко побагровело. — Ты бы все равно не вышел за меня. Я знаю.

— О чем ты задумалась?

— Да не помню.

Мне много приходилось ездить по самым невозможным дорогам на разных машинах, и могу заверить, что Любка была редким шофером. Огромный «студебеккер», которому суждено было сыграть в ее любовной истории не последнюю роль, Любка вела, казалось, без всяких усилий, за рулем сидела с той долей естественной небрежности, которая отличает прирожденного шофера от старательного выученника. Машина, что называется, слушалась ее, а Любка уверяла, что и она иногда слушается машины, когда та ее о чем-нибудь попросит... Почему же она проскочила мимо меня? Дело не в моей персоне. О чем задумалась Любка?

Или — о ком?

Именно вот в эту поездку я как-то мимолетно, чуть ли не в одно мгновение, понял смысл своего отношения к Любке, даже некоторые его оттенки. Она была мне дорога, как бы ни складывалась жизнь. Может, она и стала бы моей судьбой, но чувство пришло к нам одновременно, чувство открытое, властное, мы побоялись довериться ему, начали проверять его, даже бороться с ним, и оно растаяло, а если и возродилось, то ненадолго и робко, причем вспышки у меня и у Любки не совпадали. И мне до сих пор иногда жаль, что мы потеряли друг друга. Живет все-таки в нас этакое практическое отношение к женщине, неосознанное, правда, но действующее безотказно: раз любви не получилось, о чем тогда и речь может быть...

— Вот мать моя на себя руки наложила из-за любви, — вдруг вспомнила Любка. — Но ведь какая там могла любовь быть? Он же бросил ее быстро... А вот отец ее любил. А она от него сбежала... Ничего ведь не понять.

Мы опять долго не виделись с ней, и я тосковал. В душе возникали какие-то смутные предчувствия, недобрые и тревожные.

Между тетей Лидой и Серегой установились ровные, как бы приглушенные отношения, но то, что меня поразило вечером, когда у нас впервые появился Серега, исчезло почти без следа.

Передо мной была все чаще и чаще некрасивая, пожилая женщина, угодливая и безропотная, которая уже не улыбалась, а старалась улыбаться, которая о нас уже не заботилась, как раньше, а старалась заботиться...

Сергеа каждый вечер — каждый! — куда-то исчезал, и мы о его любовных похождениях знали только по слухам, которых по нефтепромыслу ходило предостаточно.

Сергеа приедется, по военным временам стал прямо-таки франтом, завел фанерный чемодан с висячим замком, где накопил много одежды. И продуктов он приносил немало. Теперь он с тетей Лидой ел в ее закутке.

Странно: временами она все-таки преображалась, и опять молодела, и опять светилась вся... Видимо, большие страсти не так уж часто посещают жизнь вблизи нас? Или простой смертный способен пережить лишь мгновения большого чувства?

Ничего я не понимал...

Обычно Любка никогда не приходила на танцы одна, она договаривалась со мной или с подругой. А тут я увидел ее в клубе в окружении незнакомых парней. Они неестественно и слишком громко смеялись; увидев меня, Любка оставила компанию.

Я не узнавал ее. Что именно изменилось в ней, я сразу, конечно, определить не мог. Но что-то сразу бросалось в глаза. Она смотрела на меня и — не видела меня, слушала, отвечала, но ничего не слышала, отвечала невпопад; настороженно и в то же время радостно оглядывалась по сторонам, вся напряженная, то ли готовая к кому-то рвануться, то ли, наоборот, ожидая, что к ней кто-то бросится... Если смотреть в ее темно-карие, продолговатые, чуть раскосые глаза, можно было поразиться мгновенной смене самых разнообразных настроений — от страха до восторга, от глубокой задумчивости до блаженной пустоты... А меня вдруг пронзила острая и холодная жалость. И еще я почему-то с облегчением подумал, что теперь-то моя влюбленность в нее совсем прошла. Да еще у меня промелькнуло предчувствие, что мы с Любкой вместе, вот так рядом в клубе — в последний раз... чушь какая!

Любка в явном нетерпении оглядывалась по сторонам, и я не мог поймать ее взгляда. Она вся была чужая.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего, ничего, — ответила она рассеянно, не глядя на меня. — Нервноичаю.

— А что?

— Да так, ничего. Надоело все. Ходила сегодня домик свой навестить, а там вместо этих матерей с детишками обормот какой-то живет. А тех по баракам растолкали. И где мои вещи...

— В милицию надо обратиться.

— Наплевать.

Ее пригласил парнишка с лесопилки. Она ушла с ним. Он

был ниже Любки ростом, но держался фон бароном: и даже такие на танцах были в цене. Я постоял немного, прожигаемый умоляющими взглядами девчат, которые толпились по всем углам и рядами стояли вдоль стен, и отправился домой. С полдороги я припустил бегом: мороз к вечеру остервенел.

А дома — тоже не соскучишься. Были там у нас зверские враги — клопы. Ни разу в жизни нигде я больше таких зверюг не видел. Они появлялись и исчезали по каким-то им одним известным причинам.

Клопы в нашем бараке были длинные и толстые. Они набрасывались на нас где-то во второй половине ночи, ближе к утру, когда сон наиболее крепок.

Меньше других страдал я, потому что часто работал ночами. Тех же, кто трудился в одну смену, клопы доводили почти (а может, и не почти) до одурения: люди не высыпались, и у них не хватало сил стоять на ногах двенадцать часов да еще в мороз... Сон был нужнее еды и полезнее. Невыспавшийся человек более бессилен перед холодом, чем голодный...

К нам даже приходила комиссия, вслед за ней пришли девушки в черных халатах с какими-то бидонами, облили всю комнату и обрызгали постели столь вонючей жидкостью, что у нас разболелись головы, но ночь мы спали хорошо. На другую ночь клопы вернулись и принялись за нас с удвоенным остервенением.

Недавно произошло их очередное нашествие. И вот как-то ночью, когда мы, злые, полусонные, давили клопов, раздался голос Сереги:

— Эт дело надо кончать.

Тетя Лида с опухшим лицом (она по ночам часто и долго плакала) сказала:

— Я в жилищную-то контору еще схожу.

— Эт мура. Они скорей нас отравят, чем этих гадилов. Словом, так... — Серега помолчал, словно обдумывая жестокость своего решения и выверяя его правоту. — Крови лишней у меня нету. Высыпаться я должон. Если клопов не выведете, я от вас уйду.

— Куда это?

— Меня везде примут.

Серега с первого появления у нас был нагловатый, и к этой черте его характера все как-то притерпелись. На нефтепромысле он сейчас был очень известной персоной и знал, конечно, об этом, и нагловатость его постепенно переросла в наглость. Мужчины этак презрительно уважали его, многим было даже лестно состоять с ним в знакомстве, но вот все чаще и чаще до меня стали доходить слухи, что в разных местах Серега натыкался на скандалы. Однажды его пытались избить самым серьезным образом.

Ко всему этому он относился спокойно, хотя и не равнодушно, заранее зная все, что его может ожидать, не обижался, встречая неприязнь, не пугался, когда слышал угрозы.

Со мной он был откровеннее, чем с другими, и почти каждый день хриплым голосом признавался:

— Только бы на эту самую любовь не нарваться... от нее добра не жди... только бы ноги унести...

В ту ночь, когда он заявил тете Лиде, что не потерпит клопов и переберется в другое общежитие, мы долго сидели с ним у плиты. Он не курил, но какая-то очередная симпатия одарила его помимо прочего пачкой табаку, и, привыкший брать все, он оказался с куревом и немного отсыпал мне. Для него это был великодушный жест.

Мне было совершенно непонятно, почему он не женится, хотя бы так, как женились иногда в те времена: просто поесть и выпить на собственной свадьбе, прожить там сколько стерпится и при надобности — уйти.

И в ту ночь я спросил, почему бы ему не жениться.

— Не по мне так, — задумчиво, с достоинством ответил он. — Будешь ровно кобель на веревке. А тут главное — свобода. Я единова с голодухи остался жить у официантки одной. Выхода просто другого не было. Тошнота получилась. Она только об том и соображает, чтоб меня удержать. Ну никакой разницы: что она, что милиционер. И я вижу: не пельмени она мне стряпает, а чтоб я тут вот сидел. С ней. И спать ложусь, как на вахту иду... А сейчас прихожу, здравствуй, дорогая, говорю. Чего это, милая ты моя, лицо у тебя грустное? Давай-ка, родная моя, я тебя развеселю... — Серега вдруг помрачнел, скривил рот. — Опасная это специальность. На любовь нарваться можешь... Тогда все может случиться... И убить могут... В Кизеле, откуда я к вам прибыл, приглянулся я одной слишком уж... Переласкал я ее немного, перестарался. И до того я ей потребовался, что она за себя уже не отвечала. Надо было ей меня у себя закрепить обязательно. А я эту охоту заметил поздно... Ты запомни: бабы со слов дуреют, а не с дела. Сказать им можно так, что никаким делом не заметишь. Так ты ходи к ней, сполнай свои обязанности молча и — уходи. И ничего тогда не будет опасного. У тебя обязанности, у нее обязанности. Все нормально. Все прекрасно. Но как только язык распустишь, тут начинается... Кизеловская-то моя манеру завела: не спит всю ночь напролет. Ей-то что? Молодая, здоровая, откормленная. У ей в одном ухе здоровья больше, чем у меня, ну, в ноге. Мне себя экономить надо. И чую я, что слов она от меня ждет. А я спать хочу. И свое дело я сделал... Ну и чтоб отстала, спать мне дала, я и ляпнул: люблю, мол, тебя и жить, знаешь ли, без тебя не могу... — Лицо у Сереги сморщилось, он даже носом шмыгнул, будто бы всплакнуть мог. — Тут и началось... Еще, еще скажи, она требует. На другой день вечером прихожу, у ее глаза на лбу и просит не что-нибудь серьезное, а чтоб я ей слова там разные про любовь эту болтал. Вот положение! А я не могу, чтоб мне отказали. А она со слов-то дуреть стала. Пойдем, говорит, любимый, на звезды смотреть... Не-е-ет, любовь с ихней стороны —

опасная штука... Отравить она меня хотела! С ножом за мной бегала! Еле-еле ноги свои плоские унес... Нельзя с бабами много разговаривать.

— Ложитесь давайте, — тоскливо сказала тетя Лида, — шей уже...

— Чего-нибудь с клопами надо организовать, — даже не глядя в ее сторону, нехорошим, раздраженным голосом проговорил Серега. — А то я в другое место переберусь, сказал.

— Ну и перебирайся, — еле слышно ответила тетя Лида. — Не больно кому и надо. Долго койка пустовать не будет.

— Зря ты, милая моя, осерчала, — чуть мягче сказал Серега, и тетя Лида сразу улыбнулась. — Ничего обидного против тебя в уме я и не держал. Но вот посуды: работа-то у меня какая? За баранкой.

— Да уж работа у тебя... свехурочная... — Тетя Лида, видимо, хотела придать голосу насмешливый оттенок, а получился умоляющий. Она с трудом пересилила себя, постояла, сжав губы, и все-таки заговорила: — Тебе, конечно, клопы спать мешают. Не высыпашься ты, бедный. А если клопов изведу, сколько еще у нас перетерпишь?

Голова у меня была тяжелая, я уже плохо понимал, о чем толкуют Серега с тетей Лидой, слышал только, что их голоса были необычно резкими; потом я и этого не разбирал. Я оказался — вот как был, в нижней рубашке, босиком, — над глубокой-глубокой пропастью, откуда несло холодком и леденило мне ноги; меня неудержимо тянуло упасть туда, вниз, я сдерживался из последних сил и — полетел. И проснулся, едва успев усидеть на табуретке.

Сереге и тети Лиды в комнате не было, я потушил свет и рухнул на койку, подумав, что в одеяло завернусь потом, во сне.

Приснилось, что мы с Любкой катаемся на лодке, мне холодно, особенно ногам; мне стыдно — ведь я в нижней рубашке, а Любка как обычно — в ватных штанах, из-за которых очертания ее фигуры становятся вызывающе-обольстительными, в короткой телогрейке, в красноармейском шлеме... Гудка я не слышал, меня разбудили ребята. В голове аж шумело. Не помогли ни умывание ледяной водой, ни кружка кипятку с куском хлеба, густо посыпанным солью, ни табак. Да и все ребята не выспались толком. Никому не хотелось выходить на мороз да на целых двенадцать, а то и больше часов... Мне было хуже всех. Я мог прийти на базу и услышать, что выездов на буровые сегодня нет, отправляйтесь отдыхать или что на сегодня заявок много, полезайте в кузов и — на самую дальнюю буровую, вернетесь завтра к вечеру...

У меня всегда в запасе было несколько отгулов — переработанных сверх нормы суток. Но отгул давали только тогда, когда я уже вышел на смену, отпускали, но не говорили, на сколько, вызвать же могли в любой момент. А сегодня мне и на буровую ехать вот так не хотелось, и в общежитие возвращаться —

тоже не особенно манило: тут опять бесконечные разговоры с тетей Лидой...

Молодость жестока в оценках, скоро на них, самоуверенна. Это и мешает ей приглядываться, всматриваться, вдумываться. Вот и я на какое-то время отвернулся от тети Лиды, чем обидел и напугал ее. Мне показалось, что она унизилась до того, что готова на все, лишь бы Серега остался жить у нас, так сказать, на прежних правах и с прежними обязанностями. За всем ее поведением я видел только это желание. Что делать: иногда внешнее проявление чувств находится в удивительном противоречии с их истинным содержанием, особенно если застать человека в минуты душевной слабости или когда он вынужден защищаться.

Так было и с тетей Лидой: в последнее время я видел ее только обиженной, оскорбленной, раздраженной. А если к этому добавить и то неперемное условие, что судить человека следует, учитывая его личные особенности и обстоятельства его судьбы, то я был явно несправедлив к тете Лиде.

Вяснилось это в утро, когда мне на базе сказали, что сегодня работы не предвидится, я вернулся в общежитие и, открыв дверь, услышал радостное пение тети Лиды. Она только что закончила мыть полы и в высоко подоткнутой юбке, открывавшей великолепные белые ноги, расхаживала по комнате, поправляя постели.

Мы сели побаловаться кипяточком. Тетя Лида выделила по такому случаю сахарина.

— Выгону я клопов-то, — весело сказала она. — Средство я одно знаю. Но пользоваться его можно только один раз в жизни. Старушка-лешачиха меня научила, в девках еще когда я была. В деревне у нас она ведьмичала... А то смешно: из-за клопов мужика такого потерять... — Она криво усмехнулась, долго смотрела мимо меня, снова красивая, снова помолодевшая, и я опять поверил в ее нездешнюю страсть. — Ты бы ушел куда. Я этим делом займусь. А то еще когда такого дня дождешься, когда никого дома нет.

— Теть Лид, а почему Серега, по-вашему, мужик... такой?

— Ну... — недоуменно протянула она, словно бы и обидевшись за Серегу; плечами еще пожала, тоже недоуменно. — Про это не рассказать. И слов таких нету... Только бабы в этом разобраться могут. Умеет он нас счастливыми сделать. Хоть ненадолго, да счастливыми. Человеком себя чувствуешь. Каждый пальчик он у тебя приласкает. Каждому пальчику спасибо вроде бы скажет... Обо всем с ним забудешь. И долго потом еще помнишь... Плохо то, что он с каждой — вот так... И что дальше будет, понятия не имею. Верь не верь, а мне без него теперь — не жизнь. Самой страшно подумать, что случиться может. Из-за клопов, видишь ли, убежать собрался. На этот раз удержу. А дале — что?

Уходить мне, конечно, не хотелось, но я оделся, дошел до двери; сам не помню, как обернулся и спросил:

— А любовь это у вас, тетя Лид, или?..

Она не удивилась вопросу, ответила сразу:

— Не в словах дело... если один человек без другого жить не может, как хошь это называй.

Паразитов она уничтожила. Какое она там снадобье знала, ее тайна, но клопы больше не появлялись. А мне в голову часто приходила совершенно идиотская мысль: никакого снадобья не было. Тогда — что? Потусторонние силы, что ли? Но я так и вижу: стоит тетя Лида посередине комнаты, глаза полны слез, и шепчет что-то она, и такая мольба исходит из всего ее существа... Чертовщина это, конечно, но долго она не забывалась...

В эти дни радио приносило радостные известия — наши наступали, но ждали мы сводок напряженно, а у меня еще плохо шли дела на работе.

Была одна злосчастная, измучившая и буровиков, и нас, электроразведчиков, скважина R-35. Про нее говорили: «Все она, бедная, испытала. Вышка только еще не падала».

И правда: все мыслимые в бурении неполадки и почти все аварии перенесла R-35. И конца этому не было видно. Люди уже не бранились, заслышав об очередной неприятности на R-35, а только подумывали, добурят ли ее когда-нибудь до нефтеносного пласта.

Вот около самой цели, в нескольких метрах проходки до нее, R-35 преподнесла вроде бы последний сюрприз.

Наш отряд был от нее в пятнадцати километрах, отработали мы уже около суток, собрались в обратную дорогу — домой, как позвонили с базы: езжайте на замеры R-35.

Мы, конечно, высказали все необходимые в таких случаях слова и поехали. Но на месте нас ожидало такое, чего со мной еще не случалось.

Едва мы опустили аппарат в скважину метров на пятьсот, как все лампочки погасли, моторы заглохли — отключили электроэнергию.

Молчали мы, молчали буровики. Стояли неподвижно, опустив голову, будто на похоронах.

Ведь если электроэнергии долго не будет, глинистый раствор в скважине загустеет, потом затвердеет, а в нем — наш аппарат и пятьсот метров трехжильного кабеля. Скорее всего — это гибель скважины.

Оставалось одно — попытаться крутить барабан лебедки вручную, чтобы хоть не намного, хоть на несколько сантиметров, приподнять аппарат с кабелем, потом — еще немного... Может, и не было в этом никакого смысла, но лучше делать совсем что-нибудь безнадежное, чем ничего не делать.

Был я среди всех самым молодым, самым неопытным, мне легче всех было поверить в невозможное.

— А ну, все сюда! — заорал я. — Хватит валять дурака! Эй вы, беритесь за кабель руками! Остальные к лебедке! Раз-два, взяли!

До сих пор не знаю, почему меня послушались. Но мой азарт передался всем, и скоро уже хор голосов подбадривал:

— Только не останавливаться, мужики! Раз-два, взяли!

В голове шумело от голода и усталости, колени подкашивались, но это лишь усиливало подсознательное желание перебороть себя.

Мне не стоило никакого труда вообразить, что я сейчас на войне, что от меня зависит исход боя...

Когда вспыхнули лампочки, все мы еле держались на ногах. Буровой мастер сказал хриплым от прерывающегося дыхания голосом:

— Может, и показалось мне, а я руками чувял, что кабель продвигался.

Гордость распирала меня. Наплевать, двигался кабель или нет, зря мы трудились или был в этом хоть какой-нибудь смысл. Мы работали. Мы честно делали свое дело.

И я не заснул в кузове на обратном пути. Скрючившись под ветром, я думал, что научиться бы вот так бросаться на работу, когда даже не уверен в ее результате... Пока ты трудишься, ты человек...

— Наишачился? — таким вопросом встретил меня Серега, едва я вошел в барак. — Лидка вон тебя с вечера поджидает, кашу тебе греет.

— Иди ты... — только и смог ответить я, схватил котелок с кашей, которую мне подогрела тетя Лида.

Странно: без всяких определенных причин, по крайней мере новых, я с каждым днем все больше ненавидел Серегу. Дело дошло до того, что я не мог слышать даже звуков его голоса. Особенно почему-то я не выносил его походки — он шаркал подошвами по полу. Возмущала и его какая-то болезненная чистоплотность: он подолгу отмывался, брился ежедневно, чуть ли не каждый день тетя Лида ему что-нибудь стирала, постельное белье ему меняла чаще, чем нам. Он боялся заразы, почему каждое утро и рассматривал прыщики на лице, словно изучая их, тело свое все рассматривал, пугаясь любого пятнышка... Был он нагл и жалок одновременно.

Ко мне он относился по-прежнему, откровенничал, и, сколько я ни отворачивался, Серега этого не замечал.

Просто в голове не укладывалось: как он ухитрялся с его внешностью, нелепейшей походкой, полным отсутствием того, что сейчас зовется интеллект, пользоваться успехом у всех, у кого он желал иметь успех.

Как-то я вернулся из поездки во второй половине дня, промерзший до костей, и застал в общежитии тетю Лиду и Серегу. Он лежал на койке, а она сидела спиной к нему у печки. Они молчали, но тетя Лида словно специально ждала моего прихо-

да, выждала, когда я разденусь, умоюсь, налью в кружку кипятку, сяду к столу, и лишь тогда заговорила, полуобернувшись к Сереге:

— Любка-шоферка сказывала, что ты ее ласточкой кличешь. При всей столовой хвасталась.

— Ворона она после этого, — испуганно пробормотал Серега, — или сорока... — И он предостерегающе повысил голос: — Не уважаю, когда ко мне вмешиваются... кто жизнь мою трогает... Да и мало ли кто что треплет...

— Ласточка, говорит, ты моя, — еле слышно шептала, глядя в потолок широко раскрытыми тоскливыми глазами тетя Лида, будто мечтала: — Улетим с тобой в теплые края, сошьем там себе гнездышко...

— Не мог он так говорить! — вырвалось у меня.

— В том-то и дело, что говорил, дурак! Я, дурак, говорил! — Серега громко постучал себя кулаком по лбу. — В том-то и дело! Распустил язык, обормот! Рахитик несчастный! Слабак! Выманила она из меня эти слова!

— И птенчиков с тобой выведем, — с трудом шевеля сухими губами, еле слышно выговаривала тетя Лида. — И всем-то ты довольная будешь, ласточка моя сизокрылая... А вдруг в гнездышке у вас клопы заведутся? Кто вам их выводить будет?

— Ну хватит, хватит, хватит, хватит! — Серега вскочил, замахал руками. — Я и сам не знаю, откуда у меня такие слова оказались! Сама она их придумала, а говорить меня заставила!

— Изверг ведь ты, — с удивлением даже произнесла тетя Лида. — И не боишься?

— Как — не боюсь? — возмутился Серега. — Еще как... Психопаток-то много среди вас имеется. Вот ты — чего завелась? Твое какое дело? Я тебе — что? Муж? Не было такой договоренности. Могу хоть сейчас уйти, если не устраиваю... Одна дура языком треплет, другая и рада — оба уха развесила, — растерянно сказал он словно самому себе. — По-людски ведь с тобой договаривались... хорошо жили и вот... И так всегда! — пожаловался он мне. — Вот как только слово любовь (он произносил «любофф») от тебя услышу... — Он уже повернулся к тете Лиде. — Больше меня не увидишь!

Серега действительно недоумевал, и вид у него был жалкий. Тетя Лида ушла за перегородку, слышно было, как тяжело она опустилась на кровать, замолкла, вдруг всхлипнула, уже не могла сдержаться и закричала сквозь рыдания:

— Совести у тебя никакой нету! Война, а ты тут... Чем я тебе не угодила? Хоть капельки какой не отдала, а? А ты ее — ласточкой!

Хрипло вздохнув, Серега с сожалением покачал головой: дескать, вот тебе и вся благодарность, а ведь как старался, чтоб ей хорошо было. Так нет, надо все испортить!

— Не терплю я! — шепнул он мне. — Ненавижу, когда свободу отымают! — И, наклонившись ко мне, продолжал, стараясь

унять нервную дрожь: — А у баб это в крови — командовать-то. Чем вот ей плохо было? — уже истерично крикнул он, махнув рукой в сторону перегородки. — Жила одна, от вас, сопляков, проку нет, да и не позволила бы она себе ничего такого... Тут я к ей, карточки отдал, зарплату приношу. С душой это — называется. Предложил ведь: дорогая моя, милая ты моя, вот так-то жить будем. Согласная на это? Ага, ага! Куда там как обрадовалася... А теперь что получилось? Вот это, — он провел пятерней по лицу, — всегда опухлое. Ревет потому что, лекции мне лежа говорит вместо того, чтобы... ну, сам понимаешь. Ненавижу! — В голосе его проскальзывали визгливые нотки. — Ненавижу, когда меня свободы моей лишают! Вот посади меня в тюрьму — я и дня там не проживу: порешу с собой! Вот привяжи меня к бабе — или ее, или себя тут же без дыхания сделаю. Мое первое право! — Он вскочил и повернулся лицом к перегородке. — Чтоб поменьше у меня командиров было!.. — Серега сел, сцепил дрожащие руки. — Вот теперь она меня добиваться будет. Про любовь эту самую все уши просвистит. Вот и сиди с ней как бобик. Будто она одна на всем белом свете. И законы всякие придумали, чтоб не охота тебя держала, а... Приговорят вот с этой из одной тарелки хлебать, в одной постели спать, в один нужник ходить... и не чирикай, не вякай... Ненавижу я, когда один человек другого к себе привязать хочет! Вот дай ей волю — она меня и на работу пускать не будет, в сундук запрет, а выпускать будет только на ночь, — к себе, конечно, только! И все это из-за слов. На деле никто никогда толком не застукивал. А из-за слов скоко я горел? Вытянут из меня слова, какие хочут, и... не выкрутиться! Дела, — тяжело продолжал Серега, быстрыми и осторожными движениями ощупав себя, двумя пальцами проведя по своему великому кадыку. — Нельзя без баб, но мороки с ними...

— Дурак ты, дурак! Изверг ты! — Тетя Лида вышла из-за перегородки, бессильно прислонилась к ней. — Не я тебя просила... сам... Как я теперь без тебя-то? Привыкла я к тебе... Не знаю, как без тебя остаться-то можно...

Чем, видимо, и покорял Серега женщин, помимо всего прочего, так это отзывчивостью своей: не мог он видеть равнодушно обиженную им.

— Да хватит меня на вас, — почти ласково объяснил он. — И женских порядков ты не знаешь. Вот нельзя при мужике реветь. Этим ты ему показываешь, что никакой власти у тебя над ним уже нету. Только слезы остались. И вообще, постную физиономю смотреть... отвернуться лучше или другую подыскать. Я жить люблю. Я жить умею. А для этого надо, чтоб сапоги мне не жали. Жить я хочу только так, как я хочу! — Серега постучал пальцем по краю стола. — Никогда я никого не забижал. Все от меня довольны были. У кого башка соображает. И ненавижу! — Он потряс в воздухе сжатыми кулаками. — Ненавижу, когда не по-моему баба делает! Есть у меня на автобазе началь-

ники и — хватит! Да и весь смак с бабой-то в чем? В том, что не подневольные оба! Не по приказу друг к дружке прижимаются! А тут любовь вашу выдумали! Ненавижу я ее, ненавижу! Не может любовь ваша мужика удержать, вот тогда вам одно остается — кислотой ему в рожу! По любви, значит! Или в жратву ему чего-нибудь подсунуть — чтоб в корчах сдох, раз не любит! — Серега весь дрожал, прерывисто дыша, но сдержался. — Да я... — Он махнул рукой, сплюнул, ногой долго и старательно растирал плевков.

— Хватит уж кричать-то, — сухим голосом попросила тетя Лида и по привычке успокаивать себя стала переплетать свою огромную косу. — Никто с тобой не спорит. Вправду: сердцу не прикажешь.

— Не только сердцу, — наставительно поправил Серега, — носу и то приказать нельзя, чтоб он чихнул. — Этой шуткой он попытался изменить если не тему разговора, то хотя бы его атмосферу.

Но в глазах тети Лиды было что-то, чего не могли понять ни я, ни Серега. Мне почувствовалось, что весь мир вокруг нее и все заботы мира сейчас представлялись ей ничтожными по сравнению с тем, что разъедало ее душу. Она даже забыла про войну. Она была обречена на эту любовь — что бывает не так уж часто, — отдалась ей вся, ничего себе не оставив, бросилась в нее, как в омут, — не выплыть, и гадала, погибнет или нет.

Несколько раз в жизни я замечал, что бездонное горе не обязательно обезображивает лицо мученика или лишает его привлекательности, — наоборот, страдание иногда делает лицо прекрасным, и жутко сознавать, что эта красота имеет нечто общее с тем, когда смерть разглаживает на лице умершего следы мук и печалей...

— Не знаю, не знаю, не знаю, — бормотал Серега, наткнувшись на этот взгляд, и стал глазами искать мои глаза, чтобы найти в них сочувствие или просто отдать страх. — Все вроде бы нормально было... Другая бы на ее месте молилась бы на меня... А тут... тут-то... ведь... — испуганно и бессвязно уже бормотал он.

Я чувствовал, что он не решался, боялся высказаться до конца, бросить тете Лиде такие слова, из-за которых еще неизвестно, как она поведет себя. И Серега считал за благо разумное отступить:

— Давай-ка, дорогая моя, вспомним, что утро вечера мудренее.

— А вечером ты к ней полезешь, — с убийственным равнодушием произнесла тетя Лида, и Серега в страхе затараторил:

— С чего это ты взяла? С чего это тебе в башку вдарило? — И сам понимая, что слова его даже внешне лживы, он перешел на ласковый полусшепот, но пока обращенный в мою сторону: — Ревнует... ничо, ничо, успокоим... пташечкой от радости запоет... — Даже тени бахвальства или хотя бы самоуверенности не

проскальзывало в его голосе; медленно, незаметно Серега повернулся от меня к тете Лиде, и в голосе его зазвучали хрипловато-воркующие нотки: — Мы ведь умные. Мы дурака валять не будем. Мы хорошо жить будем. Нескандальные ведь... все у нас поделено... каждому, чего требовалось, то и досталось... — Впрочем, слова теперь уже мало имели значения, работал голос, он стал до того откровенно зовущим, что у меня зардели щеки. — Махонькая она, Любка-то, рядом с тобой... Много ли она от меня возьмет? А ты себя вспомни... Ну?.. Вспомнила, какая ты?.. Ты, дорогая моя, тышшу раз говорил тебе, опора моя...

Серегу несколько не смущало мое присутствие. Повторяю, произносимые им слова — это одно, а голос, а вроде бы неопределенные жесты — совершенно другое по силе; он и не пытался убедить ее словами, и даже его придыхания уже переубедили тетю Лиду, она на глазах теряла силу сопротивляться...

Пора, если еще не поздно, сказать, что я никак не причисляю Серегу к тем, кто преуспевал у женщин лишь потому, что мало мужчин осталось здесь, в тылу, или — к тем, кто нравился им только своей мужской силой. Я иногда вспоминаю Серегу и теперь-то понимаю, что он обладал умением, вернее, способностью относиться к своим многочисленным симпатиям с редким даром: несмотря на кажущуюся неразборчивость, он был требователен, но и внимателен к каждой, и каждая обязательно соответствовала его требованиям, каждой он был благодарен за это, каждой умел доказать, что именно лишь она и есть настоящая женщина и открыть это, мол, смог лишь он. Мужчины, говорят, в общем, однообразны и даже примитивны по отношению к женщинам, переполнены своим не всегда существующим превосходством, заняты, в основном, его провозглашением, а не утверждением. Серега же утверждал женщину, утверждал безоговорочно, доказывал ее превосходство; двусмысленно выражаясь, раскрывал ее возможности, может быть, опровергнутые другими. Проще говоря, он находил удовольствие в том, чтобы не только самому получить удовольствие, но и ублажить свою, пусть кратковременную, подругу. Может, все это — мои домыслы, а тогда я просто не раз видел, как в него влюблялись не только с первого взгляда, а лишь ощутив его присутствие поблизости. Он был очень добр к женщинам, а во время войны это, кто помнит, было дорого. И я убежден, что где-то в глубине своих не совсем развитых мозгов Серега был твердо убежден, что из каждой женщины можно сделать чудо. И он умел доказать это. И за это его любили. Из-за этого он и погиб.

Конечно, была в его жизни и теневая сторона. Он жил только для себя, был сыт, обут, работу свою знал и делал ровно настолько, сколько требовалось, чтобы не сочли симулянтом. На довольно сносной полutorке он ездил лишь в пределах правобережного нефтепромысла, перевоза немудреные и неспешные, а иногда и выгодные грузы. Шофер он был самый средний, и,

если бы не инвалидность, вполне вероятно, что ему бы пришлось жить не так вольготно...

И вот когда он успокаивал тетю Лиду, а я поражался его этому умению, мне вдруг подумалось, что не тронь он таких, как Любка, судить его, или, точнее, рядить, было бы и не за что. Ведь он приходил и по обоюдному согласию на какое-то время делал женщину очень счастливой. Он и расставаться с ними умел, не обидев их. А то, что он многим оставлял тоску, то она хоть отвлекала от голода и одиночества.

Он знал про женщин все, а чего не знал, о том догадывался. Серега не хотел и всегда боялся, что вызовет неумную страсть. Она была ему не нужна. Он боялся ее всегда, но и подозревать не мог, что однажды сразу две женщины испытают к нему такую любовь, которая другого сделала бы счастливым на всю жизнь, а Серегу она погубила. Он бы еще и сумел как-то выкрутиться, по крайнему случаю, хотя бы сбежать, да уж не судьба была. Любящие его женщины одного только желали — любить его безраздельно. Каждую он мог уговорить на что угодно, когда был с ней вдвоем. Вот и сейчас тетя Лида уже оттаяла. Серега уже кадык свой великий потирал от удовольствия, что ссора миновала, как в комнату, повозившись с тяжелой дверью, вошла Любка.

Тетя Лида мгновенно потемнела в лице и сразу сделалась некрасивой, а Любка сорвала с головы шлем, и ее буйные волосы (так и хочется сказать: молодые) рассыпались по сторонам, упали на лоб, и она сразу покрасивела (есть такое слово в быту), и я, словно думать мне было не о чем, размышлял о том, как Серега посмел позариться на такую. Сердце мое щемила не ревность, а несправедливость. Мы, отвергнутые, врем в таких случаях себе, уверяя, что, будь он достоин ее, мы бы и не пикнули...

Но тут Любка впервые не понравилась мне. Зачем она пришла? Унизить тетю Лиду? Восторжествовать обязательно при ней? Но это же мелко и... Я просто не подозревал тогда, что не только в книгах, а и в этой самой жизни, где я живу, где люди голодают, ходят грязные, потому что не всегда есть время и силы вымыться, в этой самой обыкновенной жизни может явиться перед моими глазами страсть, о которой потом я буду рассказывать, а когда-нибудь и позавидую...

Тогда я и не предполагал даже, как повернутся события. Забегая вперед, я открою ход рассуждений Сереги. При всем своем восторженном отношении к женщинам он отличался и наименьшей практичностью. Судьба достаточно помотала его, и он надеялся на себя, а не на стечение обстоятельств. О войне Серега помнил только в том смысле, что надо было добывать пропитание, искать жилье... И в этом смысле общежитская Любка-шоферка явно уступала тете Лиде, у которой была хоть и не комната, а отгороженный угол, и работа у нее была, как говорится, не пыльная.

— Присаживайся давай, — предложил, от неожиданности придав себе совершенно невозможный вид, Серега. — Угощений нету. Не ждали дорогих гостей. Но поглядеть на них — мы с удовольствием. Каким ветром к нам задуло?

Сесть Любка было некуда, табуретки стояли далеко от нее, а одну, ближнюю, тетя Лида подцепила ногой, подтянула под себя и не просто села, а расселась на ней, как в кресле каком-нибудь. То, что Серега не пойдет за табуреткой, было ясно. И сама Любка за табуреткой не пойдет, тоже было ясно. И только я двинулся с места, правда, подумав, что, может, зря вмешиваюсь в чужие отношения, как увидел, что Любка осторожно опустилась на порог.

По лицу Сереги было легко догадаться, что он взбешен ее появлением и прикидывает, как сообщить ей об этом. Простить этого он не мог.

Но первой — глухо, сдержанно — спросила тетя Лида:

— Тебе говорено было, чтоб стучалась? Мужское у нас общежитие, понятно?

— Беременная я, — будничным тоном поставила ее в известность Любка, долго смотрела на опустившего голову Серегу, встала, подошла к печке, взяла табуретку, поднесла ее к Серегиной койке, села и проговорила уже испуганным, тонким голосом: — Вот и пришла вам всем сказать.

— Правильно сделала, — сгорбившись, как от удара, и уставясь взглядом в пол, отозвался Серега нехорошим голосом. — Я в этих штуках плохо кумекаю, но проверить надо. Может, ты на испуг меня берешь. Тоже бывает.

— К хромоногой Серафиме сходи, — жестко и насмешливо посоветовала тетя Лида. — Она вас, молоденьких, принимает. Может, выдюжишь. Правда, и скалечить она тоже может. — Тетя Лида жутко улыбнулась. — Освобождение от работы тебе на такое дело никто не даст. На ногах все переносишь. А трудно это. Опасно. Не все выдерживают. В больницу тебе нельзя. Запрещено. К Серафиме топай.

— Что делать, Сереженька, будем? — заставила Любка себя спросить так, словно ничего не слышала. — Я в комитете комсомола была. Там сказали, что если мы регистрируемся, то помогут как-нибудь с жильем.

Кровь отлила от лица Сереги, оно как-то неприятно побелело, губы тоже обескровились почти. Тревожнее того была тишина, в которой даже движение робкого пламени от углей в печке казалось слышимым. Тетя Лида наклонила голову, спрятала глаза и переплетала свою огромную косу с таким остервенением, словно она мешала ей предпринять что-то очень важное.

— А на автобазе сказали... — В безразличном голосе Любки появились искорки надежды, но Серега перебил, вставая, сжал кулаки, сунул их в карманы штанов:

— Ясное дело... Разбил бы я тебя сейчас так, что никакой бы фельдшер тебя не собрал и не сшил... Вечером поговорим. Мо-

тай давай. Не к месту ты тут и не ко времени. — И, почувствовав, что Любка и не собирается уходить, Серега, чтобы не броситься на нее, сел. Лицо его, снова потеряв живой цвет, застыло, губы опять обесцветились почти совсем. — Тебе что сказано? Ты что сюда пришла, как в клуб постановку делать? Не надо мне никаких ребеночков! — У него даже голос потоньшал от брезгливости. — Не надо! — попросил он. — Не нуждаюсь в них! — объяснил он, долго шаркал подошвами взад и вперед вдоль своей койки, пытаясь успокоиться. — Мотай давай, говорят. Вечером поговорим... Я этих шпингалетиков... соску которые просят... не перевариваю я их, — почти ласково разъяснял Серега. — Портят они жизнь... мешают... Мне на них даже смотреть вредно... Вечером поговорим... и разговор у нас с тобой, сама понимаешь, какой будет.

— Не на такую напал, — все тем же безразличным голосом, но уже без искорок надежды сказала Любка. — Если любишь, как говорил, жить вместе будем. Семья это называется, было бы тебе известно. А если меня просто осрамить решил, обманул меня, ребеночка нашего не полюбишь, не жить тебе больше. К другой я тебя не допущу.

— Во! Во! Точно! Точно! — почти торжественно воскликнул Серега. — Так я и знал! — И упавшим голосом прошептал: — Интересные новости...

А тетя Лида поправила, впрочем, без особого злорадства:

— Как раз — не очень уж интересные-то. На каждом шагу, по нескольку штук в каждом бараке таких найдешь. Прилипнет какая-нибудь к хорошему мужику, а потом отлипнуть не хочет. А чем он, спрашивается, виноват? Об чем ты-то вот думала? И чем?

Я сидел на койке шагах в десяти от них и, казалось, всеми нервами чувствовал напряжение, сдерживаемость обеих женщин. Жаль было, что они встретились. И встреча эта не могла кончиться добром. А каждая из обеих по-своему была мне дорога. И ни одной из них у меня не было возможности помочь.

Я понимал: не мое дело — пытаться определить, за что они полюбили его. Это уже не имело никакого значения. В конце концов, по-своему он не желал им худа.

И вот они трое молчали. А я думал: ведь до Любки у Сереги было немало и других временных привязанностей, о которых тетя Лида, конечно, была осведомлена, но почему именно Любку, вернее, только Любку и не захотела терпеть в соперницах?

Обе женщины поникли головой. Серега взглядом уставился в потолок, и лицо его ничего уже не выражало, кроме тупой покорности, которая — я знал — была для него всего лишь передышкой. Мне было даже жаль его. Получалось, что он против своей воли возбудил истинную страсть, о существовании подобной он мог только догадываться и подсознательно опасался ее... И вот — случилось...

Тетя Лида подняла голову, и я почти физически ощутил,

как больно ей это делать, и взгляд у нее оказался — не могу подобрать другого слова — очень нехорошим, тяжелым, неподвижным, каким-то глубоким, и голосом, от которого у меня по коже мурашки проскочили, она тягуче выговорила:

— Много вас, шмакодявок, у него было... плевала я на них... А ты первая о гнезде всерьез... и можешь его туда утянуть... И — главное... — Голос у нее стал ровным, обычным, а из глаз хлынули — даже по виду — горячие слезы. — Главное, чтолюбишь ты... за это и получишь... что заслужила...

К моему величайшему удивлению, Любка и сейчас не подняла головы, просто спросила:

— А в чем же это я виноватая? Я же про вас ничего не знала... — Она замолчала, видимо, останавливая себя от раздражения, от того, чтобы не упрекать Серегу; встала так медленно, как будто у нее болело все тело. — Ни в чем я не виноватая... — И опять села, почти упала как подкошенная.

Серега понимал, в какое он попал положение, но обе женщины пока еще были нужны ему, и единственное, о чем он мог сожалеть, так это о том, что они встретились.

— Иди, иди, говорю, — попросил он Любку. — Покумекать мне надо. Тебе — что? Зародилось в тебе... чего-то, ты и раде-хонька. А мне всю свою жизнь обследовать требуется. А под горячую руку любая мура в голову забредет. Может, я чо и придумаю? — закончил он неуверенно.

— У меня мать отца бросила, обманула, — сообщила Любка тете Лиде. — А ведь не хотела ему жизнь портить. И он ее понял. Бывает на свете любовь. Такая, что и не снилась. И Сережа должен на мне жениться. Я вас моложе. Я люблю его больше, по-настоящему люблю. А вы...

— Ну хватит! — раньше тети Лиды крикнул Серега, чутьем уловив, что сейчас Любка еще не то наговорит. — Русским языком тебя просят: охолонись! И валяй отсюда!

Не знаю, кого я сейчас больше жалел — хотя, как говорится, такая постановка вопроса может показаться по крайней мере странной, — Любку, в которую я совсем недавно был влюблен, или тетю Лиду, которая научила меня варить жидкую кашу, и на моих глазах оказалась красивой женщиной...

Ища во мне сочувствия, Серега сказал:

— Растолкуй ты им обеим. Может, в книжках давно все описано. Чо они меня не слушают? Одна, видишь ли, языком размахалась. Кто ее просил, спрашивается? Другая — уши развесила. Кто ей велел? И я-то тут при чем? Я бы обеих их не обманул. А эта приперлася... — Он начал даже удивляться. — Все перепуталось, испортилось... мне забота лишняя... выгода тогда кому?

Любка только мельком взглянула на него, убрала под шлем свои буйные волосы и направилась к дверям. Я пошел ее проводить.

«Студебеккер» стоял около барака. Любка присела на под-

ножку кабины, долго молчала, шевеля яркими губами, будто подсчитывала что-то в уме, и полоска черных волосиков над верхней губой жила. Потом выражение лица мгновенно стало злым и презрительным, опять некрасивым, черты его обострились. Она спросила тоном, каким ругаются пьяные девки в бараке, когда им, одиноким, голодным и усталым, выпадает возможность достать спирта и покуражиться:

— Брезговать теперь мной станешь? Книжечек мне носить уже не будешь? Дескать, спуталась... легла по первому требованию... — Она вдруг вскочила, обняла меня судорожно, и зарыдала, и закричала, хотя мимо шли люди: — Ничего-то вы не понимаете! Полюбила я его! А ненавижу его сейчас! Как он мог со старухой этой...

— Тебе куда ехать? — перебил я ее, потому что иначе было не оборвать обозначившейся истерики. — Куда ехать? Чего везешь?

О, чудо-Любка! Сразу замерев на мгновение, придя в себя, она вытерла слезы и ответила все еще дрожавшим голосом:

— На склад с долотьями.

— А ты тут торчишь, а тебя, может, ждут, — старался я привести ее в себя до конца. — Ты же со склада сразу по буровым поедешь...

— Знаю, знаю...

Она залезла в свой «студебеккер» и уехала. А я почему-то мелко про себя отметил, что это очень сильная и надежная машина и очень послушна Любке.

Был мокрый март — сущее несчастье для производства, связанного с автотранспортом. Страдали и люди, но люди менее требовательны, чем машины...

Грязь перемешалась со снегом или снег с грязью, все это примерзло, а сверху еще мелко, вроде бы и не вредно, по неустанно, падал мокрый снег. Даже воздух казался не только влажным, но и тяжелым.

Бывают озарения в жизни, вроде бы и не связанные ни с чем, когда существование твое и тех, кто рядом, становится поразительно понятным, примитивным до неприязни к самому себе за то, что ты не мог увидеть этого раньше; и то, что жизнь вроде бы вдруг ни с того ни сего обнажает некоторые свои сущности, не радует тебя, а подавляет. Ты словно нечаянно раскрыл преступление, совершенное близким человеком.

И вот, стоя в месиве из снега и грязи, я вдруг уверился, что, пока я приводил Любку в себя, отправляя ее с машиной на склад, Серега уже ласкал тетю Лиду и она уже забылась; а вечером он пойдет ласкать Любку, и она забудется в восторге... Говорят, что хлопья снега, прикасающиеся к лицу, могут довести человека, по крайней мере, до озлобления... Гадко и мерзко состояние бессилия! Это когда ты ничего не можешь сделать, а вынужден наблюдать со стороны то, что творится на твоих глазах и возмущает тебя!

И — как назло! — утром меня не вызвали на работу.

Но если бы я хотя догадывался, что никто не в силах предугадать, чем закончится любовная драма у нас в бараке, мне стало бы легче. А то я брел по совершенно пакостному месиву, чувствуя, как с каждым шагом влага проникает в ботинки вместе с грязью, как тяжелеет телогрейка, хлопал себя по лицу — мокрые снежинки раздражали кожу. И я понятия не имел, куда мне идти и что мне делать. Вызов на самую дальнюю буровую оказался бы мне сейчас избавлением. Главное, что именно сейчас я ничего не понимал, а несколько минут назад понимал все... И лишь когда ноги мои заledenели, а сквозь телогрейку и другие одежды проникла холодная влага, я опять понял все, понял с еще большей ясностью. В сознании моем — больном от напряжения и непогоды — сначала возникла тетя Лида, большая красивая и очень добрая женщина, которая жила одиноко, не видя не только прелести, но и необходимости в случайных связях, а согревала душу тем, что ухаживала, как мать, за нами, парнишками, впервые оказавшимися вне родного дома. Потом я вспомнил Любку, которую любили все и которая ни одного не одарила хотя бы надеждой на то, что получил от нее Серега. Слово именно для него берегла она свою любовь...

И ведь надо же было им стать соперницами!

Я вернулся в барак, вымыл ботинки и от холодной воды замерз еще больше, повесил сушиться над плитой носки, телогрейку, с горя съел весь хлеб, оставленный на ужин и завтрак, и завалился на койку.

— Что вы ко мне пристали? — впервые сгрубил я тете Лиде, когда она подошла, и сгрубил лишь потому, что пожалел о не вовремя съеденном хлебе. — Я-то тут при чем? Какое мое дело? — Я даже попытался сострить: — Обращайтесь к другому.

— Плохо ведь он кончит, — спокойно, не замечая того, что я сказал, проговорила тетя Лида, присаживаясь ко мне в ноги. — Я-то что... я все стерплю... а шоферка эта... неумелая, правда... ребеночком грозит... а займешь его — дело немудреное... А Серега, по-моему, ее не боится? — с надеждой спросила она.

— Боится, — решил я не врать. — Он вас обеих боится. Или, вернее, вы обе неудобные для него. Обе вы к нему одинаково...

— Уж лучше бы он меня в теплые края позвал, — зябко поеживаясь, поглаживая свои литые плечи, сказала тетя Лида. — Чего они, оба молодые, могут?.. А характер у нее... придавит она Сережу... на стол ей подавать будет и полы мыть. А если он от нее отвернется или не придумает, как ее уважить, она ему не простит. — И в голосе тети Лиды проскользнуло уважение. — Красивая, стерва. Даже ватные штаны и то ей к лицу... как говорит.

— Почему — стерва? Она очень хорошая. И не она его в теплые края звала. А он ее. Она никогда ни с кем не гуляла.

— А сюда зачем сегодня приперлася? Кто ей велел сюда придти? Чтоб показать, что она меня моложе? Да Сережа еще

в этом не разбирается. Ему все одно... Чего она добивалась? И Сережу расстроила.

Серега вернулся ночью — как обычно. Я уже говорил, что электричество в бараки подавали непонятно по какому расписанию: иногда днем можно было включить самодеятельный кипятильник и нагреть воды для стирки, иногда мы даже обогревались электричеством, делая для этого нехитрые приспособления, а вечерами мы в основном сидели при коптилках-фитилях в консервных банках. Да и сидеть-то удавалось недолго — сваливались спать: утром-то на работу. Самой неприятной особенностью снабжения нас электричеством было то, что свет мог загореться и погаснуть в любой момент.

Едва Серега открыл дверь, как лампочка погасла. Он в темноте разделся, я зажег коптилку; читал под его долгое и громкое чавканье. Потом Серега слезил в чемодан и дал мне большую щепотку табаку, сказав:

— Кури! — В тоне его не было былой покровительственности, потому что я ему требовался. — Ох, девка какая... — восторженно прошептал он. — Если бы не эта самая любовь... Сматывать мне надо отсюда, — неожиданно закончил он и, прихлебывая кипяток из алюминиевой кружки, долго молчал. Потом он несколько раз оглянулся на дощатую перегородку, из-за которой могла появиться тетя Лида. — Эта, — он кивнул в ту сторону, — с ней еще толковать можно. Что к чему, она иногда понимает.

— А тебе обязательно сразу двоих надо?

— А ты скоко тарелок баланды за раз съесть можешь? Разве это от меня зависит? Таким меня на свет выпустили. Я бы их обеих не обидел, если бы Любка слова из меня не вытаскивала. И не знали бы одна про другую... а то и про третью... Распустил вот язык, наболтал всякого, вот они и сдурели... А жалко. Мало ведь кто толк в бабах понимает. Даже я и то оплошал. Сматываться мне надо, а я, дурак, не могу, будто тарелку не дожлебал...

Вдруг ударил морозец. На дорогах получилось — хуже не придумаешь. Машины бросало из стороны в сторону, заносило, подбрасывало... Серега возвращался с работы еле живой, видно было, что он с трудом заставлял себя стянуть телогрейку. Тетя Лида в это время уже несла ему таз с теплой водой, снимала сапоги, помогала умываться. И понемногу Серега оживал.

Не знаю, чего добивалась Любка своими почти ежедневными приходами к нам в барак. Серега недоволен, а то и злобно молчал. Тетя Лида выходила из-за своей перегородки и, обхватив литее плечи руками, неподвижно ждала.

Может, все было из-за того, что Серега уже не каждый вечер ходил к Любке?

Куда же он исчезал каждый вечер?

И откуда он брал силы? Как не боялся рисковать?

Понемногу эта история стала раздражать всех ребят. Сидим мы, бывало, рассуждаем о чем-нибудь, а тут явится Любка, из-за перегородки выйдет тетя Лида, и наступит почти зловещее молчание — хоть уходи. Особенно нам было неприятно, если Любка приходила, когда мы обсуждали положение на фронтах.

Она совсем подурнела, лицо обострилось, покрылось светло-коричневыми пятнами. Говорила она какие-то глупости, подчеркнуто не обращала внимания на сумрачного Серегу и так же внезапно уходила, не попрощавшись.

И хотя положение на фронтах было отрадное — наши наступали, — на нефтепромысле напряжение не спадало. Закладывались все новые и новые скважины, работы нам прибавлялось с каждым днем. Основное бурение шло на левом берегу, и ежедневно, в ледоход, мы, электроразведчики, переплывали Каму туда и обратно. Буровики же настроили себе жилье и неделями не покидали левый берег.

Я только после войны, встретив как-то товарища по работе, узнал интересную деталь. Он сказал, что ему и всем было страшно переплывать Каму в ледоход, особенно, когда начинало темнеть. А я вспомнил, что всегда залезал в лодку с легким сердцем за весла, то есть спиной к носу, и не видел, как баграми отталкивают льдины, не сознавал опасности, когда они стучались о лодку...

В начале апреля снова все растаяло, в воздухе, как говорится, повеяло весной. Сил у нас прибавилось, и ребята стали возвращаться в общежитие попозднее...

Дорог на нефтепромысле не строили, они были только в городе и вблизи него, а почва была глинистой, и переезды на буровые и обратно отнимали времени и нервов чуть ли не больше, чем сама работа.

«Студебеккерам» было легче, чем другим машинам. Тяжелые, с большими колесами, они плотнее прижимались к земле, но главное — впереди у них, перед радиатором, была лебедка с тросом. Стоило машине забуксовать или безнадежно увязнуть, шофер разматывал трос, обвязывал его вокруг столба, или дерева, или еще чего-нибудь, включал мотор лебедки, и машина сама себя вытаскивала из грязи или втаскивала в гору. Так что Любке было чуть легче, если бы не ее душевное состояние. Я понимал, что развязка приближается, хотя не видел Любки и Сереги подолгу. Тетя Лида выглядела спокойной, побывала в городской парикмахерской — завилась, обрезав косу, подкрасила брови и ресницы, словно утверждая этим, что у нее все в жизни благополучно.

Бездорожье настолько усложняло работу, мы так выматывались, добираясь до буровых и обратно домой, что ели в столовке машинально, без удовольствия, а это значит, что совсем не

наедались. Ведь даже маленькое количество пищи надо не сглатывать, а смаковать — тогда и возьмешь от нее все. Добравшись до общежития, мы уже могли не умываться, а тетя Лида, занятая собой, давно от нас этого не требовала. Скинув верхние одежды, мы валялись на койки. В поездки меня будили сквозь глубокий сон, к машине я шел, пошатываясь, и просыпался окончательно лишь где-то в дороге...

В бараке я появлялся либо тогда, когда все уже спали, либо когда там никого не было, либо сразу засыпал, ни с кем не поговорив. И на какое-то время любовная история, центр которой оказался у нас в бараке, была мною прочно забыта. И если бы мне, вымазанному соляжкой и маслом, не мывшемуся недели две, не проспавшемуся, вдруг сообщили, что кто-то кого-то безумно любит, я бы просто не сразу сообразил, о чем идет разговор.

Но ко всему привыкает человек. Я собрался, выстоял очередь в баню, отпарился, а перед этим сходил в парикмахерскую и — стал нормальным человеком, даже сил у меня прибавилось.

Но едва я вернулся в барак, сон сразу же сморил меня, и, еле успев раздеться, я был уже в постели.

Спалось мне совсем недолго, но глубоко, и проснулся я от резкого, однако смутного желания что-то делать, куда-то идти. Почему-то сразу подумалось о Любке. Идти к ней? А зачем? Ведь доказать ей я ничего не смогу, а утешить — тем более. К тому же я давно и отчетливо сознавал, что такие натуры, как она, несмотря на кажущуюся беспомощность, в самом деле сильны и уверены в своих чувствах.

Я шел к ней на автобазу, понятия не имея, о чем буду говорить, и надеялся лишь на то, что не застану ее.

И не идти я не мог. Может, вела меня наивная убежденность, что я сумею внушить Любке хотя бы что-нибудь практическое, вроде того, что муж из Середи будет никудышный, не будет ей помогать ухаживать за ребенком...

Любка возилась у своего «студебеккера». Уже по тому, что она сразу сделала вид, что не замечает меня, стало ясно, что любой разговор будет не только бесполезен, но еще и усугубит сложное положение.

Присев на подножку, я курил, раздумывая уже, не уйти ли, как Любка спросила:

— Утешать явились или рекомендации давать?

— Это мне неизвестно, — признался я. — Просто взял и пришел.

— Взят и пришел, — насмешливо повторила она. — Никто мне помочь не может, и ни в чьей помощи я не нуждаюсь. Ты думаешь, я голову потеряла, да? Да я никогда так здорово не соображала, как сейчас. Сама все решила, сама за все отвечу. Может, ты меня жалеть пришел, а?

И только тут я понял, что именно привело меня к Любке сейчас, почти крикнул:

— Да, да, жалеть! Только не тебя, не твоего этого... а себя! Себя мне жалко, понимаешь? Натворите вы тут дел, а я потом... Стыдно мне будет, что я для тебя ни одного слова толкового не нашел!

— И никто не найдет, — бессильным голосом выговорила Любка. — И ругать меня не надо. — Она присела со мной на подножку. — Меня понять надо. Не отступлюсь я. Ни за что. И пугать меня не надо. Ничего я не боюсь... Одного жалко! — Она встала, погладила двумя руками капот. — Мало я на своем богатые поработала... Иди, иди. Не суди меня, не жалей. Себя не казни и, главное, не вмешивайся.

Брел я, не глядя по сторонам. Угнетало не собственное бессилие, а не зависящая от меня невозможность хоть что-нибудь предпринять.

И не знал я тогда, что препринимать-то ничего не надо. Ведь не важно, кого любишь, а — как.

Любка любила однажды и навсегда.

Я до ночи не заходил в барак, чтобы никого не видеть...

Утром я спросил в умывальне Серегу:

— Ты же смотаться отсюда хотел?

— А куда? — вопросом ответил Серега без всякого раздражения или хотя бы недовольства. — Думаешь, так просто? Но — надо, надо. Только бы момент не упустить. Звереет Любка с каждым днем все больше. И никак ее отстать от меня упрямить не могу. С лица совсем страшная стала... а у меня к ней подходит все... Дела...

Да и сам Серега как-то померк за это время.

— Вот нашелся бы умный человек, — говорил он мне в умывальне, — умный да еще бы с характером, да и выгнал бы меня отсюда. А то привык к теплу-то да к сытости. Надо, надо сматываться, пока беды не стряслося. Ты не смотри, что Лидка тихая с виду, внутри у ее... огонь из березовых дров.

— Так уматывайся.

— Не могу пока, — признался Серега, помолчав. — Не могу куска бросить, пока каждую крошечку не подберу. И другому ни одной крошечки не отдам. Хорошо мне здесь... — Он тяжело вздохнул. — Нет. Сбегу к лешему.

Проклятой ночью, одной из тех, которые царапают память всю жизнь и в то же время дают тебе полное основание уважать себя, в одну из таких распроклятых ночей нам пришлось переплыть Каму, правда, при луне. Все подремывали, даже те, кто за веслами. Вокруг скрежетали, а иногда и стучались о лодку льдины. В метре от берега лодка опрокинулась, мы долго ее вытаскивали, еще дальше не было машины, которая должна была прийти за нами, а когда мы наконец добрались до буровой, то оказалось, что скважина для нашей работы не готова, а начальник со зла предложил нам нелепую работу, словно для того,

чтобы не дать поспать и толком обсушиться; всю ночь нас преследовали разные неполадки и ругань буровиков. Под утро мы так измотались, что готовы были по любому поводу броситься друг на друга с кулаками. Когда же утром подъехали к столовке, она оказалась еще закрытой, и мы заснули в кузове, и начальник легонько, но больно пинал нас, чтобы разбудить и отпустить машину на базу, где она нужна позарез... И мы проспали, и разошлись по своим общежитиям.

У нашего барака стояла Серегина полуторка. Я вошел в комнату, еще на улице начав стягивать одежду, чтобы сразу залечь спать. Но у койки меня перехватил Серега, сказал:

— Расчет я оформил. Машину с грузом перегоню до Оверят, там ее сдам и — на поезд.

Тут же рядом оказалась тетя Лида, проговорила, стараясь отставаться хотя бы внешне ни в чем не заинтересованной:

— И чего ты ребеночка испугался? Ну родит. Ничего страшного нет, даже если и двойня появится... окорее комнату получите. Зря, зря ты ласточку-то свою сизокрылую к хромоногой Се-рафиме не вытолкал.

— Не ребеночка вашего я боюсь! — сквозь зубы, почти на крике процедил Серега. — Я бы вас обоих на руках носил, если бы цепями мне не грозили. Я в неволе не могу. Я в неволе как все буду — слабый. Неволя у меня все силы отымет.

— Никуда ты не уедешь, — раздался Любкин голос. Она вошла в комнату и, как обычно, для начала неподвижно постояла у дверей. Взглянув на Любку, я почувствовал, как непреодолимое желание уснуть и нечеловеческая усталость — мгновенно оставили меня почти совсем. Испугался я даже не выражения глаз Любки — обреченного, блуждающего, хотя она смотрела только на Серегу, а то меня испугало, что она не пошла к нему, а словно силой собиралась не выпустить его, будто я видел под ее ватными одеждами, как она вся напряглась, чтобы удержать его.

Деревянный чемодан с висячим замком стоял уже не под кроватью, а перед ней; мешок, при помощи веревки превратившийся в рюкзак, лежал рядом.

— Между прочим, — сказал Серега с затаенной злобой, — было бы вам известно, и сто раз я вам об этом говорил: я — себе начальник и заместитель начальника. В жизни моей. В личной жизни моей... — Серега начал медленно приподниматься, все еще стараясь сдерживать себя. — Не лезь в чужие права. Пожалейшь... — Он устало замолк.

И Любка молчала, будто еще ждала чего-то, потом вздрогнула, погладила себя по уже обозначившемуся животу — будто искала в этом жесте поддержки, крикнула почти:

— Мой ты, мой! Никому тебя не отдам!

— Любка... Любка... — Только через некоторое время до моего сознания дошло, что это я позвал ее. — Ты что? — И я еще более удивился, когда будто бы против своей воли произнес не-

лепую в этой обстановке фразу: — У тебя же вся жизнь впереди...

— Просила я тебя не встречать? — почти ласково сказала Любка, совершенно спокойно посмотрев мне в глаза, словно приказывая даже не двигаться с места. — Когда-нибудь, может, и поймешь, что тут у нас произошло. А сейчас — отстань. Вот всем сердцем прошу: отстань.

У Сереги дрожали губы, он сжал кулаки — я едва не бросился к нему: мне подумалось, что он сейчас избьет Любку, но он не двинулся с места, только дрожь перешла, казалось, с губ на все его поджарое тело, и он визгливо закричал:

— Ничей я, ничей! Свой я, свой я токо! Убирайся, чтоб греха не было! Не привязать меня тебе! Я жить хочу! Я жить люблю! Я жить умею!

— Я люблю тебя, — как бы напомнила ему в образовавшейся тишине Любка. — Ребенок у нас с тобой, Сереженька, будет...

— Не напоминала бы ему, дуреха, про ребенка-то, — сказала тетя Лида. — Не терпит он про ребеночка-то. Дёру он от него...

— Не от него я дёру, — все еще сжимая кулаки, но уже сдержанно ответил Серега. — Не желаю, чтоб мной кто-то командовал. На автобазе, пожалуйста. Там у меня начальников много. А здесь... А ребеночек этот — тоже ведь вроде что-то команда для меня. Убегу от вас обеих, вот гад буду! Хоть по снегу босиком! В одних подштанниках! Убегу!

— Я-то тебе чем не угодила? — Тетя Лида вся сжалась, но произнесла это ласково. — Я тебе подарочка не готовлю.

— Никуда он не убежит, — устало и с сожалением выговорила Любка, присев на порог. — Не уедешь и — все. Не дам. Вспомни, что я тебе третьего дня говорила.

— А чего вспоминать? — сразу окрысился Серега. — Ерунду всякую говорила, пугала меня. Если бы меня две бабы делили, мне к этому не привыкать. Но вот цепи вы для меня заготовили под названием вашим любовь («любофф») ... так не буду я, как шарик или барбос, у вас в конуре сидеть, не буду! Я по-своему любить привык! Чтоб приказов не было! Чтоб для любви паспорта не предъявлять! А иначе, так я лучше схожну! Когда меня на работе штемпель держит, это я понимаю. Это просто порядок. Но когда штемпелем меня к бабе приклеивают, я этой бабе...

— И из каждого города тебе убегать приходилось? — торопливо, чтобы Серега не успел совсем уж оскорбить Любку, спросила тебя Лида. — Вот сейчас ты, слышала я, в Кунгур собрался. И долго там, примерно, проработаешь?

Серега устал. Он налил в алюминиевую кружку кипятку, отхлебнул несколько глотков и лишь тогда ответил тете Лиде:

— Ты бы уж помалкивала. Эта хоть умом еще не выросла, и я ее первый... кавалер, скажем... Не удержать вам меня обем ничем, понятно?

Любка молчала, словно бы безучастно прислушиваясь к разговору, будто бы мало или совсем ее не касавшегося.

А я вспомнил, как неделю назад Серега рассказывал мне о их свидании. Был он заметно удручен. Я его не раз видел после свиданий — радостного, умиротворенного, убежденного, что жизнь прекрасна и он в ней хозяин. Он не позволял себе поддаваться дурному настроению, он ведь любил жизнь дерзко и неохватно, и все, что могло помешать этой главной любви, он ненавидел, не терпел. Хотя на глубокую и долгую вражду он был не способен, ненависть Сереги к людям, которые могли помешать ему радоваться жизни, быстро переходила просто в презрение, но — как для него ни странно — он сделал много попыток, по его выражению, оклемать Любку. Это значит, что она должна была избавиться от ребенка и снова стать такой, какой ему и понравилась. Я даже склонен предполагать, у него к Любке, помимо восторженного физического влечения, тлело и еще что-то, отдаленно напоминающее ту самую любовь, проявления которой он так боялся в женщинах.

...Я стоял у плиты, грел над ней руки, хотя уже разомлел от жара, и почему-то думал о том, что дороги совсем развезло... Тепло всегда лишает сил, и я несколько раз покачнулся, и с каждым таким покачиванием мысли мои менялись. И, с трудом выпрямившись, я подумал о том, почему так спокойна тетя Лида — не могла же она быть в каком-то сговоре с Серегой? А временами я на мгновение засыпал с вытянутыми над плитой — не очень горячей — руками и вдруг не во сне, а на самом деле, наяву сказал:

— Если он тебя не любит...

— Он меня любит, в том-то и дело, — убежденно проговорила Любка. — Он просто дикий какой-то и не понимает этого. Разве можно без любви... как мы с ним?

Наконец-то я догадался сесть и налить себе кипятку, а Серега — я уже привык к этому — дал мне щепоть табаку, и я с блаженством закурил: табак выгонял из меня сон и голод... Опять они — трое — молчали, а я боялся этого молчания, один я боялся того, что они молчат. Будто бы я один знал, чем все это кончится. Что собиралась делать Любка, я не имел представления. Тетя Лида стояла, прислонившись к перегородке, обхватив руками свои литые плечи, с таким выражением лица, словно ничего и не происходило. Только Серега дергался: ведь ему надо было сейчас вот уезжать...

— Не забывай нас, — сказала тетя Лида. — Не удержать мне тебя, а зла я тебе не желаю. Худо тебе будет — всегда приму.

— Эт — другой разговор, если ты серьезно. И ты на меня не серчай, — удовлетворенно сказал Серега. — Каким мог, таким был. Хвалила ты меня не один раз. И не сам я себя придумал. Не сам я себя родил.

— И ты ей поверил? — с презрением спросила Любка, вставая с порога. — Да знает она, что я тебя все равно не отпущу.

— Меня не отпустишь?! — взметнулся Серега, и его вывороченные губы опять задрожали, и опять дрожь от них как бы передалась всему телу. Он сжал кулаки, сдерживая себя (я убежден, что все это для того, чтобы постараться не обидеть Любку), но все-таки заговорил: — А дале — что? Чего со мной делать будешь, нескладная? Вот объясни нам. — Он развел руки, словно обращаясь к большой аудитории. — Объясни вот нам, что ты со мной делать будешь, если я от тебя бежать собрался? Если у меня машина вот у дверей стоит? — Серега начал распалаться, сколько ни сдерживался. — На каком таком основании ты мне дорогу загородила? По какому такому праву ты в жизнь мою лезешь? — Серега бросился к вешалке, стал напяливать на себя телогрейку и кричал в лицо безучастной, или, вернее, все уже решившей, Любке. — Я только на свободе сильный, понимаешь? Нету смысла, понимаешь, никакого смысла нету меня привязывать! Не кобель я, а мужик! Человек! Все равно я подохну рядом с вашей любовью!

— Дурак же ты, — невозмутимо сказала Любка, смотря почему-то на плачущую тетю Лиду. — Уж такой дурак, каких свет не видел... Зачем тебе в Кунгур-то отсюда ехать?

Я уже, кажется, говорил, что в душе Серега был добрым; и когда его спросили ласково, он и не мог соврать и ответил тоже ласково:

— От тебя, дорогая моя, бегу. Не получилось у нас тобой. По твоей вине.

— А у нас с тобой? — спросила тетя Лида, уже отплакавшись и, видимо, распроставшись с Серегой.

— Могло бы. Если бы вот не эта. Да еще со своим ребеночком. Да пойми ты меня! — яростно взмолился он, когда лицо Любки исказила гримаса боли и отвращения. — По согласию я на все готов! По согласию! А ты этого шпингалетика сопливого без моего согласия завела! А-а-а... — чуть не выл Серега. — Чего вам толковать! Чего вы понять способны? Все, понимаете, все по согласию должно быть, а не по приказу или штемпелю!

— Забыл ты, что я тебе третьего дня говорила, — с тоской и сожалением сказала Любка и вдруг решительно надела шлем, не подобрав, как обычно, своих буйных молодых волос.

— Нет, не забыл. Порешить меня обещала. На! На! На! — Серега подставлял ей грудь. — На! Нету у ты ножа? — Он бросился к ближайшей тумбочке, вытащил нож, подскочил к Любке, всовывал ей нож в руки, кричал: — На! На! На! Режь! Режь, говорю те, режь! А в неволю я не пойду!

— Псих, — сказала Любка, когда Серега в изнеможении опустился на койку, а она поправляла волосы такими спокойными движениями, словно собиралась на прогулку. — Обидно, что поверила я тебе. Враньем меня взял, вот что обидно.

— Нет, это ты врешь! — Серега уже не владел собой, и я собирался бежать и звать кого-нибудь, чтобы унять его. —

Вранья ты сама просила! Сама! Это ты без вранья не можешь! Ты! Сама!

Он схватил чемодан и мешок, грудью выбил дверь, она сама захлопнулась за ним, но не плотно. Тетя Лида подошла, пригнула ее на себя, сказала:

— По всем правилам выписался и уволился. Не придерешься. Я сама ему обходной лист подписала. Жалко, что не по-человечески расстались. Это ты все виновата. Да и не любила ты его толком-то. Подберет тебя еще кто-нибудь, и забудешь ты нашего Сереженьку. Он у меня последний был. Скрывать не стану — поеду его в Кунгуре искать. Мне без него... — Она не договорила.

— Я тоже за ним поеду, — раздельно, тщательно выговаривая каждое слово, сказала Любка, и у меня от недоброго предчувствия похолодели локти.

— Не надо... — попросил я, а тетя Лида схватила Любку за рукав, но Любка вырвалась и бросилась к двери.

Тетя Лида пошатнулась, шепнула: «Она же с машиной...» — и села на койку, вся обмякнув в бессилии.

Пока я одевался, Любка успела сесть в кабину своего «студебеккера», тронуть его с места, а я успел через задний борт влезть в кузов.

Серегина полупторка была уже далеко. Но «студебеккер» шел уверенно, мощно, надежно. Я стучал кулаками по кабине, кричал...

Расстояние между «студебеккером» и полупторкой все сокращалось и сокращалось. Эта неумолимость совершенно обессилила меня, я лишь шептал:

— Любка, не надо... не надо... не надо...

Серега заметил, что за ним гонятся, и свернул на более удобную дорогу, хотя она и вела в другую сторону. Он просто забыл, что на каждой дороге здесь впереди — подъем...

Полупторка казалась мне обреченной и жалкой.

— Не надо, Любка! — орал я, избив руки о кабину. — Не надо!

«Студебеккер» настигал полупторку, как возмездие. Любкины руки умело и твердо держали руль..

Ее не судили. Не знаю почему. Ее должны были судить хотя бы за то, что она вдребезги разбила полупторку. Разбила так, что собрать ее было невозможно. А может быть, Любку и не надо было отдавать под суд.

Серега успел выпрыгнуть из кабины и бросился бежать. Любка гналась за ним на «студебеккере» по ямам и канавам, по каким-то трубам, я несколько раз собирался выпрыгнуть из кузова, чтобы не убится в нем.

На берегу машина так резко остановилась, что я от заднего борта пролетел вперед и головой врезался в кабину. Я чувство-

вал, что теряю сознание, но заставил себя встать, раскрыть глаза и — увидел: из-под капота валил пар... Серега (когда этого можно было уже не делать) отвязывал чью-то лодку, оттолкнулся ногами от берега...

На середине Камы лодку перевернуло.

Я еле втащил ставшее тяжелым тело Любки в кабину, сбежал в ближайший барак, чтобы помочь, и очнулся уже в больнице.

Мне рассказывали, что Любка в этот же день сходила к хромоногой Серафиме, изжила ребеночка, а на другой день сама явилась в милицию.

Когда ей сказали, что судить ее не будут, она куда-то уехала, ни с кем не попрощавшись.

Тетя Лида навещала меня. По-моему, она сильнее Любки любила Серегу. Она похоронила его и деловито сообщила мне, поседевшая, огузшая, постаревшая, что за гробом шла одна... Каждый раз тетю Лиду за руку вводила из палаты медсестра.

И я, выйдя из больницы, сразу переехал в другое место.

Вот такая любовная драма случилась у нас в бараке на Промплощадке во время войны.

1962—1969

## **ЖОРА СУСЛОВ И ЕГО КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ**

Все время, даже сквозь сон, хотелось есть. В пятом часу утра я был уже на ногах, поднятый пронзительным голодом. Именно он как бы вытаскивал меня из постели, но сразу разбудить не мог. Не просыпался я и на кухне, где, содрогаясь от холода, плескал в лицо ледяной водой. Просыпался я лишь по дороге к хлебному магазину, около которого уже стыла очередь. Время ее возникновения навсегда осталось для меня загадкой: как бы рано я ни приходил, очередь уже была.

Боже, как холодно... Через несколько минут начинало казаться, что на мне — совершенно отдельно от меня — промерзшее пальто, а внутри него — замерзший я и совершенно не соприкасаюсь с ним.

Бесполезно было размахивать руками, подпрыгивать. Очередь мерзла неподвижно и безмолвно.

Святые эти очереди. В них стояли люди, без которых никакая, пусть даже самая великолепная, армия не выиграла бы войны. Полководцы могли рассчитывать не только на солдат и офицеров, но и на людей в этих очередях. Они не были покорны

тяжелой судьбе или просто терпеливы, они были мужественны и едины. В очереди они стояли как в строю.

Часам к шести меня сменяла мама. Она не доверяла мне хлеб: по дороге домой я мог, проклиная себя, отщипать и сглотать то количество теплой, почти горячей мякоти, которую полагалось съесть дома утром с кипятком.

Соседи у нас были — хуже не придумаешь. В одной комнате бывшей нашей квартиры поселились мать и дочь, эвакуированные из Киева. Дочь — роскошная молодая женщина, бесстыдная и наглая в каждом движении, всегда полуодетая, по профессии художница; ее мамаша казалась старшей сестрой своей дочери.

А тело дочери было настолько богато, что, когда они с матерью появились в нашей квартире, никто и не заметил, что художница беременна. Просто месяца через два у нее вдруг родилась дочка.

Сначала мы жили дружно, жалели их, помогали им. Художница писала портреты Сталина и относила их еще непросохшими. Иногда она доверяла мне делать на портретах голубой фон...

Но вскоре соседи разжились. Мать художницы поступила куда-то в какой-то контроль, и еды у них стало много. В квартире запахло съестным, а от запаха ведь не спрячешься. Временами мне делалось муторно — это когда они ели у себя в соседней комнате. А ели они долго и очень хорошо. И чем лучше они ели, тем сами были — хуже.

У меня кружилась голова, в животе урчало, резало. Не выдержав, я выходил из комнаты, больно косил глазами на тарелки (между прочим, наши), стоявшие на столе (нашем) перед неоконченным портретом, и — убредал куда-нибудь.

Мне казалось, что я веки вечные проходил по улицам, но, вернувшись, заставал ту же картину: они ели, а вождь сурово взглядывал на меня, и мне так хотелось рассказать ему, что в нашей стране еще встречается несправедливость... Если бы он знал!

Иногда, очень редко, эвакуированные из Киева давали мне остатки закишего супа, причем делалось это почти со слезами и так настойчиво, что отказаться было невозможно. И лишь много лет спустя я догадался, почему меня угощали: ведь съев чуточку супа, я был обязан вымыть посудину. Ну что ж, тоже работа и тоже заработок.

Кроме портретов художница рисовала голых женщин. Она сама была бесстыдна, а женщины на картинах — еще хуже. И я не сразу догадался, что художница рисовала себя.

И я думал: как возможно такое святотатство?.. Однажды она попросила меня присмотреть за спящей дочкой, и я долго сидел перед портретом. Мне стало легче: просто он ничего не знает об этом, и не надо ему об этом знать — зачем расстраиваться? Пусть верит только, что мы все выдержим...

Во второй комнате жил москвич — режиссер, актер, писатель, преподаватель и еще бог знает кто. Он все умел, все по-

нимал, все знал, он был переполнен знаниями (сейчас это называется информацией) и сомнением. Это был великолепный верхогляд с невероятной памятью. Вдруг прочтет мне лекцию по истории кино, потом принесет из библиотеки портфель киносценариев. В другой раз расскажет историю авиационного тарана. Я слушал его вдохновенные импровизации о балете, футболе, западной поэзии, обычаях древних народов, гипнозе, истории философии, выдающихся мужчинах и женщинах всех времен и народов. Он помогал мне готовить задания по математике, геологическим наукам, делился пространными мыслями об искусстве и жизни. Потом он мог заявиться к нам и ни с того ни с сего сказать маме, что я недоразвитый субъект с дурными наклонностями, и так это убедительно доказать, что я не знал, как возразить, а мама долго плакала. И он мог почти поплакать с ней. А однажды он подарил мне настоящие, с позолотой запонки. А через несколько дней он так громко искал их, что пришлось вернуть...

Жена его — молодая, но бесцветная женщина, навсегда им напуганная, — была балериной, но муж направил ее работать куда-то, откуда она приносила судки с обедами.

Веселая была компания — творческая...

В третьей комнате, самой небольшой, остались мы с мамой. И была еще одна комната, не наша, отдельная, с входом из коридора — перед кухней, у самых дверей на лестницу. В этой комнате неподолгу жили разные люди, с которыми мы и не успевали познакомиться толком. А вновь вселявшиеся объясняли, что их предшественники получили более удобное жилье или угодили в тюрьму.

Но как-то в этой комнате поселился маленький, рыжий, с желтым, в крупных веснушках личиком, вечно мокроносый, одетый в широченные галифе и черный, наглухо застегнутый френч мужчина. Еще носил он высоченную каракулеву папаху, кожаное пальто с каракулевым же воротником и белые фетровые валенки.

— Жора Сулов, — тоненьким тенорком представился он и запретил называть себя иначе. — Я только Жора и просто Жора, — повторил он несколько раз на всякие лады — от жалобного до высокомерного.

Он приходил поздним вечером, пьяный, шумный, почти визгливый, вваливался к нам, потому что считал маму хозяйкой всей квартиры, приносил то сахар, то банку тушенки, то еще что-нибудь такое же бесценное, а мы были обязаны все тут же, при нем, съесть и слушать его рассуждения. К чести Жоры надо отметить, что он с удовольствием наблюдал, как мы едим, и радовался за нас.

Жора страдал от обилия мыслей, они мучили его, разрывали ему сердце, доводили до слез и отчаяния. И он, сбегав в свою комнату и принеся с собой бутылку и еще закусок, заставлял нас есть и слушать.

— Я вас уважаю, — объяснял Жора, — очень уважаю. Иначе зачем бы я угрожал вас? Потому что вы стараетесь понять про меня. Если бы не было войны, кем бы я был? Никем бы я не был. Почему же рыжий, сопливый Жора Суслов, то есть я, сейчас живет как король? Потому, что война. Мое время. А вы знаете, кого больше всего ненавидит Жора Суслов? Больше всего на свете Жора Суслов ненавидит красивых женщин. Почему? Да потому, что они ненавидели бы его, если бы не война. Это война заставила красивых женщин обратить внимание на Жору Суслова и делать вид, что он им ужасно нравится. Мне морально противно, когда они ласкают меня и...

— Жора, — тихо и виновато перебивала мама. — Простите меня, но, понимаете...

— Понимаю, конечно, понимаю! И, конечно, прощаю! — великодушно отвечал Жора, не замечая, как от еды мы согрелись, осоловели и захотели спать. — Мое горе в том, что я понимаю слишком много... А вы знаете, за что я полюбил вашего мальчика? Я полюбил его за то, что он помог мне, когда еще не имел сведений, кто я такой. Он бесплатно принес мне ведро воды. Не потому, что я Жора Суслов, а потому, что я просто человек. Понимаете? А мне никто ничего не делает бесплатно, меня никто не считает просто за человека. Мне это льстит, но сердце все же из-за этого рвется на куски. И красивые женщины ничего не делают для меня бесплатно... А если с Жорой Сусловым что-нибудь случится, они плюнут в его сторону. А он утратит свой хронически сопливый нос... — Тут он взрыдывал и выпивал.

Жора был силен и даже неотразим тем, что не только признавал свое ничтожество, но и наслаждался им.

— Ваш мальчик, мадам хозяйка, — кричал он, — принес мне ведро воды бесплатно! Просто мне была нужна вода, а он просто принес ее! Вы можете понять, как это дорого? Я бы мог отovarить вас, сделать вас сытыми, но вы же откажетесь. А они, а никто не отказывается! Они все требуют с Жоры Суслова счастья для себя! Вы только подумайте и приценитесь! Я имею силу! Смешно! Некрасиво! Несправедливо! Кому война, а для меня — видите что!

Тут Жора начинал плакать, а плакал он так же, как делал все другое — открыто, не боясь выглядеть смешным.

— Мне категорически стыдно из-за людей, — сквозь всхлипывания и сморкания выкрикивал он. — Стыдно! Ужасно стыдно! Это невыносимо! — Наплакавшись и еще приложившись к стакану, Жора продолжал рассуждать, не замечая, конечно, что мы с мамой почти спали сидя. — Природа отняла у меня почти все. Вот, одна нога короче другой. Так это еще пустяк. Но из-за этого меня не приглашают даже на тот предмет, чтоб я погиб смертью хотя бы не очень храбрых. У меня отняты возможности стать простым выдающимся человеком. А если к этому прибавить, что я жулик и сволочь... В общем, война сделала из меня Жору. А Жора, я вам расшифруюсь, хозяйственник... честно го-

воря, снабженец... Между прочим, Жорой меня прозвали эти... красавицы. Как видите, у меня даже имя и то ворованное. Иногда я не могу заснуть. Я не сплю всю ночь до утра. Ведь лежит рядом со мной красивая женщина, пальчики оближешь, какая она! А мне морально скверно, я думаю: какие мы с ней гадины. И еще неизвестно, кто больше гадина... Зато я имею то, чего не имеет большинство. Я ем, кушаю, жру, пью. Я удовлетворяю все мои потребности. Я ни в чем себе не отказую. Я...

И чем больше он хвастался, тем жалче было его. Потом жалость переходила почти в отвращение, если не в брезгливость. Словно догадываясь об этом, Жора распался. Лицо его багровело, веснушки белели, под носом почти высыхало, он кричал:

— Я человек или не человек? Я человек, но за человека меня не считали. Меня теперь считают человеком. Да, да, за банку тушенки, за буханку хлеба так называемый человек, который раньше не считал меня человеком, теперь уступает мне дорогу!

— Но ведь неправда это, — испуганно умоляла мама, немного отдохнувшая, — Не все же люди...

— Нет! Нет! — умолял Жора. — Все! Все!

— Вы не имеете оснований...

— Я имею всё! — Жора тяжело дышал, переживал, вздыхал еще тяжелее и повторял скорбно: — Я имею всё. Но я бы не хотел этого иметь. Я бы хотел иметь маму, жену, детей. Но мамы я уже не буду иметь, потому что она умерла. Жены я не буду иметь, потому что это будет не жена, а... извините за выражение, что это будет. Меня ведь никто никогда не полюбит. Никто никогда не протянет мне руку дружбы... — Жора ненадолго замолкал, начинал моргать глазами — он уставал от самого себя, вскакивал и, кивнув, быстро уходил, почти убежал, прихватив недопитую бутылку.

Да, женщины у него бывали красивые, иногда — прекрасные. Я встречал их на кухне, куда они обыкновенно заходили от нечего делать. Некоторые из них просили у меня что-нибудь почитать. Меня поражало то, что все они были невеселые, в глазах у них обязательно жила тоска или скука. Они, видимо, не знали, чем им заняться до прихода Жоры. Временами мне даже подумывалось, что они завидуют нам, голодным.

Было у всех этих женщин что-то общее, чего я долго не мог уловить. Даже в их красоте было что-то одинаковое, то ли бросающаяся в глаза необыкновенность, то ли отсутствие связей с нашей жизнью, которой мы жили с мамой. Они были как бы из другого мира. И этот мир был в комнате Жоры, из которой всегда, даже сквозь дверь, густо пахло съестным еще сильнее, чем из комнаты художницы. Однажды, невольно задержавшись около двери в комнату Жоры, я до боли в ноздрях подышал запахами еды и вдруг понял, что все его женщины пахнут этим густым, этим невероятным запахом еды, который перебивал запахи духов и молодого тела. И тут же я сообразил, что необыкновенность этих красивых женщин простирается от их сытости.

Все они ели вдоволь, а мы с мамой голодали. И женщины Жоры перестали поражать меня своей красотой, а если и поражали, то примерно так, как открытая банка американских сосисок — предмет моих самых сильных вожделений. Они, женщины, были необыкновенны и недоступны для меня, как американские сосиски. Ведь и сосиски тоже были красивы.

И еще я запомнил ощущение несчастья. Я и сейчас могу вздрогнуть, вспомнив пронзительность этого ощущения. И вслед за ним я вижу промерзлую кухню, в которой я стараюсь не дышать, чтобы не закружилась голова от запаха сытой красивой женщины...

Странно: я не запомнил их лиц, помню, что все они были красивы и красоты у них было много.

А вот одна из них — по имени Бэла — сохранилась в памяти вся. Впервые она явилась мне на кухне вечером, когда я пытался читать при свете пламени примуса. По коридору что-то зашелестело, я приготовился вдыхать съестные запахи и видеть очередную красоту, но неожиданное предчувствие чего-то необычного, родившееся от непонятого шелеста в коридоре, заставило меня обернуться.

Передо мной стояла высокая женщина в длинном черном халате.

— Бедный мальчик, — сказала она, — ты испортишь себе глаза. — И у меня почему-то сладко заняло сердце. — У вас нет лампы? — спросила женщина. — Или экономите керосин?

Голос у нее был густой, но прозрачный, она не говорила, а как бы намеревалась петь и вспоминала забытую мелодию, вернее, выбирала из нескольких мелодий одну.

Она подошла ближе, внимательно оглядела меня и сказала:

— Мое имя — Бэла. Не Белла, а Бэла. Тебя я знаю, как зовут. От Жоры. Я велю, чтобы он дал тебе керосина. А ты дай мне что-нибудь почитать.

Я принес ей «Маленькую хозяйку большого дома», и на другой вечер, возвращая книгу, Бэла призналась:

— Я от души поплакала. Правда, что могло быть так, как описано? Или это все придумано?

Как мог, я объяснил ей. Она задумчиво покивала головой и заключила:

— Значит, выдуманно. Но я все равно плакала. Ты хочешь есть?

— Не буду.

— И презираешь меня?

Я пожал плечами. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не смотреть в ее сторону, даже не дышать глубоко.

— Это потому, что ты ничего не понимаешь, — грустно проговорила Бэла. — У меня брат на фронте. Если бы он знал... Я с мамой живу. В бараке. В угловой комнате. Холодина, сколько ни топи. И дети кругом плачут. Почти все время. Жутко... Идем, я покормлю тебя?

Я промолчал, и она продолжала уже горестно:

— Знаю, знаю. Жора мне рассказывал о тебе. Вот ты бы мог вынести пытки? А ведь голод — тоже пытка. Я не выношу голода. Я боюсь голода. Я не могу быть голодной. Мне кажется, что я тут же умру. — У нее даже голос дрогнул. — И получается так: я ем пищу, а меня ест совесть. У меня был бы выход, если бы я могла полюбить. Хоть кого бы нибудь. С кем и голодать не страшно. Но я ни разу никого не любила. Я не успеваю разглядеть человека, а он меня уже хочет... любить.

— Но ведь и Жора вас не любит, — вдруг вырвалось у меня.

— Конечно, — легко согласилась она. — Он добрый, но уж очень глупый. Оба мы с ним любим есть. Давай я тебя накормлю? У нас пропасть еды. Или давай меняться: ты мне книгу, какую не жалко, а я тебе консервов?

В кухне появился режиссер. Я сразу понял, что мешаю ему. Он выразительно пучил на меня глаза, а говорил Бэла:

— В доброе довоенное время такую женщину я был просто обязан пригласить в ресторан пообедать. А сейчас... — И он хохотал, нервно потирая руки. Он был огромен, большеглаз, волосат и сколько-то лет назад, верно, и красив.

Бэла молчала.

А голос режиссера исходил откуда-то изнутри, будто из самой глубины организма, напряженный, почти твердый:

— Трудно поверить, что на свете сохранилась еще такая красота. Боюсь показаться навязчивым и банальным, но...

— Вы же старый, — сказала Бэла, и даже это не прозвучало у нее грубо. — И у вас не на что пригласить меня обедать.

И режиссер не обиделся: по-моему, он был просто сейчас не в состоянии что-нибудь понимать и, как глухарь в брачном экстазе, ничего не слышал, а говорил свое:

— Мне всегда казалось в высшей степени несправедливым, когда мимо меня, понимаете, мимо меня равнодушно проходила красивая женщина. А сейчас я безмерно счастлив хотя бы тем, что могу видеть такую женщину. Клянусь! — почти прохрипел он. — Я же впервые вижу вас, всего несколько минут, а...

— А кажется, что знаю вас всю жизнь, — досказала за него деловитым тоном Бэла и ушла.

Тогда режиссер сердито сказал мне:

— Ты бы мог догадаться выйти, когда разговаривают взрослые.

— Она с вами и не разговаривала, — ответил я, испытывая что-то похожее на ревность.

— Ты бы лучше помалкивал! — взъярился он. — Ты совершенно распустился. Да ты хоть знаешь, кто она такая? Откуда тебе знать... Но — красива... — Он развел руками. — Как говорится, найти бы место, где такие на свет появляются. Верится, что таких создают не люди, не родители, а сама природа. Ну, вот как она создает облака, цветы...

На мгновение мне показалось, что передо мною сидит сума-

шедший: глаза его, и без того большие, неестественно расширились, застыли, хотя и блестели; он побледнел, бормотал:

— Боже, боже, неужели все прошло? Неужели больше ничего не будет? — Он тяжело и, как мне показалось, больно передохнул, подержался, сморщившись, за бок, встал. — Вот так... Ничего ты не понимаешь. А когда поймешь, поздно будет.

А я понимал все. Я бы мог ему напомнить, какой у него был голос и откуда он исходил, когда здесь была Бэла. Но мне было жаль его. Я ненавидел, презирал и жалел его одновременно.

Вечером он пришел к нам озабоченным, мама сразу испугалась, и он начал, измучив ее молчанием:

— Не считаете ли вы несколько странным поведение вашего сына? Он все время на кухне с одной из этих... понимаете?

— Нет... — Мама так и села.

— Чему она может научить его? — вопрошал режиссер. — Женщины подобного сорта не останавливаются ни перед чем. Им наплевать на нравственность. Я, естественно, прошу извинить меня, но если вы не видите, а он не понимает, то мой долг... согласитесь, долг порядочного человека... Я обязан предупредить. Вы же знаете, что в молодости человека взрослеют чувства, а в зрелые годы — ум. Надо бережно и строго относиться к чувствам, ведь любое из них может захватить юношу целиком. Бедное сердце бывало и опошлено, и превознесено, и воспето, и оболгано, а ведь долгое время человека по жизни ведет одно оно. Если оно доброе, то приведет к доброму уму. А ваш сын начинает жизнь с того, что может вверить сердце — кому?

Режиссер говорил и говорил.

Мама страдала. У нее сердце было доброе, у него — злое, у меня — еще никакое.

Он мучил маму, и я спросил его:

— Тогда почему же на кухне вы за ней ухаживали?

— Я?! У... ухаживал?! — Режиссер вскопил, но сразу сник, сел. — Я просто отдал дань уважения красоте. Красота — вообще... А тебя я предостерегаю. Ты не представляешь, чем занимается эта красотка.

— Не надо, — попросила мама умоляюще. — Он больше не будет.

— Чего — не будет? — вырвалось у меня.

— То, что... ну, тебе действительно незачем торчать на кухне.

— Хорошо. Примус перенести в комнату?

— Ты грубишь матери, — оскорбленно произнес режиссер. — Сознавайся честно, что ты не можешь перебороть нездорового любопытства.

— Я не знаю, что вам от меня надо.

— Вот ты грубишь уже и мне! — удовлетворенно воскликнул режиссер. — Прекрасно, дожили!

— Я не грублю вам, — ответил я, начиная понимать, что защищаю не себя, не маму, а Бэлу. — Я не сделал вам ничего плохого, и вы не имеете никакого права...

Тут вошел Жора, как всегда он входил к нам — без стука, неожиданно, быстро; долго молчал и потом сказал:

— Я глубоко извиняюсь. Но мне не с кем разделить мысли. Да и на душе у меня... мутно.

— Присаживайтесь, пожалуйста, — обреченно пролепетала мама.

А Жора был великолепен. Он изрядно выпил, мысли одолевали его, он придал своему лицу наиболее глубокомысленное выражение, на какое только был способен, скрестил руки на груди и гордо начал:

— Рано или поздно меня посадят. Этот факт не подлежит обсуждению. Только осуждению. Вы — останьтесь, — королевским жестом остановил он режиссера, поднявшегося, чтобы уйти. — У меня до вас тоже есть дело. Вы будете отвечать на мои вопросы, а потом мы сядем за стол.

И режиссер хохотнул подобострастно, но с оттенком презрения — для меня с мамой.

— Ответьте! — приказал ему Жора. — Если вы такой умный. Для чего человек живет на свете? Цель?

— Вопрос странен, — напыжившись, проговорил режиссер. — По крайней мере, сейчас, во время войны.

— Да, вы считаете себя умным, — страдальчески заметил Жора. — Нет. Я вас умнее, а меня посадят в тюрьму. Потому что я зарвался. А вы заврались. Я несчастный человек, это понятно. Меня вообще зря родили. Таких, как я, нельзя производить на свет. Это подло! Это безнравственно!

— Боже... — прошептала мама.

— Бога нет! — отмахнулся Жора. — Люди должны быть красивыми, умными, честными. Таким есть смысл жить.

— Вы абсолютно не правы, потому... — начал режиссер, но Жора оборвал:

— Я прав больше, чем абсолютно. Если бы я умел выражать свои мысли, вы бы от них ахнули.

Между прочим, когда вспоминаешь прошлое, не всегда удается уловить разницу между тем, как думал тогда и как думаешь сейчас. На иных мыслях сохраняются явные приметы времени и возраста, на других — таких примет нету, и не определить, когда же родились некоторые из них. И вот я иногда не могу уяснить: то ли через много лет я составил излагаемое здесь впечатление о Жоре, то ли оно тогдашнее. Во всяком случае, отчетливо помню, что я его понимал больше, чем другие.

— Убедите меня, — уже не требовал, а просил Жора, — убедите меня в том, что лично в моей жизни есть смысл, кроме пость, поспать и всего такого прочего.

— Жизнь сама по себе — благо, — провозгласил режиссер. — У вас или плохое настроение, или усталость, или...

— У меня совесть. И она иногда дает о себе знать. Я бы не стал садить меня в тюрьму. Это для меня маленькое наказание. Я бы отпустил Жору Суслова на все четыре стороны. Малень-

кого, сопливого Жору Сулова, у которого одна нога короче другой. На меня насказывают, что я добрый. Это клевета. Я иногда получаюсь добрым. А вообще, я мерзавец с низким моральным уровнем. Меня надо отпустить на все четыре стороны. Это мне будет хуже тюрьмы. Я перестану быть Жорой Суловым. Все от меня отвернутся. Идемте.

Надо было видеть, как рванулся к дверям режиссер. Он пропустил Жору вперед, но Жора покровительственным взглядом уступил дорогу и сказал мне:

— И ты иди. Я тебе кое-что дам. — И — маме: — Не волнуйтесь. Ваш мальчик — человек.

— Не задерживайте его, пожалуйста, долго, — вслед попросила мама.

Я пошел, конечно, не за подарком. Мне хотелось взглянуть на Бэлу.

Она сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, через плечо взглянула на меня и сказала:

— Я вынесла керосин на кухню. Можешь больше не экономить.

— Мы решили выпить, — мрачно сказал Жора. — С ума сойти, до чего мне мерзко. — Он достал из шкафа банку колбасы. — Чикагская. Это маме от всего моего сердца. Просто больше ничего у меня нет. Я могу выражать чувства только продуктами и продуктами.

Я задержался на кухне. Стоя в темноте, я горько жалел, что мне всего шестнадцать лет. Ощущение несчастья кололо сердце... Вернувшись в комнату, я лег. Я страдал, но — с удовольствием. Словно догадываясь, что в страданиях душа мужает, я и искал поводов испытать их. А лучший повод для этого — несчастная любовь.

Не всегда бывает так, что тот или иной человек или событие будят в тебе мысли и чувства, случается и наоборот: жизнь уже подготовила, подвела тебя к чувству, и ты ищешь человека, к которому оно может быть отнесено. Поэтому нет ничего удивительного в том, что размышления о Бэле помогали мне забывать даже о голоде. До встречи с ней я полагал себя убежденным женоненавистником: словно предчувствуя изобилие женской красоты в мире, я смутно боялся ее власти, надеялся оградить себя от связанных с нею тревог, потрясений и горя. Я и тогда подозревал, что встреча с красотой не всегда приводит к добру, хотя бы потому, что она не способна успокоить или надолго утешить. Как ни странно, красота может надоесть, но удовлетворить — никогда. Она всегда — неутоленная жажда. Но откуда мне было знать тогда, что в этом ее смысл и сила?

— Ты спишь? — среди ночи спросила мама.

— Сплю, — машинально ответил я.

Мама вздохнула.

Первая в жизни бессонная ночь. Первое судорожное от предчувствий колотенье сердца. Главное, что я несчастен, из-за нее

несчастен! И сквозь все ощущения — голода, несчастности, тревоги, холода — пробивались надежда и радость, от которых я устал до того, что уснул. Уснул я сразу и глубоко, даже не слышал, как собиралась в очередь за хлебом мама. Увидел я сладкий и стыдный сон, от которого проснулся обессиленным, оглушенным и счастливым.

Мама вернулась сердитой — не выпалась потому что, сказала раздраженно:

— Не забудь вчерашнего разговора, сделай выводы.

А я старался не забыть того, что видел во сне, и все-таки сон улетучился, не оставив в памяти ничего.

Мне стало грустно, потом — все равно. Я решил не идти на занятия в техникум, лежал, ни о чем не думая, и страдал уже без удовольствия. Мне стало совсем плохо, когда я вспомнил об отце: вдруг его часть именно сейчас отправляют на фронт, а я дурак дураком... Какое я имею право вот так валяться в постели, ведь я должен идти в техникум через Комсомольский сквер, где по утрам из репродуктора, казалось на весь мир, — «Идет война народная, священная война»... Жизнь моя тут же представилась мне ничтожной и нелепой, а сам я — амебой какой-то. В голову проникла дикая мысль: стать еще ничтожнее — съесть банку колбасы, подаренную вчера Жорой, съесть всю, сразу. На преступление меня толкал не голод, но нечто, похожее на желание сотворить настоящий грех, чтобы хоть в нем да не быть мелким, ничтожным. Хуже всего, когда ты — ничто...

Весь строй жизни, образованный войной, каждому человеку придавал значительность, ставил его вровень со временем, каждый был на вес золота, каждый был незаменим, у всех была одна забота. Когда я надрывался на лесозаготовках или косил рожь под снегом или даже когда полыл морковь под палящим солнцем, — я ведь верил, что иду в атаку на фашистов.

Сейчас же ощущение ничтожности рождалось несоответствием между серьезностью жизни, в которой люди были сомкнуты общей бедой, общей волей и общей надеждой, и — моими личными переживаниями. Теперь-то я о них не жалею, а тогда — худо мне было из-за них.

Я вспомнил о сне, в котором сладко и стыдно видел Бэлу, испугался, словно она могла узнать об этом, и хотя я уже не мог восстановить в памяти сна, встречи с ней боялся до того, что еле-еле заставил себя выйти на кухню. Да все равно в комнате нельзя было оставаться: от соседей так и несло запахами съестного. Разобрать было невозможно, чего они там ели — хорошо и долго, да и вообще любая пища имела для меня один запах; я прошел через пропитанную этим запахом комнату, провожаемый суровым взглядом недорисованного вождя, и мне еще горше стало и за себя, и за все.

В кухне, как всегда, был промозглый холод, — как всегда — сумрачно: окна заледенели толстым слоем.

Я поставил чайник на примус, грел руки и мерз еще сильнее.

Рядом появился озабоченный режиссер, долго слюнявил самокрутку, потом жадно, с причмокиваниями курил и заговорил совсем неожиданно и быстро:

— Вчера я пережил ужасное потрясение. Просто невыносимое. Я вдруг понял, что я еще не стар, но уже — не молод. Опять, что ли, переходный возраст? Сколько их может быть? В общем-то, ясно все. Сначала жизнь состоит из бесконечных, часто не требующих усилий приобретений, затем — потерь, видимо тоже бесконечных. Последняя потеря — само существование. Уход. Переход. Переезд. Вынос. Жаль, как жаль, что смолоду я был избалован всем. У меня не просто было все, что мне требовалось, у меня всего было чересчур, лишка. Но зато я и не приобрел ничего, что можно было бы пронести через всю жизнь. Сказка о золотой рыбке имеет ко мне самое непосредственное отношение. Я и сам — разбитое корыто... А почему ты не в техникуме?

Я хотел соврать, но ответил:

— Не знаю. Не пошел.

— Смотри, смотри, — многозначительно и даже угрожающе произнес режиссер. — Посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Есть такая умная поговорка. Кажется, английская... Кто вот сейчас поверит, что я был красив и талантлив? Ну ладно, красота связана с возрастом. Но куда делся талант? Ведь он был, была, я знаю...

Слушал я его рассеянно, не видя в потоке горючих слов ничего для меня интересного. А он говорил, говорил, словно пьянея от своих слов, с каждой фразой как бы возбуждаясь:

— Уходят дни — это я не в философском смысле, а просто — фактически. Вот сейчас я разговариваю с тобой, а жизнь моя идет, уходит, уменьшается. Вот секунда прошла, вторая... и так далее. И целый день пройдет. И хотя дней в жизни пропало великое множество, года из них составить можно, каждого дня — жаль... Во мне недавно появилось ощущение длительности жизни. Понимаешь? Я физически, оказалось, чувствую, что она у меня — не бесконечна. Понимаешь? Не то что я скоро умру, а вот когда-нибудь... обязательно.

Он свернул самокрутку и, пока не затянулся несколько раз подряд, не говорил.

— Мне бы вернуть молодость, я бы... я бы все — наоборот! Не то чтобы я был пошляком. Нет. Но тем не менее... Вот посмотри. На красоту уповают, как на добро, хотя она и оно не так уж часто совмещаются в одном человеке. Красота-то — явление исключительное. И далеко не все понимают ее или понимают, но превратно. Вот я не понимал. Для меня красивая женщина была просто приятнее, чем обыкновенная. А это чушь. Ее значение — выше! А бывают люди, вообще не восприимчивые к женской красоте. А есть еще дураки, которые противопоставляют красоту физическую красоте духовной. Уразумей, если спосо-

бен: противопоставляют, и физическая почитается не за первый сорт. Чушь! Ты только слушай меня внимательно. Сейчас я постараюсь поймать эту мысль... Понимаешь, уже одно восприятие красоты — это уже духовный акт. Как содержание нельзя отделить от формы... — Он крутил передо мной руками, словно этим помогая себе найти необходимые слова и расставить их в должном порядке. — Понимаешь, когда я смотрю на просто красивую женщину... — Руки его замерли, пальцы еще некоторое время беспомощно шевелились, дернулись, и руки бессильно упали. — Или все это чушь? — спросил он. — Чушь... В жизни ведь много чу-у-уши... Да, чушь... — прислушиваясь к этому слову, повторил он, словно это ему понравилось. — Все — чушь.

И режиссер надолго умолк, сник. Тут я понял, что ему тоже не с кем разговаривать, кроме меня. Я ведь слушал его, а молчание могло сойти и за согласие. И Жоре не с кем было разговаривать, и Бэле. Только эвакуированные из Киева художница и ее мать не ощущали, видимо, потребности с кем-то о чем-то рассуждать, они только ели, а если и работали, то лишь ради еды.

В кухню заглянула и исчезла молодая и бесцветная жена режиссера.

— Ла-а-адно, — протянул он мрачно. — Что-то я сегодня разговаривался. А ты зря пропустил занятия в техникуме. Мама очень расстроится, если узнает.

Он посидел еще немного и ушел, так и не дождавшись Бэлы, из-за которой, конечно, он тут и оказался...

Да, мама очень расстроится. Ей все мерещится, что я вот-вот сотворю какой-нибудь несусветный проступок и меня исключат из техникума. А это значит, что я останусь без стипендии и вместо рабочих продовольственных карточек буду получать иждивенческие.

Не знал я, куда деться. Я понимал, что в техникум я не пошел единственно из-за того, чтобы побыть со своим горем, отдать ему, а сейчас уже стыдился этого. Была у меня такая особенность — поддаваться сначала горю, впитывать его в себя и только потом с ним бороться. Я как бы заманивал горе в свою душу, чтобы победить его там, в глубине.

Почему же — горе? В чем оно? Откуда? Отчего же я ощущаю себя ничтожным, несчастным?

В кухню вошла Бэла, поздоровалась, но больше ничего не говорила. Я не поднимал глаз, будто она знала, что я видел ее во сне. Я чуть не дрожал от холода, у меня даже уши замерзли, но когда она оказалась рядом, уши у меня пылали...

— Я здесь долго не задержусь, — сказала Бэла. — Жора, видно, проворовался, дурак.

Удивительно, что самые пошлые слова, произнесенные ее голосом, как бы теряли свое настоящее значение, превращались в нечто противоположное.

В черном халате до полу, с полураспушенными густыми

черными волосами, большими темно-голубыми глазами, Бэла в нашей убогой кухне могла бы показаться прекрасным видением, если бы — не курила.

— Вы курите?! — вырвалось у меня.

— Иногда. Когда отвратительное настроение. Вот как сейчас. Хоть вешайся. Я, конечно, не повешусь, но думать о таком выходе из моего положения буду. Сейчас слушала по радио письма на фронт и вся изревелась. Ведь и не сволочь я, хуже бывают. Сама воровать не могу, но живу ворованным... Мне бы еще подлости или, наоборот, честности, а я... — Она ушла.

В душе у меня была горькая пустота. Я торчал в промерзшей, полутемной кухне, уставясь на в третий раз остывший чайник, и думал о Бэле, вернее, не думал, а пребывал в каком-то состоянии, связанном с ней, с ее существованием в моей жизни и предстоящей разлукой. Мне бы надо было как-то вырваться из этого состояния, сходить бы за дровами, вынести помой, истопить печь... Все эти обычные и необходимые дела казались мне сейчас бессмысленными. В то же время я сознавал, что если не сделаю их, то буду виноват перед самим собой и буду жестоко переживать, стыдиться буду.

Способность мучиться из-за пустяков, самому себе создавать их сохранилась у меня на всю жизнь. Словно мало мне настоящих переживаний, я еще вдоволь обеспечивал себя мелким неудобствами, словно намеренно избегал любой возможности хотя бы ненадолго побыть в покое, хотя бы в относительном самодовольстве. Или я настолько страшусь благополучия, что на каждом шагу делаю себе осложнения?..

Стоя на кухне, я мерз и мерз, пытаюсь увериться в невозможности бороться с унынием, сковавшим меня.

Будто на много лет вперед я догадывался, что до конца дней моих мне суждено переживать одну большую заботу, нести ее непрестанно. Я будто предчувствовал себя, того, которому надо еще долго и трудно существовать, и я не то чтобы испугался своего жребия или пожалел о нем, а впервые, пусть подсознательно, ощутил главную заботу своей жизни. Может, впервые я понял, что жить можно по-разному, что само по себе жить и называться человеком еще ровным счетом ничего не значит. И не до конца ли дней своих придется мучительно допытывать себя: а что все-таки из тебя получилось и не зря ли ты старался?

Долго я еще мерз на кухне. И подумалось мне, что если все эти взрослые догадаются о моих переживаниях, то вряд ли примут меня всерьез. А мама очень расстроится. Почему же я стараюсь понять этих взрослых, а они принимают меня за кого-то другого, не имеющего со мной ничего общего, кроме возраста и имени? Одна мама предчувствовала мою судьбу, и там, где мне казалась случайность или несущественность, мама угадывала опасность, потому что знала: в жизни цепь случайностей часто оборачивается проявлением жестокой закономерности, уловить которую удается, да и то не всегда и не каждому, лишь где-то в

середине жизни. В предостережениях своих мама была права, а правота ее была до того страстна, нетерпима, что представлялась мне следствием обычного материнского страха за любимое чадушко. Ее, мамину правоту, я принял лишь тогда, когда уже сам выстрадал свою отцовскую правоту, которая тоже, может быть, никому не пригодится.

— Чего ты здесь делаешь? — услышал я удивленный голос Бэлы. — Холодно ведь здесь... А я все думаю, что же я буду делать, когда нас с Жорой разлучит милиция. Опять в барак? Ни за что. А что ты мне можешь посоветовать?

Я пожал плечами, и Бэла обиженно продолжала:

— Вполне допускаю, что тебе даже разговаривать со мной неприятно. Я и на улице чувствую на себе такие взгляды, что будто бы все про меня все знают. Мне ведь и поговорить не с кем. Вот только ты меня и слушаешь. Потому что ничего не понимаешь. Ты думаешь, что ты хороший, а я дрянь. Ты уверен, что ты хороший! — В ее голосе задрожало презрение. — Это лишь потому, что ты не знаешь, как стать плохим. Вот когда ты узнаешь и не станешь, тогда можешь гордиться. — Она резко, хотя и не без усилий сменила тон на более спокойный. — Впрочем, зря я все это говорю. Ты хорошо молчишь. И начинает казаться, что ты сочувствуешь... Или ты боишься меня? А может, я тебе нравлюсь?.. Не надо. Ни к чему... Не дай бог, чтобы тебе встретилась красивая женщина. Беги от них. Добрую ищи, а не красивую. Впрочем, может достаться и некрасивая, и злая...

В кухню вышел режиссер, а я ушел за дровами. Я колол мерзлые поленья и думал, как долго они, проледенелые насквозь, не будут разгораться, сколько с ними придется помучиться. Недавно мы вырубали их изо льда на Каме, потом грузили на автомашину. Возиться с ними было обидно не потому, что они были тяжелыми и выскальзывали из рук и каждое могло тебя покалечить, а потому, что сперва их словно специально заморозили во льду, а потом стали продавать горемыкам вроде нас с мамой, у которых не было возможности достать другое топливо. Вот у Жоры дрова были — легкие, звенящие, пахли лесом, и жаль было класть их в печь. Дрова ему носил я и за это имел право взять несколько поленьев для растопки.

Во мне навсегда сохранилось благоговение перед хорошими дровами, перед огнем, печью, в которой сильная тяга. Сейчас я понимаю, как это много значило — самому добыть дрова, разделить их, принести домой на руках, протопить печь и лишь потом получить необходимое для жизни тепло, которое сейчас идет от батарей центрального отопления.

И вот в тот день мне особенно хотелось, чтобы огня в печке получилось много, чтобы и мама, вернувшись с работы, посидела перед ним и помечтала, как мы будем жить после войны.

Я принес себе вязанку Жориных дров. Пусть сегодня в нашей комнате будет теплынь.

Долго ли я буду помнить о Бэле и что же такое я к ней испытываю? Не одну ведь только жалость. Да и жалел я скорее не ее саму, а красоту ее. Но неужели красота может существовать и иметь значение независимо от той, кому она принадлежит?

Нашепав лучины, я растопил печь, и дрова затрещали весело-весело, словно хотели развеселить меня, а мне по-прежнему было грустно.

Тут явился Жора. Кажется, я впервые видел его трезвым.

— Сейчас я тебе кое-что покажу, — с гордостью произнес он и тяжело передохнул. — Одно произведение искусства. А ты мне честно скажешь, нравится тебе или нет. Мне кажется, что получилось здорово. Я ей хорошо заплатил. Идем! — резко и неожиданно позвал он.

Мы прошли в его комнату. Бэлы там не оказалось, и я сначала даже не мог сообразить, зачем же меня привели сюда.

— Ну? Ну? Ну? — нервно и нетерпеливо спрашивал Жора, больно толкая меня в бок, и только тут я увидел на стене портрет.

Первое, что мне бросилось в глаза, — это прекрасно нарисованная еда: на краю стола две буханки хлеба, открытая банка сосисок, круг колбасы, на тарелке сахар, банка лярда (искусственный жир), три бутылки водки и пачка «Казбека». Лучшего натюрморта я не встречал во всей мировой живописи — не по технике исполнения, так сказать, а по силе воздействия: на мгновение мне показалось, что я сыт!

А рядом с едой сидел Жора, держа в руках газету, в своей огромной каракулевой папахе, в наглухо застегнутом черном френче, широченных галифе и в белых валенках.

— Ну? Ну? Ну? — уже криком спросил он.

— Похоже. Хорошо, по-моему.

— Я ей здорово заплатил. — Он громко, с облегчением вздохнул, выпил водки, занюхал рукавом и жалобно воскликнул: — Вот каким я был! На свободу меня выпустят уже после войны. Буду вспоминать, как я жил, буду любоваться вот этим портретом. — Он отпил прямо из горлышка, поперхнулся, закашлялся, из глаз его брызнули слезы. — Буду вспоминать, как воровал водку, хлеб, валенки, телогрейки, тушенку, красивых женщин! У меня не было другой возможности возвыситься! И все равно... да, меня не переставали презирать. Ни на секунду. Меня обнимали, целовали и — сплевывали... Вот только сейчас меня оценят серьезно — упрячут за решетку.

Вернувшись к себе, я сел перед печкой. Я чувствовал, что во мне что-то сгорело без остатка, но что именно, еще не понимал. И что-то возникло на месте того, сгоревшего...

Больше я не видел ни Бэлы, ни Жору. Его арестовали на другой день, когда меня не было дома. Все его имущество, кроме портрета, конфисковали.

Портрет некоторое время стоял в коридоре, я любовался нарисованной на нем едой. Потом он исчез. Художница выполнила на нем один из своих заказов.

1964—1967

## ЕЛЕНА — РЫЖАЯ ВЕДЬМА — ГРАФИНЯ — ВИТЬКИНА СЕСТРА

У Елены — Витькиной сестры — были рыжие волосы, да не просто рыжие, а невероятно рыжие, такие, что я ни с чем не могу сравнить их цвет.

Сама она была одной из первых сложных загадок, которые поставила передо мной жизнь. Рыжий — тогда в моем представлении означало некрасивый и смешной. Так я и воспринимал Елену и вместе с мальчишками кричал ей вслед:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая!

Потом мне стало стыдно обзывать ее, и чем было стыднее, тем громче я кричал.

Потом я стал бояться ее. И чем больше боялся, тем громче обзывал.

Мальчишки кричали за компанию, или равнодушно, или весело, а я — с отчаянием.

Ведь рыжая Елена оказалась красавицей, и я один знал об этом. Я прочитал старинный роман, где из-за графини-красавицы все время стрелялись на дуэлях, и задумался: а что же такое красавица? Я вспоминал всех знакомых девочек и даже взрослых женщин, пытаюсь определить, из-за какой я готов на смерть стреляться, например, с Витькой, моим лучшим другом.

Оказалось, из-за Елены.

Из-за рыжей Елены!

Я до того растерялся, что однажды, когда мальчишки закричали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая! — я перекричал всех:

— Графиня!

Елена остановилась и обернулась.

Я шагнул к ней.

Мальчишки — мои друзья — стояли сзади. Елена смотрела на меня. И мальчишки — я спиной чувствовал это — смотрели на меня. И я должен был сделать выбор. И я сказал громко, так громко, что в горле мгновенно пересохло:

— Графиня!

Голубые глаза Елены чуть потемнели, сузились, полные губы шевельнулись, словно не решаясь улыбнуться, — она пошла, медленно пошла, будто предлагая догнать ее.

Мальчишки за моей спиной сопели, потом разом расхохотались — это когда я шагнул следом за Еленой. Смеяться им все не хотелось. Просто они требовали, чтобы я остался с ними. И они выдавливали из себя смех. Он был напряженным, почти твердым и жалким. Оборвался он неожиданно.

Мы ведь не понимали, что же такое произошло, мы лишь чувствовали: с одним из нас, со мной, случилось что-то важное. Оно когда-нибудь случится со всеми, но я был первым, и меня следовало наказать. Хотя бы смехом.

И ее тоже надо было наказать. И мальчишки, надрывая глотки, заорали:

— Ведьма, ведьма рыжая! Ведьма, ведьма рыжая! Рыжая, рыжая, рыжая, разрыжая!

Я повернулся и, не выбирая, ударил того, кто стоял ближе. Это был Витька, мой лучший друг, брат Елены... Кулаки мои разжались.

Руки опустились.

Я даже не прикрывал лица, когда мальчишки начали лупить меня. Больно не было, хотя били они здорово. Я только взглядывал, когда получалась возможность, на растерянного Витьку, который, полуотвернувшись, стоял в сторонке.

— Хватит, — попросил я, почувствовав, что губы мои уже вспухли, — хватит вам...

Не было во мне ни обиды, ни злости. Мне было стыдно. И я ничего не понимал.

И друзьям моим было стыдно.

И они ничего не понимали.

А виновата во всем была Елена.

Мы все сделали вид, что будто ничего не случилось, хотя голова моя гудела, губы ныли, а затылок онемел. Я подошел к Витьке, сказал:

— Случайно получилось.

— У нее жених есть, — ответил Витька. — И не графиня она.

— А я не спорю, — сказал я.

Витька посмотрел на меня, улыбнулся и благодарно, и виновато, сказал:

— У нее вся спина в веснушках. Даже пятна есть. И тут веснушки, — он показал пальцем на грудь, около шеи — И знается здорово.

Витька был моим лучшим другом, и я не мог согласиться с ним, но понимал, что отныне между мною и им встала Елена, и сказал:

— Веснушки — это ерунда, конечно. Главное — она красавица.

— Главное — она красавица! — возмущенно и насмешливо передразнил Витька. — Посмотрел бы ты на нее! — Он даже поморщился. — Смотреть ведь противно! Понимаешь?

И я на мгновение почувствовал, что Витька может больше и не быть моим самым лучшим другом, потому что так говорит о

Елене. Но я знал, что сделаю все возможное, все перенесу, чтобы сохранить нашу дружбу, — словно я тогда уже догадывался, что найти друга так же трудно, как и любовь. А потерять — одинаково легко.

— Она спит много, — с отчаянием продолжал Витька. — Папа говорит, что она всю свою жизнь продрыхнет!

— А мы с тобой все равно будем дружить, — сказал я. — А она пусть спит, сколько ей надо. И пусть она вся в веснушках. Не наше дело.

Мальчишки давно разошлись. Мы стояли вдвоем, и настроение у Витьки было такое, словно побили его, а не меня.

— Ну стукни меня, — предложил я, не зная, чем еще утешить его. — Вдарь как следует.

— Ерунда. — Он грустно улыбнулся. — Тебе и так попало. А она о себе много воображает. Все время в зеркало смотрится.

— А мы все равно будем дружить, — сказал я. — Она тут ни при чем.

— Конечно, — уныло и недоверчиво согласился Витька.

Он несколько не походил на свою сестру, как мне раньше казалось. Сейчас же я вдруг заметил, что глаза у них одинаковые — голубые, и, вообще, сразу видно, что он ее брат. Я обнял Витьку одной рукой за плечи и сказал:

— Не будем из-за нее ссориться. Это глупо. Не важно, ведьма она там или графиня на постном масле.

Тут Витька громко вздохнул, взглянул на меня почти осуждающе, зашептал:

— Если по правде сказать... она ведь хорошая... — Он долго-долго молчал, видимо раздумывая, достоин ли я знать все. — Понимаешь... она скоро уйдет от нас. Замуж уйдет. А мы к ней привыкли. Мама плачет. Папа кричит. А я ее обзываю... со злости, конечно.

— А обязательно разве замуж выходить? — спросил я.

— Говорят, без этого нельзя. Чтоб дети были.

— Но ведь она еще в школе учится!

Витька пожал плечами, ответил растерянно:

— Ничего я в этих делах не понимаю.

И я ничего в этих делах не понимал. Знал о них только Генка Смородников. Он собирал нас где-нибудь на чердаке или в дровянике и сипловато пел песни, в которых было много срамных слов, значения многих мы толком не разумели, но у нас колотились сердчишки, горели уши и даже чуть-чуть кружились головы. Нам было стыдно. Нам было страшновато. И еще как-то. А потом — мерзко. Мы расходились поодиночке, приходили домой и виноватыми, и дерзкими. А через несколько дней искали встреч с Генкой Смородниковым. Барачный житель, вечно голодный, грязный, битый, он снисходительно посвящал нас в тай-

ны той стороны жизни, которую тщательно скрывали от нас взрослые.

Чем чаще мы встречались с Генкой, тем стыднее нам было за взрослых. И хотя у нас не было доказательств его правоты, мы становились недоверчивыми, настороженными, замкнутыми и — грубыми.

Все это мы вымещали на девочках: дергали их за косички, обзывали, ставили подножки, толкали. Мы делали вид, что презираем их, чтонисколько в них не нуждаемся.

А девочки словно все понимали. Они были терпеливы и не обидчивы. Они, будущие женщины, уже умели прощать и надеяться. А мы, будущие мужчины, учились обижать и за преданность платить равнодушием и презрением, а сами жестоко страдали из-за собственной неискренности. Девочки были сильны тем, что сознавали свое временное бессилие. Они обезоруживали нас своей добротой.

И нам ничего не оставалось, как притворяться сильными, грубыми, неблагодарными. Мы обижали их зло и изобретательно, отчаянно и примитивно.

И ненавидели себя за это.

И вот появилась Елена. То есть, конечно, она не появилась вдруг откуда-то, а я ее вдруг заметил. Потом-то я понял, что мальчишки часто влюбляются не в сверстниц, а в девушек старше себя. Такая влюбленность всегда носит оттенок чувства к матери, оттого чиста и бескорыстна. Оттого и матери ревнивы, понимая, что часть любви к ним отдается другой... Но почему же первое в жизни чувство к женщине начинается с попыток заглушить его? Вернее, почему первым проявлением этого чувства бывает нечто обратное ему? Почему я кричал: «Ведьма, ведьма рыжая!», прежде чем крикнуть: «Графиня!»?

Сразу оговорюсь: я вовсе не уверен, что мое чувство к Елене можно считать любовью или именно любовью. Да и рассказ этот не о любви.

Я до сих пор не знаю, как называется то, что произошло у меня с Еленой, вернее, из-за Елены. Знаю только, что это осталось во мне на всю жизнь.

А поводом для рассказа послужила моя недавняя встреча с отцом Елены, глубоким стариком. Но мы сразу узнали друг друга, почти столкнувшись на углу улицы. Оказалось, он по-прежнему живет на старом месте, что Витька погиб на войне, в последние дни... Мы уже собрались прощаться, и я, вдруг до хрипота оробев, спросил:

— А она?

И старик, сразу же еще больше состарившись, ответил:

— Тоже. Она ведь медсестра... — И опустил голову, не договорив.

Я пытался пригласить его к себе, звал куда-нибудь посидеть, но он, вытирая слезы с седых усов, отказывался, повторяя:

— Скоро на поезд, скоро на поезд...

Мне подумалось, что встреча со мной вряд ли его обрадовала: только разворошила забытое или просто припрятанное в памяти, а утешить мне его было нечем.

— А Марья Степановна? — спросил я.

Он мельком взглянул на меня с таким осуждением, что мне стало не по себе.

— Разве не видите? — жалобно спросил он.

— Простите, — уже совсем растерявшись, пробормотал я.

Он церемонно кивнул, подал неподвижную кисть руки и заσεменил прочь.

Я пошел на берег Камы и, проваливаясь в мокрый снег, добрел до обледенелой скамейки, сел.

Иногда я жестоко стыжусь, что не был на войне, хотя, конечно, понимаю, что стыд этот надуман, неразумен и даже оскорбителен не только для меня одного.

И все-таки: ведь Витька был старше меня всего на один месяц. Его призвали, а меня — нет... Больше двадцати лет прошло — надо ли переживать?

По-моему, очень надо.

Чем дальше в прошлое отодвигается война, тем чаще и ярче оживает она в памяти. Особенно замечаю я это по старшим друзьям: раньше они реже вспоминали, как воевали. Наверное, так оттого, что человеческому мозгу потребовалось много лет, чтобы до конца осмыслить, что же пришлось перенести и каким чудом выжить. До сих пор болят раны. Не все осколки вынуты. И во сне еще воюют воины. И многим болезням, смертям, искромсанным судьбам до сих пор диагноз один: война...

Я промерз на обледенелой скамейке.

Витька погиб на войне.

Елена погибла на войне.

И Генка Смородников погиб на войне, в штрафниках...

А я остался живой. Может быть, поэтому отказался побыть со мной старик?

Мне стало жарко под холодным ветром. То есть внутренне мне было жарко, а сам я словно вмерз в скамейку.

Нет, война — это не только поле боя. Беды, принесенные ею, неисчислимы и непоправимы. Можно заново построить разрушенный дом, сделать его красивее, чем тот, который до войны стоял на этом месте, но дома, в котором, предположим, прошло твое детство, уже никогда не будет. Просто появится новый дом.

Опаленное дерево — не восстановить.

И никем не заменить убитого человека. Каждый незаменим и неповторим.

Был Витька.

Была Елена.

И Генка Смородников был...

А я — все еще есть. И я не знаю, сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы настоящей ценой оплатить право остаться в живых не только потому, что родился, но и потому, что нужен живым.

Эх, Витька, Елена, Генка... одно могу вам сказать: не забыл вас и не забуду, и, если худо, зря проживу свою жизнь, вы — первые, перед кем мне будет стыдно.

А в тот вечер, когда мальчишки отлупили меня из-за Елены, мы с Витькой залезли на крышу сарая, где Генка гонял голубей.

Сейчас голубей много. Разжирели они. Воркуют, верно, не от любви уже, а от сытости. Наглые стали. И презирают, видимо, своих кормильцев.

У Генки было три птицы. Любил он их до того, что здесь, рядом с голубятней, становился на себя непохожим. Совсем другим был здесь Генка. Даже помахать шестом нам давал. Но, загнав голубей в клетку и спрыгнув на землю, он тут же начал материться.

— Сегодня отец опять меня отколошматит, — задумчиво сообщил он.

— За что? — спросил Витька.

— Получка сегодня, — объяснил Генка. — Вечером к бабам завалится, а ночью нас с мамкой лупить будет. Такой у него закон. Потом реветь начнет...

— А пойдем к нам спать, — сказал Витька.

— Ага! — насмешливо отозвался Генка. — А мамка? Как она одна-то? Вам хорошо. — В голосе его прозвучали зависть и презрение, и он длинно выматерился. — Я вот скоро к девкам ходить буду, тогда жизнь повеселее пойдет.

В тот вечер я впервые пожалел его, словно тогда еще понял, что ему по-настоящему тяжело жить.

Даже мне не захотелось возвращаться домой, из солидарности, что ли.

— В армию бы скорей, — сказал Генка, — в кавалерию бы...

— Я танкистом буду, — сказал Витька, — или летчиком.

— В армии хорошо кормят, — сказал Генка, — и сапоги всем новые дают. — Он постоял еще, почему-то резко махнул рукой и ушел.

Мы с Витькой долго бродили по улице, много раз прошли мимо его дома, у которого на скамейке сидела Елена. Витька-то ее не замечал, а я даже не мог разобрать, что он говорил об армейской службе.

— Идите сюда, — позвала Елена, — скучно мне.

Не буду врать: из-за давности лет мне не восстановить в памяти ее лица. Помню только волосы необыкновенного рыжего цвета и глаза — голубые, которые темнели, когда она была чем-нибудь довольна или рассержена. И еще губы помню — полные, всегда готовые вот-вот улыбнуться.

Я сел рядом с ней, да так осторожно, что некоторое время как бы стоял на полусогнутых ногах.

— Кто тебя разукрасил? — спросила она меня.

— Это из-за тебя, — ответил Витька. — За то, что он тебя не рыжей ведьмой, а графиней обозвал.

— Молодец. — Елена взглянула на меня, и глаза ее потемнели и сузились. — Прямо благородный рыцарь.

— Ерунда, — еле выговорил я. — Они со злости.

Сидели мы долго. У меня от напряжения затекли ноги. Ведь Елена была совсем близко, и стоило мне пошевелиться — я бы коснулся ее. А я почему-то боялся этого. Я старался не смотреть на нее. И было странное ощущение: я не смотрел на нее, но — видел. А когда она поднимала руки, чтобы поправить прическу, голова моя сама больно поворачивалась в ее сторону, мне становилось стыдно, но я смотрел на подмышки. А потом отворачивался, выпрямлялся, чтобы встать и уйти, и — сидел.

— Ты в клуб пойдешь? — спросил Витька.

— Нет, — ответила Елена.

— А чего твой жених не пришел?

— Во-первых, не твое дело. Во-вторых, он мне не жених.

А в-третьих, мы поругались.

— А завтра сама к нему побежишь.

— Как бы не так.

Я побрел домой. За синяки мне попало. Я огрызался на добродушные замечания, получил от отца подзатыльник, разревелся и спрятался в своей комнатушке. Плакал я обо всем сразу: и о том, что Генку бьет отец, и о том, что я ударил Витьку, и о том, что, когда Елена поднимает руки, видно подмышки, а я не могу на них не смотреть, и о том, что у нее все-таки есть жених, и о том, что настукали мне из-за нее. Я силился вспомнить что-нибудь Генкино, чтобы думать о Елене было противно, и не мог ничего такого вспомнить. Зато вспомнил, что Елена старше меня и ростом выше, и — слез прибавилось. И они стали горькими... Одиночество ощущается не только тогда, когда никого у тебя нет, но и когда — есть, но не с тобой. Эх, первые в жизни одиночества — мальчишки! Они — как ступеньки к повзрослению. Одиночество — значит остаться наедине со своей жизнью и увидеть ее всю насквозь.

И вот когда я впервые испытал это острое чувство, то сначала показался самому себе до ничтожного маленьким. И все вокруг меня было против меня. И я был глупым, смешным и страшно несчастным. И я был против всего и всех.

Но потом, выплакавшись, я ощутил себя не то чтобы сильным, большим и умным, а просто способным к сопротивлению. Подумалось мне с недетской отчетливостью, что я — это лишь я, и все, что выпадет на мою долю — только мое, и я обязан это пережить. И все сразу стало незамысловатым и ясным. В душе возникла радость. Мир показался разноцветным и дружелюбным. И даже когда вспоминался Генка Смородников, мир не терял своих красок и дружелюбия, потому что Генка вспоминался с голубыми...

И еще мне было приятно оттого, что все спят, а я размышляю и переживаю в темноте.

Уснул я неожиданно и проснулся счастливым.

Дома никого не было, и это тоже было хорошо. Я долго валялся в постели, хотя меня так и тянуло выскочить на улицу, потом долго умывался, даже позавтракал не торопясь — убежденный, что сегодня со мной случится что-то необыкновенное, и словно оттягивал удовольствие.

Я ведь не знал, что послезавтра начнется война, на которой погибнут Елена, Витька и Генка. А если бы и знал, то не поверил — тогда! — что их могут убить. Ведь мальчишки и девчонки верят в бессмертие. Только повзрослев, они поймут, что Чапаев действительно утонул.

Был прозрачный и жаркий день, не душный, а просто жаркий.

Впервые в жизни я сам, по собственной воле, облачился в чистую рубашку и причесался. Физиономия моя была украшена тремя синяками, левый глаз припух. Я правым подмигнул себе в зеркале и показал язык.

Мальчишки посмотрели на меня с состраданием: они-то решили, что меня нарядили взрослые.

И Витька удивился:

— Куда это тебя?

— Никуда, — весело ответил я, — просто так.

— Жди меня. Я за хлебом. Дверь не заперта, Елена ключ потеряла, а сама дрыхнет.

Я вполне мог подождать Витьку на улице, но подумал об этом только тогда, когда уже поднимался на второй этаж, крепко держась за перила. Я не отрывал руки, будто боялся упасть. И хотя шел я долго-долго — у дверей оказался неожиданно. Стоял я перед ними смятенный, глупо-радостный и какой-то другой, не такой, каким был всего несколько минут назад.

Я проскользнул в комнату бесшумно, чтобы не разбудить Елену, сел в низкое старинное кресло с короткими ножками. В нем приходилось скорее полулежать, чем сидеть.

Прозвенели пружины, и я весь сжался, отчего они еще громче звякнули.

Сидел я неподвижно, а пружины еще долго звенели на разные лады.

А вдруг выйдет Елена?

А почему я боюсь этого?

А вдруг она сразу заметит чистую рубашку и что-нибудь подумает?

А вдруг она увидит синяки и обидно расхохочется?

Скорей бы вернулся Витька...

И все-таки мне было радостно! И меня смущало именно это ощущение. Я весь был другой, каким никогда не был. Мне захотелось вскочить и громко засвистеть мою любимую песню «Шел под красным знаменем командир полка».

Но тут же я струсил собственной смелости, решил убежать,

начал тихонько подтягивать ноги, чтобы, когда буду вставать, пружины не звякнули.

Открылась дверь соседней комнаты, и вышла Елена. Меня она не видела, остановилась, потянулась, закинув руки за голову, закрыла глаза и счастливо улыбнулась. В один миг я не только увидел — как это сказать? — впитал ее в себя всю, до каждой родинки, до каждого волоска. А она, повернувшись ко мне спиной, встала перед зеркалом.

Помню, что мне не было стыдно.

Нисколько.

Да и не могло быть стыдно.

То, что я видел, было как бы из другого мира, и если бы не боялся обвинения в сентиментальности, то сказал бы: из сказки.

И потом генки смородниковы встречались мне в жизни. Но Генка-то был мал и глуп, голоден и бит, а я встречал их — сытых, переполненных самодовольством и самоуверенностью. Эти генки смородниковы подкарауливали меня в самые смутные моменты моей судьбы, когда, казалось, некуда было деться, кроме как в грязь, предлагали свои услуги. И если хоть в чем-нибудь я не сдался им, то должен быть благодарен Елене, благодарен просто за то, что она жила.

Но об этом я догадался только сейчас, когда ее уже нет в живых.

А тогда она была живая и красивая. И я не знал, что такую могут убить на войне. А если бы мне и сказали, я бы ни за что не поверил.

Я смотрел на нее, видимо, недолго. Но еще раньше, чем она ушла, я уже думал о том, как будет ужасно, если она меня заметит.

Мне хотелось, чтобы она осталась моей тайной.

А она чему-то рассмеялась и убежала на кухню. Я вскочил (и пружины не звякнули!), перелез через подоконник, встал носками на выступ в стене и прыгнул спиной вперед. Лететь было до озноба страшно. И перед тем, как больно удариться о землю, я успел подумать: хорошо, что Елена никогда не узнает, что я видел ее.

Мне показалось, что внутри у меня все оборвалось. Сначала я и не догадался, что вывихнул ногу; превозмогая боль, встал на четвереньки, добрался до заборчика и лег на траву.

Через некоторое время я попробовал встать и чуть не взвыл, отдышался и пополз вдоль заборчика, думая только о том, чтобы никто меня не заметил.

Лоб покрылся холодной испариной. С каждым шагом подтягивать больную ногу было все больнее. И лишь взобравшись на скамейку и кое-как положив на нее ногу, я свободно вздохнул.

Но не мог прийти в себя. Бывают события, которые переживаешь не столько, когда они происходят, а — потом, и остро-от-

четливо. Так было и со мной, хотя совсем недавнее событие казалось мне не то приснившимся, не то просто промелькнувшим в сознании. Я как бы вновь оказался в комнате, сел в старинное кресло с короткими ножками, и — вошла Елена. Вспомнив это, я закрыл глаза и снова увидел ее. И уже тосковал, что такого больше со мной никогда не случится.

Потому что все настоящее бывает в жизни только раз — впервые. Настоящее неповторимо. Истина эта банальна, но банальность не освобождает ее от жестокости. И сколько человек ни обманывает себя, сколько ни тщится повторить неповторимое, а — не получается. С годами хоть немного, да черствеешь, из чувств хоть немного, да уходит чистота, исчезает наивность, каждый поступок контролируешь жизненным опытом, в основе своей расчетливым и недоверчивым, осторожным. Но зато он и помогает — конечно, с опозданием — определить, что же именно в твоей жизни было настоящим, первым.

А многое настоящее, как ни странно, происходит в детстве. Или в юности.

Разумеется, обо всем этом я думал, сидя на обледенелой скамейке на берегу застывшей Камы, а не тогда, когда после прыжка со второго этажа размышлял о Елене, забыв о вывихнутой ноге.

Если бы не эта нога, я бы убежал в лес. Он был неподалеку. Я любил бродить там, когда со мной случались радости или беды.

Сейчас мне хотелось быть одному.

Подошла Елена, и сначала я даже не узнал ее.

— Смешной ты какой-то, — сказала она. — Чего глаза вытаращил? — и рассмеялась.

— Ногу вывихнул, — гордо сказал я и чуть не добавил: из-за тебя!

— А ну... — Елена прикоснулась к моей ноге. — Да не бойся! — прикрикнула она, когда я дернулся. — Я ведь в санитарном кружке.

Боль по ноге проскочила через тело в затылок и... растаяла.

— Вот и все, — сказала Елена.

А мне вдруг стало грустно. В моем сознании никак не могли слиться в один образ — та Елена, которую я видел недавно, и вот эта, сидевшая рядом.

— Витька тебя ищет, — сказала она. — А ты откуда прыгал?

— С чего ты взяла, что я прыгал? — грубо и испуганно отозвался я. — Просто бежал и...

— Ах! — Она закинула руки за голову, выгнулась, закрыла глаза. — Какой я сон видела... Но ты маленький, не поймешь...

— Если у меня нет невесты, то еще не значит...

— Не сердись. — Она улыбнулась мне, и глаза ее потемнели. — Ты лучше всех мальчишек.

И я бросился бежать.

— Куда ты? — крикнула она вслед.

— Никуда! — ответил я, не останавливаясь.

Бежалось необычно легко.

Как я не разбил себе лоб о деревья, понятия не имею. Я пошел шагом лишь тогда, когда стал спотыкаться от усталости. Долго бродил я по лесу, ни о чем не думая или обо всем сразу. Тогда я не знал, что прощаюсь с детством. А в каждой разлуке есть хотя бы оттенок тревожной грусти. Но грусть была светлой и не настораживала. Я был счастлив.

Домой я не возвращался, пока не начало темнеть. И опять, как вчера, в темноте я думал о своей жизни. Что-то в ней очень изменилось. Она стала куда интереснее, чем была вчера. И сам я показался себе до того взрослым и сильным, что пощупал мускулы.

Жизнь представлялась мне широкой дорогой, уходящей к далекому горизонту, над которым небо — голубое, как глаза Елены.

Назавтра началась война...

...Я еле поднялся со скамейки: до того онемели ноги. Руки так замерзли, что не сразу удалось зажечь сигарету. Стыдно мне было: почему я не смог рассказать отцу Елены о ней? О том, что помню ее, о том, что благодарен судьбе за встречу с ней?

Нет, мне многое надо еще сделать, чтобы не было стыдно перед Еленой, Витькой, их отцом и даже Генкой Смородниковым...

1965

## ПЕТРОВНА

— Устиновна-а-а! — надрываясь, кричит старуха. Она стоит на крыльце избы, прислушиваясь, оттянув от уха платок. Ответа нет, и она снова кричит, от усилия приподнимаясь на цыпочки. — Устиновна-а-а!

Молчит деревня, не откликается.

Тогда старуха произносит спокойно:

— А и будь ты проклята, — и садится на крыльцо, свесив голову, упершись в доски жилистыми пальцами, и широкие, острые плечи ее торчат, как крылья большой ошипанной птицы.

Пятилетняя Устиновна спряталась за сараем в огороде. Когда крики смолкли, она осторожно двинулась сквозь заросли крапивы, временами тонко, почти неслышно попискивая.

Старуха снова встает на крыльце и кричит:

— Устиновна!

Девочка уже стоит за углом избы, в трех шагах от бабушки, и молчит. У нее бледное, незагорелое лицо, какое редко встре-

тишь в деревне; прямые льняные волосы закрывают шею и на концах загибаются вверх; по середине головы от лба к макушке тянется прямой пробор — полосочка розовой кожи. Глаза у девочки голубые, пронзительные, недетские, будто она смотрит на что-то нехорошее, взрослое и все понимает.

Держится Устиновна странно. Нет в ней юркости, как говорит бабушка. Явно кому-то подражая, девочка иногда делает что-то похожее на движения, какими женщины поправляют груди, или вдруг пройдет так, как ходят женщины — играя телом.

— Тыфу, пакостница! — сплюнет старуха, а Устиновна зальется смехом, сразу становится обыкновенной девочкой, и глаза ее смотрят с лукавым любопытством.

Невдогад старухе, что она сама надоумила внучку так проказить. Устиновне нравится наблюдать, как злится бабушка, а рассердить ее можно только этими фокусами.

Бабушка сидит неподвижно, будто дремлет, опустив веки. Они очень выпуклы и почти черны, загорелое лицо в белых морщинах.

Устиновна зажимает рот рукой, сдерживая смех, но он вырывается сквозь пальцы, и девочка убегает к сараю.

Отдохотавшись, она возвращается обратно и снова наблюдает за старухой. Подойдя, Устиновна наклоняется к ее уху и что есть силы кричит, почти визжит:

— И-и-и!

Старуха вскакивает и успевает схватить внучку за руку, держит цепко, дышит громко, прерывисто, выговаривая с трудом:

— Погибель моя... выродок...

Далее следуют самые отборные ругательства. Старуха произносит их без всякого выражения, будто читает неразборчивый текст.

Затем она начинает бить Устиновну, но делает это неловко и без злости. Внучка увертывается от ударов и не плачет, а деловито подвывает. Изловчившись, старуха попадает своєю сухой, но тяжелой ладонью по внучкиному заду, и тогда Устиновна ревет по-настоящему, громко, с удовольствием.

Выждав, старуха произносит удовлетворенно:

— А и обедать пора.

И, будто ничего не случилось, она гладит внучку по голове, девочка обнимает старуху одной рукой за ноги, и они идут в избу.

Насколько изба ветха и неприглядна снаружи, настолько добротна и аккуратна внутри — явный признак отсутствия в семье мужских рук. Некрашенные полы из широких досок здесь моют с песком, который растирают голиком — огрызком веника.

У порога старуха снимает лапти, а Устиновна ненадолго встает босыми ногами на влажную тряпку.

Накрыв на стол, бабушка за руку подтаскивает девочку к переднему углу, где друг над другом сбились в кучку потемневшие иконы.

Устиновна знает, что вслед за бабушкой надо прикладывать три пальца сначала ко лбу, потом к животу и плечам. А самое интересное — поклоны. Кланяясь, девочка старается как можно громче стукнуться лбом об пол.

Увлеченная молением, бабушка и на этот раз ничего не заметила.

Есть у девочки еще одно развлечение: она не просто прикладывает пальцы, когда молится, а почесывает ими лоб, живот, плечи... Смешно!

После обеда они ложатся на полу, постелив старый тулуп, и бабушка начинает рассказывать про бога. Каждый раз Устиновна засыпает при первых же словах...

С нетерпением ждет девочка вечера, и чем ближе он, тем чаще выбегает она за ворота.

Мать приходит уже в темноте. Устиновна прижимается к ней, радостно чувствуя, какая она большая и горячая, сильная. Дочь старается удержать ее на улице, чтобы мать не вошла во двор. Мать и сама не торопится. Долго стоят они, ласкаясь, перед воротами. Вздохнув, мать подхватывает Устиновну рукой под коленки и несет.

Старуха ждет их на крыльце и не говорит, а шипит:

— Пришла шушера...

Мать улыбается виновато.

Устиновна показывает бабушке язык. Она не любит старуху только за то, что та свирепеет при одном упоминании имени своей дочери. Детский ум Устиновны не может разобраться в том, почему большая сильная мать покорно переносит все обиды.

А старуха ворчит и ворчит:

— Блудница... распустила вожжи... бойся бога-то... держи себя... не охоться...

Лишь изредка мать отвечает:

— Нету бога, значит, и греха нету.

-- А это? — И Устиновна чувствует в темноте, что бабушкин палец направлен на нее. — Грех! Грех! Молись...

Мать лежит рядом с Устиновной на спине, и все ее жаркое тело дышит.

-- За что она тебя? — спрашивает Устиновна. Но мать не отвечает — спит. Грудь ее тяжело и плавно вздымается, словно камень лежит на ней.

Ничего еще не понимает дочь — и счастлива поэтому. Не знает даже, почему бабушка зовет ее Устиновной, хотя по документам она Петровна.

В страшные военные годы, когда в деревне не осталось ни одного мужика, появился здесь однорукий солдат Устин. Дело прошлое, чего греха таить, оставил он у нескольких вдов и девок по ребенку и исчез куда-то.

Вот и звала старуха свою внучку Устиновной, хотя родилась она после войны и был у нее отец — городской шофер, приехавший в колхоз на уборочную.

Ничего не обещал он Арине, ничего даже и не говорил более или менее подходящего для таких случаев, просто останавливал ночью грузовик во дворе, ел, пил, а утром отправлялся в путь.

В город он уехал не простившись.

Кабы плакала Арина, кабы жаловалась да прокляла бы себя вместе со своим грешником, да рублей бы на божьи свечки не пожалела, молчала бы тогда старуха.

Арина же гордо живот носила, улыбалась.

Когда родилась Петровна, старуха кричала:

— В руки не возьму! Грех! Отсохнут руки-то!

— А чего? — будто и не понимая, спрашивала Арина, подставляя большую налитую грудь к маленькому личику дочери. — Чего? Человека родила. Рази грех — человека родить?

— Гре-е-е-ех!

— Не-е... еще рожу. Мальчонку рожу.

— От кого?

Вздыхала Арина и отвечала:

— А хоть от кого. Все одно мой будет. — И даже в голосе ее было это желание, будто и не мучилась муками, будто и не ведала, что грешит, а доброе дело делала.

Полюбила старуха внучку, но не рада была своей любви: с укором смотрели потемневшие лики святых, молчали, пугали. Ох, недовольны были!

Однако совсем было свыклась бабушка со своим горем, но опять Арина стала ночами уходить из дому, возвращалась под утро и — напевала весело.

Увела она как-то дочь в огород, прижала к себе, выдохнула теплым голосом:

— Братик у тебя будет... хороший такой братик.

— Когда?

— К весне. В сельпо куплю.

Вот и ждала Устиновна мать, засыпала, но сквозь сон слышала песню и просыпалась.

Скрипела дверь.

— Бог-от все видит! — кричала старуха.

— Нету для меня бога, — радостно отзывалась мать, — нету. А если есть, плевала я на него. Живая я. На — пощупай, какая.

— Тьфу!

Арина громко и хорошо смеялась, говорила напевно:

— От моих грехов люди родятся. Рази плохо это? Спроси-ка у них! — Она показывала на иконы и снова смеялась.

— Из дома уйду, — старуха стучала костлявыми пятками по полу, — проклянущу...

...Арина опрокидывается на постель. Устиновна шепчет:

— А почему в сельпе братика хорошего родить будешь? Бо-ишься здесь?

— Не боюсь. Могу и здесь. Спи, Петровна.

— Умру вот... — бормочет старуха. — В сраме умру...

— Все помрем, — сонно отвечает Арина, — а они жить останутся... Спи, спи, Петровна.

И Петровна крепко и сладко засыпает, положив голову на большое мягкое плечо матери.

1958

## НИКИФОРОВ

— Десять лет уплыло, как Даша умерла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно и не к чему жить-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий, крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу, вроде бы лекарство какое принимаю... Даша, еще когда живая была, все окунем меня дразнила. Смолodu она красивая была, сильнющая. Купаться, помню, на косу поедem, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут был один. Еще раньше меня к ней сватался. И всю-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо едет, вот тут, так гудит, приветы ей, значит, посылает.

Внизу на тропинке послышались голоса и смех. Старик замолчал. Цигарка вспыхивала ярким синеватым пламеньком. Голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковыляла. А мы еще лучше жили. Ночью, если сон страшный увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша хорошая больно была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет... А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Во-о-от... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым днем все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь я больной сверху донизу. Раньше, бывало, занемогу, Даша меня в баньку, да венничком исхлещет — и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает:

— Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя, значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже... И нашел я себе тут на рейде молодушку. Толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и, ага, гудит. Стыд меня заел... вот как голодный косточку обглаживает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь у него сын по Каме

плавает. Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом...

Кругом тишина. Но чем сильнее я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит.

Старик молчит, и, чтобы продолжить разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больницу-то не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что?

— Детей у вас не было?

— Трех войне скормили.

Через лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-умная река стала, — говорит старик. — Ране-то, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода прошлепает, а ныне и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то он тоже плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде бы в гостях...

Видно, что от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымит.

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик. — Тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, рукавом проводит по лысине. — Не идет что-то Никифоровский сынок. Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

— «Ретвизан»... «Ретвизан»... — шепчет старик, будто зовет.

Все яснее проступают очертания краснобокого судна. Оно дышит трудно, шумно.

Буксир напротив нас. Канат, соединяющий судно с длинным плотом, не виден, но даже отсюда, издали, я чувствую, что он есть.

Мне кажется, что я слышу, как он звенит от напряжения.

Лицо у старика растерянное, он пытается улыбнуться, шарит сзади руками, как делают, когда нащупывают стул.

И когда старик опустил на скамейку, мощный крик гудка ворвался в утреннюю тишину и, радостный, густой, стал подниматься все выше и выше...

# МАМА НАДЯ, ЛЕНЬКА И Я

## ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА ДЕВОЧКА

Эту комнатку мы называли кабинетом, хотя на самом деле она была обыкновенным чуланом. В нем стояли тонконогий столик, тумбочка и стул. На столике сверкала консервная банка-пепельница, рядом — стопа фотографий, придавленная большой галькой. К краю столика была привинчена кофейная мельница. Вот, пожалуй, и все, если не считать пузырька с чернилами, ручки и томика рассказов Паустовского.

Я говорю об этом так подробно потому, что кабинет-чулан и еще комната с крошечным балкончиком в доме на берегу Камы, среди сосен, берез и огородов, — это счастье.

Мы приехали сюда из душного пыльного города, вырвались из круговорота заседаний, собраний, планерок, летучек, совещаний и — задышали свежим воздухом.

Вечером, расставляя вещи, мы пели веселые песни и спать легли рано.

Утром, едва проснувшись, я вскочил, открыл окошко и вылез на крышу; стоял под колючим ветерком, смотрел вокруг и думал. До чего же глупо мы живем, думал я: крутимся с утра до вечера, копошимся, ссоримся, куда-то торопимся, к отпуску дуеем настолько, что первую неделю отдыха ничего не замечаем, не верим, например, что можно целый день проваляться с книгой в руках... Зимой мечтаем о юге, о море, портим себе настроение, вымаливая у профкома путевку. А вот уехал сюда, всего за пятнадцать километров от города, и — какая благодать.

Через час мы сидели на балкончике и завтракали.

— Рыбачить пойдем? — спросил меня Ленька.

— Никаких рыбалок, — сказала мама Надя. — Идите лучше в лес.

Лицо у Леньки стало грустным. Он проговорил:

— Смешно. В лес. Лучше рыбачить.

— А если утонете?

Тонуть мы и не собирались, а потому обиделись на такие слова. До того обиделись, что есть перестали.

— Идите лучше в лес, — повторила мама Надя. — Грибов принесете или ягод.

— Мы рыбачить хотим, — жалобно сказал Ленька. — Отпусти нас рыбачить.

— А если утонете? — снова спросила мама Надя.

Тут мы расхохотались. За кого она нас принимает? И зачем это мы тонуть будем?

— Если вы пойдете на рыбалку, — обиженно и строго произнесла мама Надя, — я буду волноваться. Вы хотите, чтобы я волновалась?

Мы совсем не хотели, чтобы она волновалась, но еще больше нам хотелось вытащить из воды несколько ершиков.

— Вы плохие люди, — сказала мама Надя, — вы думаете только о себе. Только бы вам было хорошо. Да?

— Нет, — ответил я.

— Нет, — повторил Ленька.

— Неужели ты не хочешь ухи? — спросил я. — Мы поймаем много ершиков и сварим такую уху, что пальчики оближешь.

— Десять пальчиков, — добавил Ленька. — Мы будем сидеть на дебаркадере и ловить рыбу. Для чего нам тонуть?

Разговор закончился тем, что мама Надя махнула на нас рукой и уехала в город за продуктами.

Мы отправились на рыбалку. Я нес удочки, а Ленька червей в спичечной коробке. И хотя мне тогда было двадцать восемь лет, а Леньке пять-шестой, настроение у нас было одинаковое — замечательное.

Шли мы босиком, и теплый песок приятно щекотал нам подошвы... Через несколько шагов мы увидели, что на скамейке у забора сидит маленькая девочка в красных трусиках. Худенькие плечики ее вздрагивали. Она плакала, держась за лицо руками,

— Плачет, — насмешливо шепнул мне Ленька. — Вот рева!

Девочка подняла на нас заплаканное лицо.

Мы остановились. Ленька показал ей язык.

Девочка снова всхлипнула, снова схватилась за лицо руками. Чего это она? Кругом такая благодать, а она плачет, глупая!

— Смешно, — шепнул мне Ленька.

Девочка не обращала на нас никакого внимания, плакала и плакала. Сначала нам стало жаль ее, а потом мы подумали, что жалеть ее нечего. Куклу, наверное, потеряла, или обозвал ее кто-нибудь как-нибудь, а она — реветь.

Я посадил Леньку на плечи, и мы стали спускаться вниз по крутому берегу. Галька больно впивалась мне в пятки.

Из-под берега бежали леденющие ключики. Мы быстренько пропрыгали по холодной земле и по шатким доскам поднялись на дебаркадер.

Закинули удочки и сидим важные, гордые; нам кажется, что темно-зеленая вода так и кишит ершами. Они ходят огромными стаями и сейчас как набросятся на наших червяков...

Не клевало.

— Чего это она плакала? — спросил Ленька.

— Не знаю, — ответил я. — Жалко?

— Немного.

Мы переменили червяков, поплевали на них, снова забросили удочки. Наверное, в Каме было много-много рыбы, но ни одна из них не желала, чтоб мы сварили из нее уху.

— Может, ее настукал кто-нибудь? — спросил Ленька.

— Бывают такие, — согласился я.

Мы снова переменили червяков. Снова забросили удочки.

Не клевало.

И стало нам грустно, до того грустно, что мы взглянули на берег, туда, где сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

— Может, ее умываться заставляли, а она не любит умываться? — спросил Ленька. — Помнишь, я в детстве такой был? — А может, у нее зубы болят? — спросил я.

Мы смотрели на неподвижные полавки и вспоминали маму Надю. Она, как всегда, оказалась права. Не надо нам было идти на рыбалку, ведь ничего из этого не получилось. Уж если мама Надя против чего-нибудь, лучше соглашайся, иначе будет у тебя неудача.

— Посмотрим на нее? — предложил Ленька.

Мы смотали удочки, высыпали червяков в Каму и поднялись вверх по берегу.

Девочки на скамейке не было.

— Ушла, — сказал я. — Успокоилась и ушла. Играет сейчас.

— А вдруг все еще плачет?

Долго мы сидели на скамейке, раздумывая над тем, почему же плакала девочка и где она сейчас, плачет или нет.

Придя домой, мы старались не смотреть друг другу в глаза. Стыдно было. Маму Надю не послушались — раз, ни одного ерша не поймали — два, и девочка — три.

Потом мы сварили картошку, надергали в огороде луку и сели обедать.

— Девчонки всегда плачут, — сказал Ленька. — Бабушка говорит, что у них глаза на мокром месте.

— Какое нам дело до каждой ревы, — ответил я. — Она, может, по сто раз в день плачет.

Решили поспать. Вынесли на балкончик матрас, подушки и легли.

Несколько раз мне казалось, что я засыпаю. Но стоило мне обрадоваться тому, что сон пришел, как глаза мои открывались.

— И чего я про нее думаю? — спросил Ленька.

Мы встали, и каждый занялся своим делом. Я читал, Ленька пускал корабль в бочке с водой.

А в общем нам было грустновато.

Ничего, скоро вернется из города мама Надя, и нам сразу станет весело. Привезет она разных вкусных вещей, а главное — сама приедет. Когда мама Надя дома, жить как-то легче.

Мы вышли на берег, чтобы встретить ее. Мы махали руками и прыгали от радости, когда речной трамвайчик проплывал мимо. С трамвайчика нам не ответили. Мы перестали прыгать и сели.

Много людей сошло с трамвайчика на берег, но среди них мамы Нади не было.

Грустные, сидели мы на берегу и тихо пели песенку:

Лед по Каме не плывет,

Наша мама не идет.

Кама, Кама...

Где же наша мама?

К пристани подошел второй трамвайчик, а мама Надя опять не приехала.

Мы еще раз спели нашу песенку.

Когда человеку грустно, он ничего не может делать. Мы прогулялись по берегу, посидели на той самой скамеечке, на которой утром сидела и горько плакала девочка в красных трусиках.

Третий трамвайчик подошел к пристани. Много людей высыпало на берег, но среди них не было той, которую мы ждали.

— Безобразне, — сказал Ленька.

Плакать мы, конечно, не плакали, но вздыхали враз и громко.

Вдруг видим: идет по берегу та самая девочка в красных трусиках и улыбается.

— Чего это она? — спросил Ленька. — То ревет, то улыбается!

А мне подумалось, что было бы здорово, если бы девочка пошла к нам и спросила:

— Почему вы такие грустные?

Мы бы рассказали ей о своем плохом поведении, пожаловались бы, и нам стало бы легче.

Но девочка прошла мимо нас.

Какое ей до нас дело? Мы грустные, а она веселая.

— И чего ей смешно? — всхлипнул Ленька.

— Может, у нее мама приехала? — спросил я.

Мы вернулись домой и сели пить чай. Делали мы это для того, чтобы убить медленное время. Выпили по целых три чашки, вымыли посуду.

И когда нам стало уже не грустно, а страшновато, приехала мама Надя. Мы по нескольку раз поцеловали ее в обе щеки.

Она улыбалась и молчала. Она и без наших рассказов поняла, что мы во всем раскаиваемся.

## ЭТОТ КРАСИВЫЙ МОРЯК

— Опять ты обидел ее? — спросил я Леньку. — Выпороть тебя не мешало бы за такие дела.

— Детей бить нельзя, по радио передавали, — ответил Ленька.

Он стоял передо мной, опустив круглую, наголо остриженную голову, и время от времени проводил руками за резинкой своих грязных, бывших когда-то желтыми трусиков. Делал он так не потому, что они спадали, а, наоборот, потому, что резинка была тугой. Утром мама Надя советовала ему надеть другие трусики, иначе живот заболит, но Ленька упрямо сказал:

— Замечательные трусики, а резинка у них слабая. И живот у меня, будь спокоен, закаленный.

Теперь живот его был в красных вдавленных полосах, будто

его бечевками стягивали. Лицо у Леньки вымазано сажей — это он играл в негра.

Мама Надя воскликнула:

— Ведь вчера только ты дал слово вести себя хорошо!

Ленька и пришел ко мне жаловаться.

— Зачем ты обидел ее своим отвратительным поведением? — спросил я.

— Она говорит, что у меня твой характер, — с гордостью ответил сын и, понизив голос, добавил: — Она все равно меня любит. И тебя тоже.

— Ты думаешь, что тебе не попадет?

— Может быть, попадет, — согласился Ленька. — Но она нас все равно любит.

Ему попало, и здорово. Во-первых, не отпустили бросать гальки в Каму, во-вторых, вымыли горячей водой, в-третьих, сказали, что в ближайшее время, впредь до особого распоряжения, он не получит мороженого.

Сейчас Ленька был чистенький, свеженький и притихший.

— А вот на крышу вылезу, — спросил он, — попадет?

Я кивнул.

— А она меня все равно любит.

Ленька был прав. Мама Надя любила нас и прощала нам все. Иногда, правда, нам доставалось, но в конце концов мы получали прощение. И мы всегда думали: простит! Не выгонит же она нас из дому! Куда она без нас денется? Кому в воскресенье будет пирожки стряпать?

Но в этот день мама Надя, видимо, решила доказать нам, что ее терпению и любви пришел самый настоящий конец.

Днем мы с Ленькой, убедившись, что она спит и ничего не слышит, вылезли через окно на крышу, что нам было строгой-ше запрещено. Такую мы увидели красоту, что забыли обо всем.

Хлопнули створки окна — и раздался спокойный голос мамы Нади:

— Вы хулиганы. Вам хочется упасть с крыши и поломать себе ноги. Пожалуйста, падайте сколько вам угодно. Мне это абсолютно безразлично, потому что обоих вас я уже ни капельки не люблю.

А мы и не поверили. Мы подумали, что кого же ей еще можно любить, если не нас?

Мы сидели на крыше, пока нам не надоело, ждали, что мама Надя позовет нас и тут же простит.

Но она не звала нас.

Когда мы влезли через окно в комнату, то не увидели мамы Нади. Мы сбегали на пристань, заглянули в магазины, к знакомым — нет. И все-таки мы были уверены, что она простит нас, и не очень беспокоились.

Не беспокоились, пока не увидели у калитки нашей дачи моряка. На белом кителе его сверкали изумительной красоты пуговицы, на груди были ордена и медали, а сбоку висел кортик.

Солнечный луч попал на золото кортика и стрельнул мне в глаз. Я зажмурился.

Мы стояли, разинув рты. Это был красивый моряк и, наверное, смелый.

Тут мы вспомнили, как однажды мама Надя сказала нам, что у нее есть знакомый моряк, с которым она училась в школе, что этот моряк никогда ее не обижал, даже тогда, когда еще и не был моряком, и что он, между прочим, красивее нас обоих, и что она выйдет за него замуж, если мы будем вести себя плохо, и будет у нее новый сын, получше, чем Ленька.

И тут нам стало не по себе.

А моряк спросил, где ему разыскать женщину по имени Надя, фамилии которой он не знает, так как она вышла замуж и переменяла фамилию.

Как нам хотелось обмануть этого красивого моряка! Как нам хотелось сказать, что никакой Нади здесь нет, а если даже она здесь и живет, то его это несколько не касается, пусть плавает по своим морям и океанам и не ездит сюда совсем. Нечего ему здесь делать.

Но мы не соврали, мы сказали, что Надя живет здесь, что она наша.

И показалось, что моряк взглянул на нас с усмешкой. Дескать, невозможно даже и подумать, что Надя могла променять меня на вас. Вот возьму и увезу ее с собой.

— А она нас любит, — дрожащим голосом сказал Ленька. — А то, что мы иногда ссоримся, то ерунда.

— Ссоритесь? — спросил моряк. — Почему?

Что ответить, мы не знали, потому что сейчас действительно не могли понять, зачем мы с ней ссорились и обижали разными глупостями.

— Можно ее подождать? — спросил моряк.

Вздохнув, мы ответили, что можно.

Мы даже угостили его чаем.

Моряк съел три шоколадные конфеты.

А мы не теряли времени даром: натаскали полный бак воды, чтобы мама Надя была довольна, начистили овощей для супа, подмели пол.

А моряк стоял на балкончике и курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

Мы знали, о ком он думает. Мы знали, что она любит нас, а не его, хотя он и красивый.

И все-таки нам было не очень весело.

— Может, она сегодня и не придет! — громко, так, чтобы слышал моряк, сказал Ленька. — Возьмет да и не придет.

Мама Надя тут же пришла.

Она не обратила на нас внимания, поцеловала моряка и проговорила:

— Хорошо, что приехал.

А моряк развернул сверток и протянул ей набор духов в зеленой коробке.

Мы чуть не закричали. Он хитрый, этот красивый моряк! Он подарил ей именно тот набор, о котором она давно мечтала.

— А сегодня не Восьмое марта, — насмешливо сказал Ленька.

— Есть на свете люди, — ответила мама Надя, — которые хорошо ко мне относятся всю жизнь, а не только Восьмого марта.

Вот так...

Мама Надя сидела с моряком на балкончике, и они о чем-то говорили, смеялись.

Моряк курил сигарету за сигаретой, стряхивая голубой пепел на крышу.

— Давай залезем на крышу, — предложил Ленька, — и будто бы упадем. Может, она пожалеет нас?

Мы вылезли через окно на крышу, сели у самого края. Мама Надя отлично видела, что мы рискуем жизнью, но ничего не сказала. Она вела себя так, словно нас не было не только на крыше, но и на свете!

А потом она сказала, чтобы мы готовили себе ужин, а она сейчас уедет со своим замечательным другом в город и пойдет в театр смотреть веселую комедию.

Это было уж слишком, но мы промолчали.

Мама Надя надела свое лучшее платье, наше любимое платье — голубое в белый горошек.

— Какая ты красивая, — сказал моряк.

А мы и без него знали, что она красивая! Только не говорили ей об этом. Подумаешь, приехал тут, открытие сделал! Мы смотрели на моряка и старались улыбаться.

Он был весь блестящий, чисто выбрит, на брюках — острые складки.

— Я больше в негра играть не буду, — шепнул мне Ленька. — А ты почаще брейся.

Мы проводили их до калитки.

— Когда приедешь? — спросил Ленька, шмыгнув носом.

— После спектакля, — весело ответила мама Надя.

Мы долго смотрели им вслед. Если бы вы знали, как нам было обидно!

До поздней ночи мы сидели на балкончике.

И молчали.

Видимо, мы получили по заслугам.

— Кортик у него, по-моему, не настоящий, — сказал Ленька.

— Нет, кортик у него настоящий, — возразил я.

— А может, он и не моряк, — сказал Ленька. — Бывают такие: форма морская, а моря и в глаза не видели.

— Нет, — сказал я, — это настоящий моряк. Он плавал по настоящим морям и океанам. И как бы ему ни приходилось трудно, он не забывал ее, которую знал еще тогда, когда не был моряком.

— Тогда понятно, — сказал Ленька.

Дачный поселок спал. Одни мы не спали. Ждали маму Надю. И совсем не трудно догадаться, о чем мы думали.

— Ты разбуди меня, если я усну, — попросил Ленька. — Как только она вернется, сразу разбуди. Мне необходимо с ней серьезно поговорить. Ладно?

## АРХИП

Архип — это снегирь, симпатичнейшая птица.

Купили мы его случайно. Ходили с Ленькой как-то на рынок за картошкой. Идем обратно и слышим птичий гомон. Дело было в декабре, а тут свист-пересвист-чирикание, будто ранней весной, когда каждая живинка свой голосок пробует.

Смотрим: замерзшие мальчишки продают нахохлившихся в клетке птиц.

Спрашиваем у одного мокроносового продавца, сколько стоят его красивые щеглы.

— Пятнадцать штука, двадцать пять да за клетку пятнадцать, — протараторил мокроносый продавец.

Таких денег у нас не было.

Потом мы увидели в сторонке маленького грустного человека в мохнатой шапке. В руках он держал клетку со снегирем.

Спросили мы, сколько стоит такая птица.

— За восьмерку отдам. Да за клетку десятку. Всего-навсего восемнадцать рублей.

Мы вздохнули и пошли прочь.

— Пятнадцать за все удовольствие! — грустно крикнул продавец. — Почти бесплатно отдаю Архипа.

Тогда мы честно признались, что денег у нас одиннадцать рублей — две трешки и одна пятерка.

Грустный продавец внимательно оглядел нас и спросил:

— Любить Архипа будете крепко?

— Еще как! — ответили мы.

— Берите мое счастье за две трешки и одну пятерку! — Продавец махнул рукой. — Прощай, Архип! Плакать я без тебя буду дни и ночи.

— Почему же ты продаешь его? — спросили мы. — Почему же ты свое счастье за одиннадцать рублей продаешь? Неужели ты без денег жить не можешь?

— Не деньги мне нужны, — грустно ответил продавец. — Я и без денег счастливый человек. А только нету у меня никакой возможности свое счастье держать. Злые люди — соседи — выжили его...

Мама Надя не обрадовалась нашей покупке, сказала:

— Повернуться негде, а вы целый зоопарк принесли.

Мы долго искали место, куда бы поставить клетку. Проще было бы вынести ее на кухню, но там обитал страшный кот Влас, которого боялись даже собаки.

Страшнее Власа была его хозяйка — наша соседка Анастасия Емельяновна. Она завидовала всем счастливым людям, если даже их счастье стоило всего две трешки и одну пятерку.

Больше всего на свете Анастасия Емельяновна любила ругаться. Выйдет она утром на кухню, довольная, радостная, и рассказывает:

— Море я во сне видела. Стою на берегу и с морем ругаюсь. Уж так я его отчихвостила!

Мы вспомнили рассказ грустного продавца о злых соседях и повесили клетку над книжной полкой.

Дали Архипу клюквы.

Возьмет он ягоду, высосет сок и как тряхнет головой — брызги во все стороны!

Потом он запел грустные-прегрустные песни. Жалко нам его стало. Мама Надя открыла клетку. Архип вылетел, сел на шкаф и запел.

Утром мы проснулись от его пения. Нам даже показалось, что комната стала выше и шире.

Архип завтракал вместе с нами: прыгал по столу, лузгал семечки, сосал клюкву да воду из блюдца пил.

Я уехал на завод, мама Надя — в библиотеку, а Ленка — в детский сад. Весь день я вспоминал о снегире, и работалось мне очень-очень весело.

Вечером Архип встретил нас радостным пением. Сидим, слушаем — хорошо!

Вдруг на кухне начался трам-тарарам и раздался голос Анастасии Емельяновны:

— Измучили кот! Птицу развели! А кот волнуется! Нервный стал!

Теперь каждый раз, выходя на кухню, она устраивала трам-тарарам и громко жалела кота Влаеа.

Мы помалкивали.

Когда я платил деньги за квартиру, домоуправляющий спросил:

— Что же это вы птиц на коммунальной жилплощади разводите? Антисанитарией почему занимаетесь?

Я объяснил, что антисанитарии снегирь выделяет не так уж много, что...

— Не знаю, не знаю, — перебил домоуправляющий, подозрительно рассматривая меня, словно отыскивая следы снегиревой антисанитарии.

К нам явилась комиссия — целых шесть человек. Так как все они сразу не могли уместиться в комнате, то заходили по трое и спрашивали, почему мы издеваемся над пожилой женщиной, матерью троих детей. Потом они писали акт, долго беседовали с Анастасией Емельяновной, убеждая ее, что пожилой женщине, матери троих детей, кляузничать стыдно.

— Есть на свете правда, — прижав к груди сонного Власа, отвечала она. — Много вас, бюрократов, развелось! Сегодня они

птицу купили, завтра собаку привококут, а послезавтра? А? Я со свиньями жить не хочу! — И выставила комиссию за дверь, да еще вдогонку пообещала: — И до вас доберемся!

Через несколько дней меня вызвали в завком и спросили, почему я издеваюсь над матерью троих детей.

Опять приходила комиссия, опять писали акт, опять уговаривали Анастасию Емельяновну не кляузничать, и опять она выставила комиссию за дверь, и опять кричала вдогонку:

— Есть правда на земле! Развелось вас, бюрократов, на нашу голову!

К счастью, Влас стянул у нас из супа курицу, и несколько дней мы жили спокойно. Я на радостях починил соседке электрический утюг, переменял шарниры у шкафа, в воскресенье сделал проводку для радио.

Архип распевал всюю!

По вечерам он купался. Сначала он прыгал вокруг миски, потом садился на край и — в воду. Замрет и — давай трепыхаться.

Пусть вместе с клеткой он стоил всего одиннадцать рублей, жить в его компании было веселее. И мы жалели грустного продавца, который испугался злых людей и расстался со своим счастьем.

Анастасия Емельяновна купила репродуктор. Ну, думаем, будет она теперь слушать радио.

Репродуктор гудел от напряжения. Архип забился в угол. На кухне начался трам-тарарам. Соседка кричала:

— Подумаешь, образованные! Нарочно кастрюлю не закрыли, чтоб кот ихнюю курицу унюхал! Я знаю, сейчас они насчет радио зажалуются! А что, мне и радио послушать нельзя?

Первой не выдержала мама Надя, сказала:

— Я так не могу. У меня голова заболела.

— Надо сшить шапки с большими ушами, — прошептал Ленька, — и уши закрыть. Пусть себе кричит, а мы ничего не слышим.

Домоуправляющий посоветовал:

— В таких случаях лучше отступить. Сдайте вы свою птицу в зверинец.

Терпели.

Но жалко было Архипа, который даже есть перестал. Решили его выпустить.

— Куда же он зимой полетит! — заплакал Ленька.

Мама Надя прикрикнула на него, он заревел еще громче, я рассердился на маму Надю и выскочил из комнаты.

— Послушайте, — ласково, сквозь зубы сказал я Анастасии Емельяновне, — давайте перестанем. Пожалейте нас. Что мы вам плохого сделали?

Презрительно посмотрев на меня, соседка закричала:

— Я издеваться над собой не позволю! Думаете, если у вас образование...

Схватил я пустую трехлитровую банку и трахнул ее об пол. Влас со страху вспрыгнул на стол, и оттуда полетели миски и тарелки.

— Я тебе покажу! — кричал я. — Окна перебью! Ноги переломаю! Все провода оборву!

Что со мной приключилось, до сих пор не понимаю.

Тишина.

Слышу — запел Архип, сначала тихо-тихо, а затем все громче и радостней.

Анастасия Емельяновна посмотрела на меня с уважением и стала подметать пол.

## ТОЛСТАЯ ТЕТЯ В ГОЛУБОМ ХАЛАТЕ

Была такая песенка: «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу».

И очень часто, устав от работы, мы вспоминали эту песенку, из которой знали всего две строчки.

Анапа была для нас — неизвестно почему — символом жизни, пронизанной солнечным светом, теплым и беззаботным краем, где все люди добры и красивы, где есть море — то самое чудо природы, которое мечтает увидеть каждый и которого мы еще не видели.

Белую шляпу я купил зимой. Примерил — здорово! Без шляпы я самый обыкновенный человек, а надену ее — и появляется в моем облике что-то солидное.

Долго не могли мы собраться в Анапу, пока однажды не взглянули друг на друга и не решили:

— Едем! В Анапу!

Я отказался от нового костюма, а мама Надя — от туфель, а Ленька дрожащим голосом заявил, что может прожить и без велосипеда. И добавил:

— По крайней мере, это лето.

В поезде нам стало известно, что мы дикие. Оказывается, так называют нормальных людей, которые едут отдыхать без пуховиков.

Об этом нам сообщила толстая тетя в голубом халате. Сама она ехала в дом отдыха. Мы не стали ее расспрашивать, для чего ей ехать в дом отдыха, ведь еще больше растолстеет! Пусть, не жалко...

— Надену я белую шляпу, — запел Ленька.

— А где шляпа? — спросила мама Надя.

Стали искать.

Даже в чемодан заглянули.

Пропала шляпа!

— Вот, пожалуйста, — сказала толстая тетя в голубом халате, — плацкартный вагон. В купированных вещи не теряются. А всего лучше ехать в мягком.

— Встаньте-ка, — попросила мама Надя.

Тетя встала, мы взглянули на сиденье, — шляпы как не было. То есть она была, но главного — вида — у нее уже не было. А у шляпы главное — вид.

Тетя чуть не расплакалась, предлагая нам деньги, свою шляпу, хотела записать наш адрес. Мы объяснили, что шляпы нам не жалко почти, выбросили ее в окно и помахали на прощанье рукой.

А в Москве на вокзале мы ловко сбежали от тети.

Надо ли рассказывать, как хорошо нам было?

Мы долго стояли на Красной площади, смотрели на смену почетного караула у входа в Мавзолей, прошли по улице Горького, потолкались в арбатских магазинах и — сели в поезд.

В купе с нами ехали студент и важный дядя. Студент у соседей играл в преферанс дни и ночи, и мы его почти не видели.

Важный дядя смотрел на нас с презрением, будто мы были безбилетниками.

На крючке над его головой покачивалась белая шляпа — точно такая же, какая была у меня, пока на нее не опустилась толстая тетя в голубом халате.

Весь день дядя спал с газетой в руках. Если она соскальзывала, дядя моментально просыпался, ловил ее и мгновенно зазвонил.

Мы уважали его до боязни и разговаривали при нем шепотом. Стоило нам заговорить чуть погромче, как дядя открывал один глаз, и мы замолкали.

Усатая проводница покрикивала на всех пассажиров, а важный дядя покрикивал на нее, и она виновато кивала головой.

Анапа оказалась похожей на деревню, и не было в ней ничего особенного, кроме моря и солнца.

Сначала мы даже и не поверили, что перед нами самое настоящее море. Оно пахло водорослями и солью, глубиной и свежестью. Оно было разноцветное и живое. А мы были счастливыми.

— Я морем напился! Я морем напился! — восторженно кричал Ленка. — Честное слово, оно само мне в рот заскочило! Оно соленое!

К вечеру мы обнаружили, что нашим соседом был тот важный дядя, с которым нам пришлось ехать сюда в одном купе.

Он — будто ни разу в жизни не видел нас — прошествовал мимо, а мы даже поздороваться испугались.

Собачонка Чижик бросилась к нему с радостным визгом, но дядя так посмотрел на нее, что она примолкла и виновато замала хвостиком.

Дядя вынес во двор раскладушку, лег, развернул газету и захрапел солидно, с достоинством.

Мы сидели в беседке под огромным раненым тополем. Ранено его осколком снаряда в войну. И хотя он не упал, хотя по-прежнему одевался листвою, большое дупло напоминало о его беде.

Над нами было густое небо. Невдалеке ровно дышало живое море.

— Он ведь тоже герой, да? — спросил Ленька, глядя тополь.

— Герои — это которые с орденами, — ответил из темноты важный дядя. — А будь ты хоть весь в дырках...

— Пора спать, — перебила мама Надя и повела Леньку в дом.

А Ленька спросил:

— Этот дядя в дырках или нет? Как по-твоему?

Когда они ушли, я сказал:

— Зачем же это вы при ребенке...

— И дети с малых лет должны правду знать, — проговорил дядя таким наставительным тоном, что я побоялся спорить.

С утра мы уходили к морю и возвращались поздно. Если Чирик встречал нас радостным лаем, мы знали: дяди еще нет дома. Если Чирик виновато махал хвостиком, значит, дядя спал во дворе с газетой в руках.

Как-то я сидел в беседке один. Распахнулась калитка, ко мне нетвердыми шагами подошел важный дядя и плюхнулся рядом.

— Отдыхать надо без семьи, — заговорил он. — Что за отдых, я не понимаю, с детьми и женой? — От него несло спиртным, и слова он произносил с трудом, будто боролся с ними. — У меня жена... — Дядя загадочно округлил глаза, словно намереваясь сообщить тайну. — Вот такой ширины... — И показал размеры своего собственного корпуса. — Королева Марго... — Он достал из кармана бутылку, налил в стакан. — Ну, будем здоровы и прочее. — Выпил и облизнулся. — Не вино, а сидро. Вообще, безобразий у нас — куда ни ткнись, везде. — Дядя выпятил толстые мокрые губы. — С водкой и то перебои бывают.

— Семья у вас большая? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Семья? — Он как-то странно хмыкнул или хрюкнул, будто его коротким ударом стукнули по горлу. — Семья, семья, — с одной и той же кислой интонацией повторил дядя. — Сын и две примадонны. Вот летом и отдыхают — живу! — Он хлопнул себя по широкой пухлой груди. Жесткие волосы на ней прокалывали шелковую рубашку. — Я вообще... — Он плотоядно осклабился. — А что? Надо жить. Жить надо... Вот вы своего ребеночка от правды бережете. А зачем? Нет, я своим чадам говорю, что сволочь — она завсегда легче живет. А потому и дольше. Ясно?

Казалось, что дядя не произносил слова, а жевал их и выплевывал. Он, давась, допил остатки вина, взял бутылку за горлышко и швырнул в сад.

— Это свинство, — сказала из окна мама Надя. — Поднимите бутылку.

— Хозяин уберет, — сказал важный дядя. — Вы его не жалейте, спекулянта. Сидят на нашей шее, фрукты-овощи... Вот вы, — он нагнулся ко мне, — вроде бы интеллигент, а на шляпу, на шляпу заработать не можете! — И хохотнул, и ушел, ломая кусты.

Утром мы лежали на пляже и обсуждали: переезжать нам на другую квартиру или нет.

Вдруг слышим Ленькин голос:

— Здравствуйте, тетенька!

Смотрим: а это наша знакомая — толстая тетьа в голубом халате.

Ветер откинул полу халата, и мы увидели над коленом большой глубокий рубец. Некрасивый.

— С войны осталось, — виновато сказала она, запахивая халат, и повернулась к морю.

А оно, живое и сильное, подползло к ее ногам.

Здесь, у берега, оно было мутное, а там, где летали чайки, чистое, прозрачное, — чудо природы...

## ДЕД

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдавшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленькиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, если бы не внук.

Отношения Леньки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменное чувство.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, занятым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает сначала человека черствым: разрушая юношеские иллюзии, она дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, нисколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир — наивным, простодушным, сердечным и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся, в отличие от мо-

лодости и зрелости, у которых почти нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствуют, что жизнь прекрасна сама по себе и стоит пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О, как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновеннейших, зауряднейших дел делать редкие события! Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку, когда тот заставлял его играть в футбол. Леньке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае билет и вместе с ним радовался появлению контролера.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похоронные процессии были для нас обычным, а для Леньки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила:

— А если помрет дед-то? — Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками. Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город приходил навещать своего друга.

Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто произносил «да-да», не сводя глаз с внука, и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твои.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжкую весть. Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым. Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит, теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул.

— И патронташ?

Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерил ощущения сына с точки зрения взрослого человека. А еще можно спорить, чья точка зрения в таких случаях разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к соседям. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Лишь через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышил зелеными нитками верблюда.

У могилы он стоял долго. Лицо его было задумчиво.

Вообще, можно только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но это был уже не тот Ленка, что прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленка испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому, что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, впервые в жизни Ленка ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленка просто не в состоянии понять, что такое — умер. А временами я думал, что только он один по-настоящему понимает это.

Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жалеем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги.

Ленка сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он был очень хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя недостает?

Создавалось впечатление — по крайней мере, у меня — что Ленка таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый день Ленка приносил деду подарок — то пластмассового солдатика, то рисунок, то вышивку, то пластилинового космонавта.

На другой день, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда он вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой оградке, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька разглядывал фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он обернулся сам, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер? Я буду таким, как он. Буду большой, заработаю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел, а в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь шла своим ходом.

Тульская винтовка висела на месте.

Патронташ — тоже.

## ВЕТОЧКА

Я люблю видеть сны, такие, чтобы, проснувшись, закинуть руки за голову и долго вспоминать увиденное.

Только редко я вижу хорошие сны. Мама Надя объясняет это моей привычкой спать на левом боку. Дескать, надавишь на сердце, сожмешь его, тяжело ему биться, и сны от этого беспокойные.

Ленька спит и на левом боку, и на правом, и на спине, и на животе, а сны видит замечательные.

Приснилась ему, например, пальма. Будто жили мы в горячей Африке, воткнули в песок веточку, стали ее поливать, и выросла пальма, а на ней мартышки сидят, улыбаются.

— Мартышки тоже из веточки выросли, — объяснил Ленька. — Прямо как яблоки.

Посмеялись мы и забыли про этот сон.

Но теперь, когда Ленька садился рисовать, на листке бумаги одна за другой появлялись пальмы. Были они длинные и разноцветные. Мартышки были круглые и тоже разноцветные.

Через несколько дней Ленька еще раз увидел во сне пальмы. Испуганно и удивленно рассказывал он:

— Вы подумайте, пальмы росли в снегу! В холодном снегу! Мартышек, конечно, не было. Ни одной мартышечки. А пальмы были.

Кто его знает, может, Ленька и выдумал этот сон, выдумал и — поверил.

Вечером он ушел кататься на лыжах. Возвращался он всегда с шумом: хлопала дверь, раздавался стук упавших лыж, звенел радостный голос:

— Есть хочу!

А тут Ленька вошел тихо, и сам он был тихий. В руках он держал черную от угольной пыли палочку с засохшими листьями.

— Зачем ты принес эту грязь? — спросил я.

— Что ты... — прошептал Ленька. — Это веточка. — В серых

глазах его было изумление. — Это, конечно, не пальма, но она вырастет... Вот увидишь, у нее будут листья. Зеленые такие листочки.

— Сейчас зима, — ответил я. — Разве зимой растут листья? — И, чтобы не огорчать сына, добавил весело: — Вот когда мы будем жить в Африке или Анапе, тогда другое дело.

Ленька с сожалением покачал головой и, словно опасаясь, что я отберу у него веточку, стал снимать пальто, не выпуская ее из рук.

Он налил в бутылку из-под кефира воды и всунул туда веточку. Вода сразу стала темноватой, будто в нее капнули чернил.

Ленька, видимо, почувствовал мое неверие, сказал:

— Ну и что? Пусть не вырастет. Здесь ей тепло. А в снегу холодно. Пусть хоть согреется. — Он переменял воду, поставил бутылку на стол и спросил: — Чья же она?

А это была ветка шиповника: на ней со всех сторон торчали острые шипики-коготки.

— Колются, колются! — радостно кричал Ленька, трогая их пальцами. — Нет, нет, они не дадут ее в обиду! — И поглядывал на меня.

Сухие твердые листья пришлось оторвать: они отпадали при первом прикосновении.

Мама Надя ничего не заметила, когда пришла домой, и я сказал:

— Посмотри. Он уверен, что на этой палочке вырастут листья. Вот сейчас, зимой.

— Нет, — ответила мама Надя, — сначала появятся почки.

— А потом мартышки, — насмешливо добавил я.

Злая пурга шуршала по окну снежной крупой.

— Ты молодец, — сказала мама Надя Леньке. — Молодец, что пожалел веточку. Поставь ее на подоконник к батарее. Там тепло и светло.

Мне было неловко перед ними, хотя я действительно не верил, что сухая веточка-палочка зазеленеет, да еще зимой.

А друзья мои верили. Они каждый день меняли воду. Утром, едва проснувшись, Ленька бросался к окну.

Когда их не было в комнате, я внимательно разглядывал веточку и думал: «Эх, друзья, напрасно стараетесь...»

Как-то утром Ленька не бросился к подоконнику.

В этот день он не переменял воду в бутылке.

— Глупая ветка! — с отчаянием воскликнул Ленька. — Надо ее выбросить!

И даже мама Надя промолчала.

Никто из нас не решался выбросить веточку.

А в окно стучалась пурга.

Приснился мне замечательный сон: будто бы наша веточка зазеленела. Проснувшись, я долго лежал, закинув руки за голову.

Ленька, как и я, спал на левом боку. Лицо у него было счастливое:

Он открыл глаза и — бросился к подоконнику.

— Спасибо, веточка... — услышал я.

Ленька осторожно взял бутылку двумя руками и поднес ко мне.

Почки на веточке набухли, лопну́ли, в них виднелось что-то очень светло-зеленое.

— Вот, — устало сказал Ленька. — Захотел бы — так и мар-тышки бы выросли. Девять штук.

За окном жалобно повизгивала пурга.

1956—1960

## НЮРКА-РАЗБОЙНИЦА

Однажды Нюрка ни с того ни с сего заявила на вечере в клубе, когда гармонист отложил свой инструмент, чтобы покурить, а танцоры присели отдохнуть:

— Я бы за любого вышла, только бы хороший парень был.

Красотой она не отличалась, было в деревне много девчат куда ее попривлекнее, но опять же — девушка она работящая, добрая, фигурой ладная.

И все-таки слова ее, сказанные громко и тоскливо, остались без ответа. Пошутили и — забыли. Получилось, что будто и сама Нюрка в шутку высказалась.

Через несколько дней явился к ней киномеханик Петюня. До него стороной доползли слухи о Нюркиной готовности выйти замуж и будто бы без особого разбора. Петюню привлекло именно последнее обстоятельство: свою руку и сердце он по несколько раз предлагал во всех деревнях, где бывал с кинопередвижкой, но еще ни одна девушка и даже вдова не ответила согласием.

Причина этого грустного и обидного для Петюни факта крылась вовсе не в том, что он ростом был с годовалого теленка, и не в том, что самой заметной частью его внешности были тонкие, почти прозрачные уши.

Девушек отпугивала его способность круглые сутки пребывать в состоянии, которое они определяли точной и выразительной фразой: «Через губу переплюнуть не может».

Нюрка его даже в избу не пустила, закричала с крыльца:

— Я как сказывала? За хорошего, говорю, выду! А ты? По колено в водке живешь! Иди отсюда!

Петюня ничего не понял из этой возмущенной скороговорки, потому что пребывал в своем обычном состоянии. Однако он уразумел, что очередная невеста гонит его прочь. Посему Петюня обругал ее не очень приличными словами и тут же получил под глаз.

Сразу протрезвев, он изрек:

— Разбойница ты, а не человек... — Он отошел на несколько шагов, обернулся и добавил: — Дура ты... такого парня... эх!

Удивительно, что он не только рассказывал всем о причине появления на своей физиономии синяка, но и при каждом удобном случае отзывался о Нюрке с уважением, употребляя слово «резонно».

Но прозвище Разбойница пристало к Нюрке накрепко, да и сама она, видимо, старалась его оправдать.

Работала она свинаркой, своих подопечных называла тютюлечками, а породистого хряка, купленного в соседнем районе, без всякой задней мысли окрестила Шефом.

Председатель колхоза Добродеев, помнится, уличил Нюрку в политической ошибке и дал указание переименовать хряка в Кавалера.

Но свинарки, благозвучия ради, продолжали именовать деятельность Кавалера не иначе, как шефской помощью.

Сущим несчастьем для председателя было то, что Нюрка читала газеты и о самых интересных заметках на колхозные темы рассказывала всей деревне.

Про плохое, упоминавшееся в печати, она говорила: «Как у нашего Добродеева», а про хорошее: «Ну, при нашем Добродееве этому не бывать».

Председатель не без оснований полагал, что его авторитет подрывает главным образом Нюрка.

Ссорились они на каждом шагу.

К примеру, нельзя сказать, что Добродеев был против животноводства, но любил он помечтать о чем-нибудь более грандиозном и красивом, чем строительство кормокухни или вывозка навоза.

Однажды председатель отбыл в районный центр, где должен был купить резиновые сапоги для свинарок. Вернулся он без сапог, но в белых фетровых валенках.

— Как с сапогами? — уже на крике спросила Нюрка.

Добродеев подумал и ответил:

— Другие дела были. Вот!

И стены правления он собственноручно оклеил красочными плакатами. Они призывали: «Лучшие сорта яблонь и груш — в колхозные сады!», «Выращивайте рыбу в колхозных прудах и водоемах!», «Лучшие сорта косточковых культур — в колхозные сады!»

Председатель прочитал призывы вслух, а Нюрка сказала тихо:

— С тобой мы скоро косточки протянем. У нас на ферме навоза...

— Сознательности у тебя ни на вот! — И Добродеев показал розовый кончик своего толстого мизинца. — Ты смотри перспективно.

— Это как?

Вторично выговорить трудное слово он не решился и ответил:  
— А так. Вперед, в будущую даль.

— Мы, значит, на ферме под ноги смотри, а ты — в будущую даль? — Нюрка сощурила и без того маленькие глаза, тяжело задышала. — Да в такой грязи не то что свинья, а и человек не выживет!

Разгневанный, Добродеев несколько суток не выделял для вывозки навоза с фермы ни одной единицы гужевого транспорта, а проще говоря, ни одной кобылы.

Когда он прослышал, что Нюрка всенародно обозвала его шефом, то прикатил на ферму в расписной кошке, в которую была запряжена лучшая лошадь — Мазонка.

Он вышагивал по двору осторожно, и даже недавно выпавший снег по сравнению с его новыми валенками казался сероватым.

Добродеев шествовал не глядя по сторонам. Из дверей фермы выскочила Нюрка, разрежала воздух свистом, обхватила перепуганного председателя, поднатужилась и втокнула в сви-нарник.

Звякнул тяжелый засов.

Утонув валенками в жидком месиве, председатель на некоторое время лишился дара речи, а когда этот дар к нему вернулся, до девушек долетели такие слова, что Нюрка прикрикнула:

— Милицию позову! Она тебе!

Смех смехом, а свинарки на всякий случай разбежались кто куда. Нюрка же выпрягла Мазонку из расписной кошке и запрягла в сани, на которых стоял короб.

Дверь она не отворяла до тех пор, пока Добродеев не умолк.

Валенки его имели жалкий вид.

Нюрка стояла перед ним с вилами в руках.

— Погодь, Разбойница, — сквозь зубы процедил он, — ты у меня...

— Не у тебя я! — перебила Нюрка. — У колхоза я. У меня и родных-то никого нету. Один колхоз остался... В другой раз я тебя всего в навозе вываляю!

С этого случая отношения между нею и председателем, как говорится, обострились до предела.

На собрании однажды объявляют:

— Слово имеет товарищ Добродеев.

А Нюрка из зала кричит:

— Нету у нас такого! Худодеев есть!

После собрания он зашел к Нюрке.

Она приготовилась стирать, через плечо взглянула на незнамого гостя и склонилась над корытом.

— Присяду если? — вроде бы даже ласково спросил Добродеев, опустился на лавку, расстегнул полушубок, выпустив живот на колени. — Замуж бы тебе. Как ты на это смотришь?..

Но женихов за тобой не видно. А изба у тебя кособокая. Хозяин ей нужен. Упадет изба скоро.

— Хорошо, если бы на тебя! — отрезала Нюрка.

— Напорешься ты когда-нибудь языком на гвоздь, — озабоченно и сочувственно проговорил Добродеев. — Замуж у тебя, повторяю, не получается. И не получится. Характер у тебя поганный, разбойничий. Боятся его парни. Шутка сказать: самого председателя честишь. Самого председателя! — с неподдельным ужасом повторил он. — Даю совет: угомонись.

— Петюня за меня сватался! — гордо бросила Нюрка.

— Не жених это, — Добродеев хмыкнул, — а жмых!

— Жмых — тоже дело полезное.

— Угомонись или... — Добродеев помолчал и твердо закончил: — Или до свиданья. Понимаешь?

— Что-о? — Нюрка встала перед ним, уперев руки в бока, выпятив грудь. — К чему клонишь?

Он поднялся, оглянулся на дверь и прошептал:

— Уезжай-ко. В город, к примеру. Паспорт выдам. Отпущу.

Спас Добродеева рост: даже подпрыгнув, Нюрка не достала председателевой щеки и ударила его в живот. Разреветшись от обиды, она вытолкала гостя из избы, бежала по улице следом и кричала:

— Я те выдам! Я те отпущу! Я те уеду!

Откуда ни возьмись, появился Петюня, не разобрал с пьяных глаз, в чем дело, свалил и без того перепуганного Добродеева в снег.

Но если председатель вылез из сугроба сам, то вытащить на дорогу Петюню Нюрке стоило большого труда. Пока она дотолкала его до избы, вспотела в своем легком ситцевом платье.

Дома Нюрка напоила парня горячим чаем. Петюня виновато молчал и лишь изредка спрашивал:

— Что будет? Кому попадет?

Нюрка сидела рядом, разгоряченная, взбудораженная. От близости к ней Петюня расслабел, как бы невзначай коснулся ее плеча и как бы между прочим спросил:

— Хорошо бы нам... а?

— Чего — а?

— Ну, это... я ведь на окладе... с профессией... на совещании культработников был...

И неожиданно для самого себя он обнял Нюрку, и она, не знаящая ласк, вдруг притихла.

Петюня до того испугался собственной смелости, что не шевелился и молчал.

По мере того как он трезвел, Нюрка, наоборот, все ниже склонялась к его плечу, чувствуя, что голова идет кругом.

— О чем ты давеча говорил? — спросила она.

— Про то... про это...

— Пьяница ты, — придя в себя, сказала Нюрка и отодвинулась.

— Какая я пьяница! — взмолился Петюня. — Да разве так пьют? С горя я употребляю... А на свадьбу знаешь кого позовем? Начальника райотдела кинофикации. Это раз. Из отдела культуры. Это два. Киноартистов можно позвать. Они всегда с удовольствием.

— Не знаю, не знаю, не знаю, — радостно шептала Нюрка.

Тут прибежали девчата и набросились на киномеханика: в клубе полно народу, а он...

И вместо обычных ругательств они услышали:

— Извиняюсь, простите. — Петюня помолчал и добавил: — Резонно.

В этот вечер случилось еще одно чудо: Петюня демонстрировал фильм трезвым. Нюрку он пропустил без билета и посадил рядом с аппаратом.

После сеанса девчата спрашивали:

— Нюрочка, когда в другой раз кино придет?

Утром Добродееву доложили, что Нюрка уехала в районный центр. Председатель отозвался радостно:

— Нарушение трудовой дисциплины, то есть устава сельхозарттели... — но тут же побагровел и дал указание запрягать Мазонку.

Оказалось, что Нюрка уехала именно на этой лошади.

Добродеев скрипнул зубами, велел женщинам выйти и на одном дыхании выбросил все ругательства, какие только знал.

А Нюрка в это время была в райкоме партии. Она заходила в каждый кабинет и кричала, что Худодеев губит колхоз.

Рядом стоял Петюня и, когда она замолкала, чтобы набрать в легкие воздуха, мрачно произносил:

— Резонно.

В тот момент, когда Нюрка рассказывала о жизни колхоза в приемной секретарей, явился сам Добродеев.

Их приняли вместе.

Петюня остался за дверьми и, вытянув шею, прислушивался.

Нюрка кричала. Она не выбирала выражений. Например, в ее рассказе о грязи на ферме слово «навоз» отсутствовало.

Услышав, что в кабинете наступила тишина, Петюня рванул дверь и выкрикнул, закрыв от страха глаза:

— Резонно!

В горле у него мгновенно пересохло, он схватился за графин с водой и долго не мог попасть струей в стакан.

Выйдя из кабинета, Нюрка устало улыбнулась.

Петюня в конце концов наполнил стакан, но отпил прямо из графина.

Добродеев выскочил из кабинета, вылил себе в рот стакан воды, крикнул.

Пока он отвязывал Мазонку и, сев в кошевку, укутывал ноги волчьей полостью, Нюрка и Петюня шептались. Она вдруг рассмеялась — никогда Добродеев не слышал у нее такого ласкового смеха — и сказала:

— Это мы еще посмотрим.

Потом она свистнула так, что Мазонка с места помчалась почти галопом.

Добродеев испуганно поджал ноги и пробормотал:

— Разбойница...

1959

## ФЕНЯ

Женился я, как говорится, без любви. Никакого греха в этом не усматривал. И вообще притворяться не умею — человек я честный и прямой.

Вот как все получилось.

Понравилась мне девушка одна. Было мне под тридцать, давление крови нормальное, физическими недостатками не обладал.

А Феня эта не то чтобы рук к себе протянуть не разрешала, а от взглядов вся краснела и убегала даже.

Чем она на меня воздействовала, непонятно. Девушка как девушка. Ничего особенного. Между нами говоря, я полных люблю, основательных, а она сухошавая, легкая — одной рукой поднять можно.

Глаза, правда, выдающиеся. Огромные они у нее были, непонятные. Иной раз взглянешь в них — и хочется, чтоб кругом тишина была.

Ну ладно, это все лирика-беллетристика. Пришел я к ней однажды выпивши. Не помню, как обнял ее, и более того опьянел. Ну, думаю, сейчас она меня по щекам. Ничего подобного. Слышу:

— Люблю тебя, люблю...

Мне-то не до любви было, о другом думал, но запомнил это. И не случайно, как потом оказалось.

Утром проснулся — жениться ведь надо. Так получается. Человек я честный, понимаю, что к чему.

— Что ж, — говорю, — придется...

— Нет, — отвечает Феня, — не обязательно. Если не любишь...

— Голова садовая, — говорю, — жизни не знаешь.

И до тех пор, пока не заставила меня чего-то там ей о любви сказать, не соглашалась. Мне бы, дураку, сразу смекнуть, что Феня не пара мне, вернее, я ей не пара...

В общем, женились.

Сначала мне это мероприятие даже понравилось. Не жизнь, а сплошное удовольствие.

Правда, пришлось сразу бороться. Она спортом занима-

лась — бегала. По радио даже о ней передавали. Тренировки там разные. Один раз в газете про нее напечатали. Неприятно мне это было. И еще мне не нравилось, что больно много она читала. Как только свободная минутка, так Феня за книжку. Получается, что она умная, а я...

А я высказал ей все прямо: так, мол, и так. Ну, поплакала, конечно. На тренировки ходить перестала. Читать не бросила, но с книжкой на глаза мне не попадалась.

Семейная ситуация мне приелась. Надоела мне Феня-то, Анфиса моя, и знаете чем?

Любовью этой самой.

Глазами на меня вот такими смотрит. Слова против не скажет. Раба божия, да и только. А бог — я. Смешно, конечно, но факт. Думаю, хоть бы раз ты меня по роже отхлестала. Куда там! Дрожала она надо мной.

Верьте не верьте — скучища. Сидишь с приятелями где-нибудь за столиком, они нет-нет да про жен вспомнят, как те их дома встретят, какой скандал образуется. А я завидую. Мне даже поругаться нет никакой возможности. Я-то явлюсь домой, а Феничка моя:

— Пришел, милый!

Ну, я куражиться начал. То одно выкину, то другое. Интересно мне было наблюдать, как она все это терпит. Человек я неглупый, сообразительный, среднее техническое образование, а тут растерялся. Не действуют на нее мои выдумки!

Раз ночевать не пришел, у дружка остался. Домой прибыл только наутро. Обняла меня Феня, Анфиса моя, целует.

— Да ты хоть спроси, где я был!

— Чего спрашивать? Не любя я тебе...

— Конечно, не Люба, — отвечаю, — а Феня.

Таким образом и жили.

В воскресенье хоть волком вой. Проснусь, а на столе уже пирожки. А она ждет, когда мое величество проснется. В желудке у меня пустота, откушу я пирожок, физиономию сморщу и скажу что-нибудь насчет качества приготовления пищи. И уйду. И дверью хлопну.

Вечером обратно приволокусь, а Феня-то, Анфиса моя дорогая, сразу:

— И верно, соды я переложила.

Иногда у меня в сердце прямо вулкан закипал. Осточертела мне эта самая любовь. Знал: все она стерпит, и неинтересно мне было жить с ней. Не со зла я ее обижал, а от скуки.

Сейчас-то я почти все понимаю, а тогда дурак дураком был...

В ноябрьские праздники, помню, вернулся с демонстрации уже под градусами.

— Потерпеть не мог? — Феня спрашивает.

— А тебе что?

Слушайте внимательно, что тут случилось. Стоял я к ней спиной. В голове у меня шумело. И все-таки чувствую, что спи-

ну мне то ли колет, то ли жжет. Оборачиваюсь — глазищи Фенины меня насквозь просматривают. И говорит она:

— Хватит дурака валять. Меня не бережешь — его, — руки себе на живот положила, — побереги.

Что-то внутри у меня дернулось и похолодело.

До Нового года я как мышь тихий был. Только все чаще и чаще я к Фене приглядывался. Голова сама в ее сторону поворачивалась.

Стыдливая раньше Феня была очень. Никогда при мне не раздевалась. За шкаф спрячется и — шмыг прямо в кровать да еще одеяло до подбородка натянет.

А тут вдруг замечаю, что перестала она меня стесняться. Будто я пустое место. Похихикал я на эту тему, а у самого мурашки по сердцу забегали.

Не смотрит она на меня!

Спохватился я. Чувствую, что беда нас ждет, а какая беда, не знаю, не догадываюсь. Знаю только одно: нельзя мне Феню терять.

— Разлюбила, что ли? — спрашиваю.

Не отвечает.

Что делать? С утра до вечера об этом соображаю. И сообразил, так сказать. Решил я вести себя по-старому. Попляшешь ты еще у меня, решил.

Притащился я, помню, ночью. Феня читала. Одной рукой дверь открыла, в другой — книжица.

Вывал я книжицу и — цап-царап, разорвал на две части.

И ведь не вскрикнула Феня-то, Анфиса моя дорогая, не заревела, ничего. Собрала свою книжицу и ушла.

Я, конечно, лег и сразу уснул. Утром просыпаюсь и жду, когда жена подойдет. А самому чего-то страшновато. Не выдержал, заорал:

— Феня!

Окажись она здесь, я бы на колени перед ней грохнулся, прощения бы просил...

А ни ответа ни привета. Я на кухню. Дверь на улицу открыта. Я в роддом — может, туда ушла? Вѣдь вот-вот родить должна... Нет! По всему поселку ее искал. Опозорился с головы до ног. Виданое ли дело: муж жену потерял, жена мужа бросила... Ох и похотали надо мной!

Положение у меня идиотское. Я, дурак, всем рассказал, все меня и спрашивают: где жена? А я знаю?

Спрятал самолюбие подальше, явился в детский сад, где она работала. А она уже расчет взяла.

Крутись не крутись, пришлось в милицию топать. Она, оказывается, Феня-то, выписалась — уехала! Ключ я в потайном месте оставляю, ну она без меня приходила, документы взяла, одежонку кой-какую и...

Вот вам и любовь.

Долго рассказывать, как я мучился. И если бы попалась она мне на глаза, не знаю, чего бы я с ней сделал!

Ну хоть бы слово какое мне сообщила! А то — испарилась. Причем в положении... и это мне особенно было непонятно.

Сначала смешки смешками, а потом люди на меня стали пальцами показывать. За что? Я уж всех христов упрасивал, чтоб одумалась она. Верите ли, иную ночь глаз не сомкну — мысли перебираю, жду.

И вещи свои оставила, будто в физиономию мне их швырнула. Извините за выражение, трусики-лифчики разные как висели на кухне, так и висели, пока я их в чулан не унес.

Ждал, ждал... Да ведь нельзя же так! Куда уехала? Почему уехала?

Обидел я ее, наверно. На сердце у меня тяжело было. Честное слово, вот иной раз вспомню ее и... схвачусь руками за башку свою глупую.

Гэд прополз. Потом еще один. Крутился я, крутился, думал я, думал...

И женился.

А что прикажете? Тошно одному-то. Человек я — не телефон-автомат.

Тут я узнал, почем фунт лиха. И смех и грех. Взяла она, новая-то жена, меня в оборот. Вот уж действительно не дыхни.

А я стал какой-то мягкий, добрый. Терплю.

Деньги ее уважают, не разбегаются. Одеты мы с иголки, как видите. Мебели домой понатащали — вернуться негде. Квартиру я новую получил со всеми удобствами. И как в плену. Ни туда ни сюда. Пробовал однажды вырваться из окружений, а она, супруга-то моя новая, в профком да как там... разговорилась!

Ее Клавой звать. Я ей однажды говорю:

— Феня...

Она меня по щеке. Удачно у нее это получилось — крепко, в цель, с чувством... Я молчок. А что прикажете делать? Клава — тоже человек. И она ни в чем не виновата. Мне надо было соображать. В свое время.

Женщина она в моем вкусе — полная, основательная, приятно посмотреть. Но вот глаза у нее, если можно так выразиться, без взгляда. Глаза-то имеются, а в них-то ничего нет.

Чтобы от скуки спрятаться, начал я в книжки заглядывать. Привык. Вроде бы даже жить легче стало, особенно если книга попадется интересная.

А жена не любит, когда я читаю. Конечно, я ее не виню, но ведь нельзя жить-то так!

Вот на работе меня хвалят: дескать, я сил не жалею и все такое. Правильно, работу я действительно люблю. Я, можно сказать, только на работе и живу. Ну, а после что делать?

И все бы я стерпел, все... Одною я не могу терпеть. Нету мне

спасения от напасти одной. Ведь девять с лишним лет я ее, Фени-то, голоса не слышал.

А ведь голос — это не лицо. Лицо-то можно вспомнить, а голос... Услышать его хочется.

Я, конечно, не жалею: на кого жаловаться-то?

Просто думаю много.

Вот так... в общих чертах, конечно.

1959

## СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

*Алексею Решетову*

— Не пейте с утра возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, наливая в чашку холодного кофе. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал для себя необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему обидно было, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно. — И раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затыжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, в котором он жил. А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир словно уподобились немудреным музыкальным инструментам. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнился звуками, которые воображение старика легко соединяло в мелодии любого содержания — от нежных до тревожных.

Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, покряхтывал самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо шептали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни, будто скрюченные ревматизмом пальцы, в неустанном напряжении держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка — хилое деревянное сооружение. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы вперемишу с подпрыгивающими, рваными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку: она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песнь...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал. Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный враг тот, кого когда-то, считая другом, близким подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то бессонница — тогда он еще не был стариком — и была другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

Конечно же он и не заметил, как из друга она стала врагом. Старик не сдавался ей, но и победить не мог. У них была многолетняя ничья. Ноль-ноль.

Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро кричал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И правда, днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечерами старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять, казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать, — не особенно приятное занятие, когда она не признак молодых неистраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся: и города, и ученики, а потом — города учеников, потом — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными, и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор. И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями.

«Я совсем, совсем старею, — думал старик. — Жалко...»

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее как нечто обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел или не сумел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее воспринимать лишь как вынужденность коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недопомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристрастную оценку пройденных дорог, и — учтя победы и поражения — он еще сделает бросок вперед. И кто знает, может быть, вся его жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

«Ты хитрюга, — говорил он сам себе. — Ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические измышления на тему старости».

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяку, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик воскликнул:

— Ты?! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не падаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она. — Потому что ты знаешь: я побегу за тобой. Как всегда, я...

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый. — Она с сожалением вздохнула и отвернулась. — Ни разу в жизни я не произнесла слова любить в прошедшем времени.

— Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне.

Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты не прав, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Раньше у меня были крепкие ноги, чтобы спешить к тебе...

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит! — жалобно попросил старик, шмыгнув носом. — Не смейся меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь! Так не бывает! — И старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... ни одной я не видел так много, как тебя... — Он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил:

— Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего, нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?»

Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в землю пароходные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки. И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого сокрыты и просто ждут времени, чтобы прорваться.

Но вчера река — впервые — оказалась бессильной. После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике.

У него было такое состояние — то ли он чего-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал бор. Его монотонная, похожая на морской прибой песня напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно, и старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся или задумавшихся птиц, — пришло ему в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремления вверх, в беспредельность, в недостижимость и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — При чем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он. — На птиц! Усталых, неспо-

собных к полету, но ведь — детали когда-то? Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столярные изделия настолько загромождены вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то была далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик переехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставили вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет обо всем, что узнал за всю жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное так, сопутствовало.

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья наведывались куда чаще, чем раньше в городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, веселые; рассаживались кто где и начинали разговоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видно, модели, вырвавшись из круга привычных, не старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказывается, у каждого была в жизни большая любовь, да такая, что...

Эх... были когда-то и мы этими самыми... как их?

У каждого и большая... Ах, какие это были любви! Беззаветные, самоотверженные, добрые, обязательно — нежные, готовые на любую жертву... И если не выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь потому, что есть еще порох в пороховницах!

Эх, какие это были любви...

Старики пели с молодой удалой и отчаянием, разбросав галстуки и пиджаки по всей комнате, стиснув друг друга за плечи... хрустели под ногами запонки... и появились здесь нынешние девушки, они бы погоревали, что родились поздно, что настоящие-то парни — вот они...

Тут старик и придумал историю о своей самой большой любви и о недавней встрече с ней. Сочинял он с такой верой, убежденностью и потребностью, с какой зовут на помощь в трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы рассказ его выглядел наподобие тех, которые он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему.

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка упала на землю. Он, кряхтя, нагнулся за ней, вытер полый пиджака мундштук и закусил его. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты могла не выскакивать замуж сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто более неприятное: ему слишком поверили. И тогда ему стало стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да он и не мог, и — продолжал...

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда годы, а иногда, особенно у женщин, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их сильно любят. Боятся. Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная. А пока мы испытываем, глядишь, она и согнется.

— Здорово ты научилась философствовать, — как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я простила тебе, помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она во много раз была сильнее твоей. Тебе было стыдно, что ты не способен полюбить, как я.

— Неправда, — сказал старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывая, что ты, конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — Она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет, не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось доказательство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение... — Она закусила губу. — Ты и был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом и ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешала тебе никого полюбить так, как я любила тебя...

— Ладно, — одними губами выговорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?.. желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило бы мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще... меня больше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе: бывают же счастливые люди — которые умеют любить. И — как! Мне это счастье выпало один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старый. — Вопиющий дурак.

Никто ему не возразил.

Каждый печально вспоминал о своей самой большой любви, потому что каждый был перед ней хоть немного, да виноват.

И в этот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали бор, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно чего-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, постоял на балкончике и ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь за свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты...

Старик сидел на подоконнике, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но — когда?

Позвольте, позвольте... Жену он любил, конечно, это он точно помнит. Жили, как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет же-

на упрекала его в том, что он плохо ее любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее — горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью...

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникала пустота.

И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел, курил.

Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.

А старик грузно вышел на балкончик, чтобы быть поближе к песне сосен.

...Нет у него к судьбе особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже.

Не в этом дело.

Просто надо выдержать свою судьбу и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы — понедолгу, пробуя голос. Ночная песнь бора сменилась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил всю жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало легче. — Я был счастлив своим трудом... — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

...Старый дом словно отдохнул и начал повизгивать, поскрипывать, покряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе и раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил он. И выпил еще глоток.

...Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда казалось, девчонка с острыми локотками, в застиранном платице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, за все была благодарна, богатая своею любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла это повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более, без укоров совести.

И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда, как далекое-далекое эхо неизвестного голоса. Забытая, она владела им. Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем... Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любил ее, а это она уводила его, его самая первая, самая большая и последняя любовь. Не разрешила она ему никогда полюбить так, как она его любила.

И все-таки она — была.

...Старик вернулся в комнату, и остатки запонок проскрипели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять куда.

А он торопился доказать ей, что не зря они встречались. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему действительно надо было торопиться...

1964

## ДУША НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ

— На меня слово женщина не действует, — задумчиво проговорил Егор, то ли прислушиваясь к вою поэмки за окошком, то ли ожидая, что Варвара удивленно вскинет густые, почти лохматые брови. — Без выражения оно, это слово, вроде бы даже и не русское. Вот другое слово есть про то же самое — баба. Оно хорошее. Его по-разному сказать можно. И выругаться, и приласкать. Так вот, не баба ты, Варвара. Слышь?

— Второй уж час тебя слушаю, — с насмешливой покорностью отозвалась она и, шумно зевнув, повернулась к нему спиной.

— А и ладно, — спокойно сказал Егор. — Тебя со всех сторон разглядывать приятно. Хоть так, хоть этак.

Сидели они, смотрели в окошко, за которым ничего не было видно.

— Кто же я по-твоему? — не выдержала Варвара. — Кто, если не баба?

— Черт тебя знает, по правде говоря. Я вот питаю к тебе... Ну, чувства там всякие. По душе ты мне. Впритык. И все ж таки не могу я к тебе как к бабе относиться. Впритык-то впритык, душа в душу, а поскрипывают... наши отношения.

— От тебя все зависит, — словно мимоходом посоветовала Варвара.

— Если бы от меня. Ничего от меня как раз и не зависит.

— От меня, что ли? — И даже по ее широкой спине Егор понял, что Варвара усмехнулась горько.

— Смешно, конечно, — согласился он, — но... это-то ерунда. А вот муторно мне.

Она резко повернулась к нему и сказала, отчетливо выговаривая каждое слово, как глухому:

— Домой иди. К детям. К жене. Нечего тебе здесь делать.

А Егор, помолчав, продолжал свое:

— Вроде бы ты нормальная. Все в тебе женское, то есть вроде бы и бабье. А... и еще в тебе что-то есть. Люблю я, к примеру, с тобой толковать. И не как с бабами треплются, а...

— Иди, Егор, домой. Ждут ведь тебя. Анна волнуется, сердится, нервничает. — И опять даже по спине ее было заметно, что Варвара насмешничает, хотя и не очень весело.

— Волнуется, сердится, нервничает, — не то уныло, не то поддерживая насмешку, согласился Егор. — А ты знаешь, как я на ней женился? Как многие, верно, женятся. Морально. И мучаюсь я из-за того, что кто-то эту самую мораль выдумал. То есть подошло время, скажем прямо, мужчиной стать. Культурно выражаясь, сил во мне лишка было. Кровь кипятком кипела. Мне бы погулять на полной скорости, успокоиться... Да разве можно? Да разве положено? Я ведь с детства моральный человек. Мне, брат ты мой, только законный брак подавай, по всем правилам. Ну, а раз такое, я уж на весь их женский пол с этой точки зрения смотрю. Шелестит мимо платянце, а я думаю: не моя ли будущая супруга топает? Тут Анна встретила. А могла бы и другая. То есть тогда-то мне казалось, — уже серьезно говорил Егор, — что я чувство любви испытываю. А на самом деле — потребность плюс мораль минус умная голова, получился законный брак... Одиннадцать годов, как под пилой деревья, повалились. Только дерево-то с шумом падает, а мои-то семейные годы мягко так шлепались. Плашмя.

В черных навывкате глазах Варвары был тоскливый и напряженный вопрос: «Мне-то зачем это рассказываешь?»

А Егор уже не ей рассказывал, а будто самому себе, и смот-

рел уже не на нее, а в окошко, за которым ничего не было видно.

— Должен я домой идти. Это мораль. Законная мораль. А то, что душа моя, как тракторная гусеница о камень лязгает, это никого не интересует. Ни жену, ни тебя, ни мораль, никого. А ведь у меня горе. Важное горе. Пить если бы я начал, или хулиганить, или спутался с какой-нибудь, тут бы меня ублажать стали, перевоспитывать то есть. Младшего бы сразу в детясли без очереди, меня бы в дом отдыха или санаторий. Льготы, словом. Чтоб я опять моральным стал. А когда душа не на месте, никого это...

— Чего ж тебе от меня надо? — резко повернувшись к нему, уже сердито спросила Варвара.

— Если бы знал... Тоска меня обгладывает. Поедом ест. Хоть бы Анна меня понимала! Нет. Другого она человек полета. Я ведь не жалуюсь, что она плохая. Для меня она не подходит. И я для нее не тот.

— А для кого ты — тот? И которая для тебя — та?

— Человека мне надо бы встретить.

Варвара при всей ее полноте легко вскочила. Глаза у нее печальные были, а сказала так:

— Хитришь ты сам с собой. И со мной хитришь. И с Анной хитришь. И ничем я тебе помочь не могу. В таком случае. Баба я всего-навсего. Понятно?

Егор удивленно вскинул рыжие брови, проговорил глухо:

— Ты всерьез? Не ожидал я от тебя такой точки зрения.

— Я и сама не ожидала. Вырвалось. Так меня тоже понять надо. И у меня, между прочим, душа есть. Да еще в теле.

— Да еще в каком, — мрачно добавил Егор. — Это, представь себе, я понимаю. Только в уме не держал, что ты... — Он недоуменно пожал плечами.

— Судить легко, — с обидой и чуть виновато сказала Варвара. — Я бы, может, и рада другой стать, да поздно.

— Другим стать никогда не поздно. Даже в лучшую сторону повернуть можно.

Мимо окошка кто-то проскрипел снегом, хлопнула дверь. Егор через плечо спросил:

— Ты зачем?

Анна неслышно шагнула в комнату, постояла, заговорила, словно успокаивая:

— Ребятишек я спать уложила. Все по дому сделала. Устала. Сажу на кухне. Вдруг вспомнила: замужняя ведь я. Честное слово. Муж ведь у меня законный имеется. Чего это я одна сажу? Пусть те одни сидят, у которых своих мужей нету. — И только тут посмотрела на Варвару.

Варвара спокойно, лениво даже, без усилий выдержала ее взгляд, ответила:

— Я его не держу.

— Выгони, — посоветовала Анна. — Пристыди.

— Пробовала.

— А ты еще раз.

— Мне-то что? Пусть сидит.

— Конечно, конечно, — вроде бы согласилась Анна. — Сидеть-то пусть сидит. Только бы...

— Могу я, — громко перебил Егор, — имею я право хоть вечером свободным быть?

— А я?

— А кто тебя держит?

— Ребятишки. Хозяйство. Совесть, — деловито перечислила Анна.

Егор накинул на плечи полушубок, за шапку взялся, но вернулся в комнату и сквозь зубы заговорил:

— Все у тебя просто. Я да муж, хозяйство да ребятишки. А у меня еще другие вопросы есть. Космос, к примеру. Меня вот интересует, какое я место в космосе занимаю? Для чего?

Анна кивнула согласно: дескать, это я понимаю, — и спросила:

— А к ней зачешь ходишь? Если у нее совести маловато...

— Идите вы оба. — Варвара поморщилась. — Надоели.

— А ты... — Егор повернулся к ней, и его красноватое лицо сразу побагровело. — Ты со своей точки зрения побыстрее спрыгивай.

И ушел.

Анна радостно улыбнулась Варваре и — следом за ним.

Он шагал в накинутах на плечи полушубке, встречные понимающе ухмылялись: загулял мужик в будний день, не мог субботы дожидаться. Анна отвечала улыбкой: не беспокойтесь, хорошо гуляем, вместе, как видите.

Тяжело ей было за ним поспевать: навздевала на себя сколько налезло — знала, куда шла, нельзя было лицом в грязь.

У самого дома Егор остановился, словно раздумывая, войти или не войти, повернулся в сторону поселка, зашептал громко:

— Я ребятишек наших не меньше, чем ты, люблю. Только, видно, другая у меня любовь. Ты чего хочешь? Чтоб они такими, как мы с тобой, выросли? Нет, брат ты мой! — почти крикнул он. — Не пойдет! Не выйдет! Хочу, чтоб они лучше нас были! Мы в глуши живем, до железной дороги от нас сто шестьдесят километров автобусом! Да еще лошадьми шестьдесят! В нынешнее время до Луны вон добраться легче, чем до нас!

— На меня-то чего кричишь? — поинтересовалась Анна.

— Тебе хорошо потому что. Твои мечты все — вот они! Дом у тебя собственный. Огород. Корова, будь она проклята. Свинья, чтоб ей пусто было, прорве ненасытной. Радиоприемник. Обуты, одеты!

— Дом у нас богатый, — весело согласилась Анна.

— А я бы его спалил! Что мне в нем?

— Ребятишки с молоком завсегда. Вот что.

— А если я сейчас головой в прорубь?!

— Ну и дурак... — Анна растерянно и жалко улыбнулась, чтобы не брызнули слезы, прикрыла лицо рукой, будто от ветра.

— Му-уторно мне, — протяжно пожаловался Егор, закинув голову к небу. — Мутит меня, понимаешь?

— Нет, — призналась Анна.

— Ну поверь тогда, раз не понимаешь. Поверить ты можешь? Можешь ты поверить?

Анна отрицательно покачала головой и заплакала тихо, без голоса, только слезами.

— Почему не можешь поверить?

— Да не верю потому что, и... все.

— Ладно тогда. Я скоро приду.

«Хоть бы в чайную!» — подумала Анна.

А он просто так шел, никуда. В чайную бы — это хорошо. Да не поможет. И пробовать даже перестал давненько: хоть литрами зелье в себя вливай, голова все о том же соображает, а на душе еще муторнее. С Варварой бы — как с бабой, да тоже не поможет. А — почему?

Очнулся — стоит он у ее дома.

Коленом открыл дверь, прошел в сени, другую дверь на себя рванул, шагнул через порог и сразу услышал:

— Пожалей меня. Не мучь. Уходи.

Егор мотнул головой — шапка слетела, вперед ступил, пошевелил плечами — полушубок на пол.

— Уходи... — Варвара потянулась к нему, но Егор как бы отмахнулся:

— Не гони. Сам уйду, когда надо будет. И сядь. И сиди. И отвернись. Чтоб я глаз твоих не видел. Больно много в них... всякого.

— Тогда зачем пришел?

— А некуда мне больше... Люблю я тебя, наверно. Очень, к тому же. Да разве в этом дело?

— Человек ведь я. — Варвара вся к нему тянулась, но он стоял так недвижимо, что она только пальцами рук шевелила в воздухе, да и то боязно. — Сил моих нету.

— Жару-то в тебе сколько, — сказал Егор. — Пахнешь вся огнем-то своим. Да нельзя... Еще муторней станет. Потом-то.

Варвара, покачнувшись, тяжело отошла к окошку, спросила тоже тяжело:

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Не знаю. Раньше вроде бы знал. Можно, конечно, твоей точкой зрения воспользоваться. Но все равно душа на свое место не вернется. Другое ей что-то требуется.

— Тогда забудь про эту дверь! — шепотом крикнула Варвара. — Уходи! К жене своей!

— Жены моей не задевай, — строго посоветовал Егор. — Ну как ты понять не способна...

Зарыдала Варвара в голос. Всей своей красотой упала на кровать, забилась.

И не слышала она, как подошел Егор, долго стоял над ней, ну ровно над могилой, смотрел на голубенькие жилки на белых ногах, долго смотрел — голова заболела.

— Мне, может, тебя сильнее охота, чем тебе меня, — сухим голосом выговорил он. — Да тем пустее потом-то будет. Знаю. Тут мне все известно.

— Выворотень ты, выворотень! — сквозь рыдания крикнула Варвара. — Сам упал и мне жизнь придавил!

Изо всех сил хлопнул Егор дверь, чтобы не унести в ушах плач.

Шагал он по улице, держа в руках шапку и полушубок. В волосы набился снег, а в распахнутом вороте и на лице таял. Оделся Егор на ходу, еще больше замерз — там, внутри себя... Может, и выворотень он. Только — что его корни выворотило? Какая сила его опрокинула?

Мимо своего дома прошел Егор, не заметил. Лишь где-то уже за поселком, в тьме кромешной, оступившись по колено в снег, опамятовался. Обратно он почти бежал, будто вспомнил о чем-то, торопился рассказать об этом Анне; перешагнул порог, заговорил:

— Уедем отсюда. Дом и живность продадим. В южных местах заживем. Ребятишек виноградом питать будем. Яблоками там разными.

Анна спросила:

— Разлюбил меня, что ли?

Медленно загасла лампочка под потолком — это выключили движок.

— Как же так? — снова спросила Анна, хотя Егор и на тот вопрос еще не ответил. — Все хорошо было и вдруг... — Она машинально разжигала керосиновую лампу. — Моложе она меня, конечно. Это я понимаю. Соком налилась, как помидор в вилке. В фигурах вся. Но ведь мы с тобой сколь годов...

— Выслушай меня по-доброму, — все еще не садясь, попросил Егор. — Только оба уха раскрой. Закрутилась ты в этом... домашнем быту. А не это счастьем называется. Не дом, свинья, корова, муж, ребятишки... Земля-то планета! Она в мировом пространстве вертится! Круглая она! А для тебя она плоская. И на месте стоит, не движется. На ней дом твой собственный. Твоя свинья пяточком ее роет. А вот доживем мы, предположим, до коммунизма. И дома у всех будут бесплатные. И коровы автоматические, свиньи — тоже автоматы. Что тогда делать-то будешь? Чем заниматься-то будешь, спрашиваю?

— Сказки твои слушать, — сощурился и без того узкие глаза, ответила Анна и резко оттянула бусы на груди, будто душили они. — А этой я тебя не отдам. Уж и не знаю, что сделаю, а...

— Да не о том я, не о том!

— А я о том. Ты с одного бока жизнь разглядываешь... — И не сдержалась Анна, зарыдала. — Корова ему не нравится! Земля у него в мировом пространстве вертится! Свинья ему по-

перек горла стала! Да при таких, как ты, таким, как я, одно только и осталось: ждать, когда коровы автоматическими будут! А пока мы сами заместо автоматов-то! Белье-то после бани чистое просишь! А постирал кто? Есть после работы тебе требуется? А кто сготовил? Вот когда в чистое переоденешься, у теплой печки сядешь, вот тогда тебя в космос и тянет!

Егор разделся, сел. Думал, выревелась жена, выкричалась. А она снова начала:

— Нас, баб, уважать надо. И жалеть. Мы на сколь лет раньше вашего снашиваемся? Ты сначала дома коммунизм построй, а потом — в мировом пространстве. Тебе за твой труд хоть доска Почета, а мне за мой — что? Доведут нашего брата, а потом хвост трубой. В космос! И старые мы, и характер у нас не тот. А я тебя спрашиваю, — сухо, без слез уже выкрикнула Анна, — ты меня молодую взял, получше была, чем эта, нынешняя. Где же все растерялось? Ребятишек я кому родила? Морщины вот эти кто мне сделал? Кому все отдала? У меня в глазах темнится, до того я несчастная! А ты гуляешь себе, вопросы выдумываешь... — И даже голос у нее потерялся, замолчала.

— Не враг я тебе, Анна, — сказал Егор и опустил голову: до того в ней тяжело было. — Беда со мной. У нас с тобой беда.

— Выворотень ты, — хрипло сказала Анна. — Выворотень, и никто больше.

Равнодушно тикали ходики. И давно в доме других часов несколько штук, а эти выбрасывать жалко — все одиннадцать лет семейной жизни оттикали они.

— И ты права, — сказал Егор, вставая. — И я прав. Вот и надо разобраться... Я с ребятишками лягу.

— Я знаю, — сказала Анна.

...Не помнит уж Егор, когда разучился легко засыпать. Раньше-то голова в лежачем положении о всяких пустяках думала, а сейчас только прикоснется к подушке, и — хоть вскакивай тут же да бегай: до того острые мысли в нее залезают. Или тяжелые — так придавят, что охота голову руками потрясти, чтобы вытрясти...

Каждую ночь вспоминает Егор свою жизнь и каждый раз удивляется. И каждый раз не понимает, что такое с ним стряслось? Чего он потерял?

А когда-то характер у него веселый был. И в лес-то работать из-за этого характера пошел: ценят ведь здесь веселых людей, уважают. И еще нравилось Егору не гладко жить, а с закавыкой какой-нибудь, чтоб трудности были и все такое. А уж где закавык больше, как не в лесу?

Поначалу, когда они с Анной мужем и женой называться стали, все с места на место перебирались, а потом ребятишки один за другим, четверо набралось, — стоп. Да и устали кочевать-то. Приехали вот в этот леспромхоз. Лет пять в бараке жили. Потом построил Егор себе дом. Хозяйством обзавелся. Трак-

тористом знаменитым стал. И в газетах о нем печатали. Один раз много напечатали. «Секрет успеха» называлось. И портрет был.

И подумал Егор, что слишком уж он на других людей — обыкновенных — похож, исправлять надо эту неувязку. И в столовой, к примеру, он теперь сидел, как в призидиуме, а в призидиуме — так уж вовсе не шевелился. Даже голос собственный ему разонравился, пришлось над ним поработать.

Ну, выпивал. А чего ему не выпить? Плясал ведь — не дрался. Пел! Забудет, что он выдающийся, гитару вниз струнами перевернет и такое отчебучит, что жена сама еще ему в стакан подольет. И умный был. За словом в карман не лез и зря словами не бросался. Уж скажет, так скажет.

Раз в месяц книжку брал в библиотеке на современную тему, брал и технические, и политические, но эти для вида. Сравнивал себя с теми, про кого книжки пишут. Получалось, что он не хуже всех, а иных и лучше. Об чем было беспокоиться?

Дважды в область на курсы ездил, а пленумы, совещания разные, активы и — не сосчитать.

Ну и для полноты характеристики: кой-какие грешки случались, но так — мимоходом, больше из интереса, чем по потребности.

А главное — душа на своем месте была. Ничего особенно ее не волновало. Жизнь простой выглядела, как мотор трактора, с закрытыми глазами мог ее наладить, если в ней что-нибудь поскрипывать начинало.

Да и привык ко всему. Кому глушь-глухомань, а ему нравилось. Тем более телевизор обещают. Чего еще надо? Если в Москве знаменит, то не каждый, конечно, тебя в лицо знает, а в поселке — каждый пацан даже.

Рыбы в озерах — ведром черпай, если лень червяка на удочку насаживать. В лесу птицы, зверья — только знай, с которого конца ружье стреляет.

Да и вообще — кому что. Кто в академиках, а кто и в лесу должен работать. Тем и другим за труд — почет.

Главное, чтоб душа на своем месте...

А тут — сдвинулась. Далеко куда-то. Кто ее вспугнул? Что? Когда?

Одно ясно: надолго это...

Если не навсегда...

Вот незадача...

...Егор в темноте прошел на кухню, взял из кармана полшубка пачку, зубами вытащил папироску, на столе нащупал коробок, послушал тиканье ходиков, чиркнул спичкой, прикурил и — увидел Анну.

Она по-прежнему сидела у стола, неподвижная, будто спала с открытыми глазами, только сняла бусы и перебирала их.

— Чего ты? — испуганно, вздрогнув от жалости, спросил Егор, не ощутив, что спичка сгорела до пальцев, погасла.

— Сижу вот, — тихо из темноты ответила Анна. — Сижу, об себе думаю.

— Ложись давай.

— Молчи-ко лучше. Раз сказать нечего.

— Так ведь...

— Не впервой ведь мне. Привычная я к этому.

— Не уйду я от тебя, — еле выговорил Егор. — И думать об этом брось. Уедем отсюда. В новом-то месте, может, все заново.

— Вот сидела я тут, — не слушая, видимо, его, сказала Анна, — и знаешь, об чем переживала? Об тебе. Мне бы об себе, а я... Заездит она тебя. И любить не будет. И обидно мне за тебя. Расстроилась я вся. — Она замолчала, постукивая бусами.

У Егора замерзли ноги, он грел их одну другой; еще сходил за папироской, но когда прикуривал, на жену не взглянул — боялся, что опять жалость за сердце схватит.

А вместо жалости — стыд кольнул.

Две-три затяжки, и во рту стало горько; раздавил папироску, пальцы обжег.

— Может, не тянуть? — будто саму себя спросила Анна. — Может, выдержу? Вдруг и не так уж страшно? Выживают ведь другие.

— Ерунду говоришь.

— Нет, не ерунду. Раз не кричишь.

— Все к тому свела, что меня будто к другой потянуло, будто бы меня больше ничего не интересует. Неужели все к этому свела? Только к этому?

— Ага. — Анна встала. — Думай давай, Егор, да решай. Я мешать не буду. Бессильная я против. Помогать умею, а больше ничего не умею... Я с ребятами лягу. — И неслышно ушла в комнату, оттуда шепнула: — Долго-то не сиди.

Рванулся Егор позвать жену, но не позвал. Встал он, сунул холодные ноги в валенки, вернулся к столу, покатал бусы.

Сел.

...Лет этак несколько назад не сидел бы вот таким методом, в подштанниках ночью на кухне. И не казалась бы ему Варвара особенной какой-то, миловался бы с ней — долго ли дома соврать, что на сверхурочной работе задержался? А сейчас врать — разучился. Даже себе врать — не получается. Лето бы если, сел бы на мотоцикл, газанул бы, проветрился. А еще проще — к Таньке, завмагазином, разбудил бы, ей не привыкать, зеленую «Московскую» или белую «Столичную» в карман и под огурчик... Ничего ему теперь не надо!

И Варвара его не спасет, хоть ноги у нее белые до рези в глазах...

И Анна не спасет...

Сердце, черт с ним, пусть скручивается, а вот душа не на своем месте, и из жизни столовский шницель получается — это хуже.

Егор пошел, прислонился спиной к теплой печке. Долго не

мог согреться. У Варвары в домике всегда жарко. Сама она сюда из южных мест перебралась, а во двор за дровами выходит — платка не накинёт.

...А если все оттого, что голова у Егора пустая? Завелась в ней пара вопросов, и перекачиваются они, как в бочке? И ни ответа на них, ни привета. И опять же, если уж совсем она пустая, голова-то, тогда чего она напрягается? Гудела бы на здоровье, а то сама себе вопросы задает, мучится.

Вот почему один академиком работает, а другой — в лесу? Не в том дело, у кого зарплата больше, а опять же — в голове. Головы-то ведь разные. Почему моя других хуже оказалась?

Приезжал тут один. Работник называется, но научный. Еще схотнул Егор: научный работник — придумают же!

Дрова она колола, наука-то, чтобы согреться, — умора...

Но дрова колоть научить можно, а вот чего научный работник в науке умеет, Егору и не узнать.

Чего ж хохотал?

А приучили.

Передовым называли, значит — он впереди всех. Приятно. Не зря живешь, выходит.

А в душу влезло беспокойство. Нехорошее такое беспокойство, с мутнинкой. Чем же ты лучше других? Написали ведь про тебя в газете, что никакого секрета в твоей работе нет. Весь секрет в том, что ты работу любишь. Да и как иначе-то? Это все равно, что есть, дышать, пить и все такое прочее, без чего не проживешь просто, помрешь... Мало стало для души такой работы. Голова-то во время ее не особенно занята, прямо скажем. Получалось: работа идет сама по себе, а голова сама по себе о другом думает.

— Ты бы лег, Егор, — услышал он тихий, даже вроде бы ласковый голос Анны. — На смену уж скоро.

— Не спится, — виновато отозвался он. — Я отгул выпрошу, у меня их штуки две накопилось.

Спине было жарко, а плечи, ближе к груди, озябли. Егор и повернулся — будто обнял печь.

...Сергея Пустовалов в чайной как-то подсел к Егору и давай орать: мы-де с тобой да мы-де с тобой, уж такие-то мы, да никто нам и в подметки не годится. Куражился парень, а с чего? У Егора же хмель из головы сразу вон: будто на самого себя со стороны внимательно посмотрел... То, что Серега работал, как наотмашь бил, ладно. Красиво, помимо всего прочего, у него получалось. Ну и что? А его за труд с такой силой хвалили, что задурел парень от гордости. Вот его выворотнем и прозвали.

Выворотень... стояло, значит, огромное дерево, краса и сила, надо всеми высилось. А под ним бормотал, предположим, ручеек. Бормотал, бормотал сколько-то лет... Влажная земля стала, рыхлая, еле-еле держатся в ней корни. А ничего — стоит дерево, краса и сила, над всеми высится. Да вдруг как — корнями в воздух. Упало... Живое еще будет лежать, зеленое, а уже мерт-

вое. А ведь ни червоточинки в нем не было. Гнить оно начинает, когда уж повалится.

...Нагрелась грудь, аж сердцу тяжело стало... И Варвару-то он заприметил скорей всего для того, чтобы с ней от головы своей спрятаться. Голове там делать нечего, другие детали трескаются.

Тосковать он о ней будет много. Она — тоже ручеек, тоже свалить может. А свалишься — не встанешь уже.

«Не сердись на меня, — попросил ее Егор, — не сердись, постарайся. Знаю: не любят такие, как ты, ох, не любят, когда их не любят!»

...Сам ты во всем виноват. Позарился на пустяк, а душа большой разбег взяла. Она летать собиралась, а ты ее прыгать заставляешь — с кочки на кочку...

Мимо прошла Анна, запозвякивала рукомойником.

— Спала хоть немного? — спросил Егор.

Волосики в лампочке под потолком покраснели, и она зажглась.

Егор подошел к ходикам и одним движением подтянул гирю до предела.

В голове у него было тяжело и ясно.

— Попроси отгул-то, — сказала Анна.

— Никакого отгула я просить не буду, — ответил Егор, — не заработал еще.

1964

## МАМИНО СЛОВО

Начать, пожалуй, придется с того, что я не поздравил маму с днем рождения, и — как потом оказалось — последним ее днем рождения.

Верно, это — самый горький рассказ из всех, какие я написал и еще напишу, но и самый необходимый, по крайней мере для меня.

В который уж раз заново переживая все, я мучительно ищу и в конце концов нахожу настоящие причины и неумолимый, ясный смысл многих, может быть самых главных, событий моей жизни.

Занятие это подобно оперированию без наркоза, зато в итоге всегда приносит исцеление. Ведь если даже с большим опозданием поймешь, что непоправимо ошибался, острое сознание вины сменится уверенностью, что таких ошибок у тебя никогда теперь не будет.

И надо обязательно много страдать, чтобы кому-то, хотя бы одному человеку, помочь преодолеть страдания или миновать их.

Тем более, надо много верить, чтобы кому-то передать хотя бы часть этой веры.

Рука плохо слушается. Она пытается бежать по бумаге в ритме моего бухающего сердца. И буквы получаются большими, словно я пишу эскиз плаката. И еще мне кажется, что будто пишу не я, а кто-то другой — и взрослее меня, и откровеннее...

Да и весь рассказ непривычен. Я долго прятался от него, изобретал всяческие причины, чтобы он не появился на свет: предчувствовал я ту высокую цену, которой расплачусь за необходимость поведать о своей беде.

Но понял: надо разорвать грудную клетку, показать другим, какое неизбывное горе в твоём сердце, — для того, чтобы хоть кого-то спасти от этой опасной операции.

Так вот, я не поздравил маму с днем рождения. Когда я уже вернулся из Москвы, спросил о мамином здоровье, просмотрел скопившуюся за полмесяца почту — я все еще не поздравил, все еще забывал...

И тут мне напомнили, и сказали, что этого простить нельзя.

Конечно, почти до утра я не спал. Лежал и думал: как же так получилось?

И — непростительно...

Понятно, с какими чувствами я шел назавтра к маме. В голове вертелись и стукались друг о друга десятки самых нелепых оправданий, самых убедительных неправд и примитивных лжей.

Особенно мне мешала коробочка московских конфет, которая, конечно, была ни к чему.

Ведь мама лежала на исследовании в онкологическом диспансере. И в эти дни решалась ее судьба: рак или нет?

А я?..

Я действительно просто забыл о ее дне рождения! И это мне тогда казалось таким несусветным, каким сейчас кажется предельно понятным.

Мама, когда я протянул ей коробку конфет и начал что-то там бормотать о своей забывчивости или что-то врать со стыда, остановила меня жестом: дескать, пустяк, сынок.

А около шеи, на предплечье, приклеен кусочек марли — отсюда и брали ткань на исследование, на смертный приговор.

Но мы тогда ничего не знали. Мы узнали другое: выписывают!

Даже предчувствия беды не было. Даже в голову не приходило, что небо будет, что солнце будет, что мир будет, а мамы — не станет.

Видимо, я решил напомнить своим рассказом, что матери смертны? Ведь многие забывают об этом. Все собираются сделать их счастливыми, да все не успевают...

И я до последнего момента не верил, что моя мама может умереть, как потом долго не верил, что ее нет. И долго ничто

не могло меня разубедить, даже то, что сам еще в утро похорон забил крышку гроба, чтобы никто не видел маму страшно изменившейся, даже то, что сам видел и слышал, как об эту крышку стучали комья мерзлой глины...

Помню радостную маму, которой сказали, что у нее катар верхних дыхательных путей или что-то вроде этого.

А нам сказали: рак левого легкого.

И еще сказали: будьте актерами, играйте роли людей, у которых дорогой человек страдает не раком левого легкого, а катаром верхних дыхательных путей или чем-то вроде этого...

Я привез маму к себе на новую квартиру. И суждено было этой квартире стать больницей для мамы, а мне и близким — сиделками.

И очень помню: за двадцать девять дней до смерти, в мой день рождения, мама как будто бы и не болела...

Потом стало хуже и хуже...

Окружат меня на кухне мамыны старые подруги, спрашивают:

— Что с ней?

А я вру.

Отец спрашивает:

— Так что же с ней?

А я — вру.

Мы держались тем, что не верили в смерть. Пусть было худо, жутко, немощно — не верили. Иначе бы не выдержали.

Днем мама еще понемногу спит, а ночами — нет. И надо всю ночь разговаривать с ней. А ночь одна за другой, а ночь одна другой длиннее, а дышит-то мама с трудом, — и о чем говорить?

Вот тут впервые в жизни мне пригодилась моя профессия: уж сколько я сочинил в эти ночи!

А внутри все то обрывалось, то перевертывалось, то застывало.

— Летом в деревню поедем, — говорит мне мама. — Там я, конечно, поправлюсь.

«Да какая деревня?!» — хотелось закричать.

— Давай подышим, — говорит мама, и я подаю кислородную подушку.

Сигарету не удавалось выкурить целиком. Только затянусь несколько раз и — бегом из кухни: удушья наступали внезапно.

И как-то ночью я вспомнил тот ноябрьский день, когда забыл поздравить маму с пятьдесят восьмой годовщиной ее жизни.

Удивительно: в Москве лил дождь. Я мог бы бесконечно описывать этот день: до того я его запомнил.

Я бродил по улице Горького, не заходя в магазины (денег у меня не было), и не понимал, что мне мешает вернуться в гостиницу, где в номере шумят молодые поэты, думал о том, что вечером позвоню сестре, узнаю о маме...

И вдруг понял: пока нельзя уходить из-под дождя. Дело в том, что во мне рождался рассказ, тот самый, который давным-

давно жил во мне, неясный, далекий, но — жил. И вот сейчас, в совершенно неподходящей обстановке, он начал рождаться, да так стремительно, что я ускорил шаги. Будь у меня карандаш и бумага, я бы тут же под дождем написал этот рассказ.

В голове складывалась фраза за фразой — как плата за долгие месяцы, когда я изводил себя и домашних нелепым поведением, сам не зная, что меня изводит рассказ.

А я давно не писал рассказов, был уверен, что больше мне и не написать...

А тут...

Обо всем этом я повествую не с целью оправдаться, теперь это никому и не надо. Я о другом.

Рассказ-то был о смерти, о том, как у одного хорошего человека умер самый близкий человек. Вот оно как.

И не написал я рассказа, который родился под ноябрьским дождем на улице Горького в Москве, а пишу вот этот...

Мама, конечно, ничего не знала о том, что произошло со мной в ее последний день рождения, но, как всегда, сказала: не волнуйся за меня, думай о себе...

А как много сил мы тратим, требуя к себе внимания, скрупулезно подсчитывая, где и сколько мы его недополучили!

И даже любовь бывает такой, что только успевай ей доказывать, что любишь. А то и друг идет, и уже знаешь: сейчас дружбы требовать будет... Душевного бескорыстия не хватает нам на каждом шагу. Мало мы еще отдаем, не прося взамен ничего.

Пока это умеют делать только матери.

...Уколы, микстуры, таблетки, порошки, пилюли — для того, чтобы продлить мучения. А помогали лишь кислородные подушки.

Мама таяла и таяла.

Седая, старенькая, лежала она передо мной, руки уже невесомые, сухие, ласковые... И как хотела жить! И я думал: в сырой подвал, на хлеб и воду — если бы выжила! И на черта мне сдалась эта квартира, эти удобства...

Мамина жизнь заново проходила передо мной в ее подругах и сослуживцах по разным работам. Явится человек — вспоминаешь: а, это во время войны они с мамой работали. А этот из «Союзпечати»... этот из бибколлектора... из книготорга...

А мама принесенные ей яблоки отдает внукам, компоты там всякие ей больше не нужны.

Ничего ей не нужно было, кроме обыкновенного воздуха.

Таяла и таяла...

Обидно: ко времени, когда мы начинаем замечать женскую красоту, мамы наши успевают постареть. Помню, я с удивлением обнаружил, что моя мама была красивая. Но узнал я это по фотографиям давнишней давности.

К чему все это вспоминаю я — понятно. Но для чего я об этом пишу? Для кого? Может, для сына? Для всех сыновей? Может,

хочу высказать обыкновенную, всем известную истину — цените, любите мам?

Главное — берегите...

Я не берег.

И хорошее для нее делал, и любил, но — не берег.

То времени не находил, чтобы забежать хотя бы ненадолго. То и позвонить будто бы было некогда.

А ведь каждый день я мог прибежать к маме и услышать то, чего больше никогда не услышу:

— Здравствуй, сын...

И я больше ни разу в жизни не скажу:

— Здравствуй, мам...

Кто-то и не поверит, но рядом с умирающей мамой, когда она ненадолго засыпала днем или ночью, я писал. Мне так хотелось закончить новую книгу при ней!

И я успел.

И даже тут мама осталась мамой. Читать она уже не могла, а мою рукопись осилила. Читала она понемногу, несколько дней; перевернула последнюю страницу и сказала только:

— Прочитала.

Заставила себя прочитать, сколь трудно ни было. Да и не читала, просто водила глазами по строчкам...

Тогда я подумал впервые, что мою нелегкую, не больно и удавшуюся профессию подарила мне мама. Она ведь всю жизнь работала, как теперь говорят, с книгой. Иначе откуда бы могло взяться, будь оно неладно, непреодолимое желание писать? Книги я в детстве любил до того, что воровал их в мамином магазине. В жизни меня пороли трижды и два раза из них — за воровство книг. Уму непостижимо. Дома-то книг всегда было много.

...Мучится мама, так мучится, что и я временами начинаю ртом хватать воздух, словно и мне его недостает.

И начал приползать ко мне страх. Всегда неожиданный, короткий и холодный.

Укол страха...

А вдруг как сорвется с ее языка слово какое-нибудь, горькое для меня, слово?

Или упрек?

Или укор?

Как же я жить останусь, если услышу от нее сейчас то, в чем я действительно виноват? Ведь поводов и причин для этого хватает...

Вот тут-то меня и колот страх.

Любила она меня по-всякому. И светлой была ее любовь, и жертвенной, а иногда и горькой: все знают, что материнские чувства и прозорливы, и слепы...

...А болезнь пошла в последнее наступление.

Лежать мама могла только на правом боку.

Задыхалась все чаще и чаще.

Помутился рассудок.

Это жутко, когда ничем не можешь помочь.

Не представлял я раньше, что это так. Привык ведь к ней, к живой.

Держимся мы с ней за руки, и — ни единой жалобы, ни единого упрека... Нас слишком часто и много ругают, слишком часто перечисляют наши подлинные и мнимые ошибки, не прощают... Вот тут-то и спасает нас мамино слово.

Я не услышал от нее последнего слова, да его и не надо. Я его знаю. Каким бы оно ни было, оно — мамино. Значит, доброе.

И когда мне бывает трудно, когда никто не хочет или не может мне помочь, я вспоминаю о том, что я потерял, и мне хочется стать лучше, чем я есть. И ко мне возвращаются силы.

И во мне все сильнее растет любовь к маме, та любовь, которую я не успел отдать ей...

1964

## ПИСЬМО МАМЕ

Мама... не могу сказать тебе здравствуй: давно тебя нет здесь, на земле, где шумят леса, текут реки и над которой плывут облака, нигде тебя нет здесь... А мне скоро будет столько лет, сколько было тебе, когда ты умерла. Невозможно представить, подумать даже нельзя, что когда-то, быть может, я стану старше тебя.

С каждым годом, а иногда и с каждым днем мне все необходимее и необходимее говорить и говорить с тобой, как мы ни разу не говорили. Сейчас бы я понял тебя. А тогда, не ведая твоих забот и тревог, горестей и печалей, виной которым я невольно оказывался, как я далек был от тебя и как ты близка мне теперь...

Не знаю почему, но рядом со мной все меньше и меньше, уже почти совсем нет людей, которым я мог бы рассказывать о себе самое сокровенное...

А все чаще случаются, прямо падают, валятся на меня, дни, особенно тяжкие, какие-то несправедливые дни, требующие много сил, и немислимого терпения, и настоящего мужества, а все это, кажется, давным-давно на исходе. Вот тогда-то ты и необходима мне, я и ищу тебя в памяти, зову... но не откликаешься ты... А я зову и зову... Зачем? Для чего? Почему? Верно, потому, что для меня ты осталась живой.

Мне до сих пор перед тобой стыдно: ведь все можно было сделать не так, можно было спасти тебя от многих и многих болей, огорчений, несчастий... Утешает — только слабенское это

утешение, — что я все-таки принес тебе меньше горя, чем достается мне. И совсем уж обидно: неудач моих и ошибок ты насмотрелась достаточно, а вот чем бы я мог порадовать тебя, до этого-то ты и не дожидая.

Да, да, для меня ты живая, иначе бы я не писал тебе письмо в течение нескольких лет.

Редко я вспоминаю, как ты умирала страшно и долго, именно умирала, а не жила уже; не вспоминаю, как хоронили тебя... Тогда у меня было много друзей, и среди них не так уж мало тех, которые сейчас там где-то с тобой...

Помню тебя такой, какой ты была, когда я был мальчишкой, подростком, потом постарше... Думая о тебе, стараюсь не вспоминать себя взрослым, вернее, почти взрослым, ибо пока ты жила, я не вырос, не мужал.

Огорчал я тебя и заставлял страдать, конечно, только потому, что мне и в голову не приходило, что я могу причинить тебе боль. Это я понял лишь без тебя, когда мне самому стали делать очень больно. Только сейчас я уразумел, что самое большое горе приносят тогда, когда и не помышляют о нем, и как раз те, которые, может, меня даже и любят, хотя бы немного.

Не собираюсь жаловаться и тем более оправдываться, просто отчетливо сознаю, что ты и я теперь соединились душами, чего не случилось при твоей жизни. И письмо мое одновременно и тебе и мне. Сейчас я — почти ты. Мне необходимо что-то высказать тебе с твоей помощью.

Это письмо, повторяю, я пишу несколько лет, да и вся моя жизнь без тебя — письмо тебе, мама. И если раньше я писал его торопливо, урывками, когда не к кому больше было обратиться, то с годами письмо становится все неторопливее, все подробнее, все сосредоточеннее. Конечно, оно сумбурно: от волнения и слова разбегаются, и мысли друг другу мешают. Ведь я верю, что ты это письмо прочтешь, точнее, мне верится...

За годы, которые я прожил без тебя, наиболее, пожалуй, поразило меня одно обстоятельство. Думая о твоей жизни, я не мог не прийти к пусть немудреному, но суровому, если принять его безоговорочно, заключению. На нескольких судьбах хорошо мне известных, ныне покойных, людей обнаружилось, что истинная ценность человека как человека с наибольшей убедительностью часто выявляется — придется говорить прямо — после его смерти. Вот был человек, действовал мелко или крупно, очень влиял на работу и даже здоровье окружающих, тем более — подчиненных, казнил, как говорится, или миловал, а помрет, и аж худым словом никто не помянет. Будто никогда и не было этого! В его кабинете его не вспоминают...

И — наоборот. Жил скромный человек, без шума делал простую работу, вроде бы никакого особого значения не имел, а вот умер и — ожил в памяти людей, где жизнь его представилась во всем своем человеческом и неповторимом обаянии. Внешняя скромность обернулась внутренней значительностью, простая

работа оказалась благородной деятельностью, и люди вспоминают и вспоминают этого человека, и он будто бы и не умирал, а лишь отлучился куда-то...

Вот и ты для меня, мама, все еще живешь и будешь жить, пока я жив. Уйдя, ты даришь мне больше, чем тогда, когда я каждый день мог видеть и слышать тебя.

Беда и грех сыновей: не ценить мам, как воздух. Чтобы понять тебя,— понял я слишком поздно,— надо было самому пережить хотя бы часть боли, какую я тебе доставил... Но, может, потом и про меня вот так же кто-нибудь подумает...

Истинное страдание скрывается от других, особенно от близких. О ранах не кричат, о царапинах извещают всех. Поэтому мамы утешают сыновей, а не сыновья — мам.

И знаешь, по многу раз, дотошно и не жалея себя, перебирая и перебирая в памяти наиболее неприятные воспоминания, обнаружил я причину моего тогдашнего неразумного поведения. Оказалось, что я всегда в глубине души нисколько не сомневался, что ты не только простишь, но и поймешь. Ведь так и было... Я любил тебя, не ведая, что любить — это обязательно понимать. Теперь сам учусь терпеть, прощать и понимать. Трудная это наука, в полной мере доступная, верно, только матерям.

Обидно и горько сознавать, что живой ты не услышала от меня: всем хорошим во мне я обязан маме...

Мама — это ведь не только давший тебе жизнь человек, но и человек, отдавший тебе жизнь...

...Не могу сказать, мама, прощай, но до свиданья сказать когда-нибудь придется. Пока я жив, ты со мной.

*Апрель 1980 — ноябрь 1984*

## НАТАЛИ ПЕТРОВНА

### 1

Натали родила девочку и от радости чуть не расплакалась, а вспомнила, как вчера ехала сюда, и чуть не засмеялась.

Она любила необычные ощущения и всегда их искала. Ей до замиранья сердца, до холода по коже нравилось совершать поступки, неожиданные не только для окружающих, но и для нее самой, и обязательно наперекор привычному.

А может быть, она просто обманывалась. Может, это жизнь все время подсовывала ей неожиданное, вынуждала ее поступать наперекор привычному, а Натали думала, что это она делает по собственной воле.

Роды предстояли, как ей говорили в консультации, чрезвычайно тяжелые. Ей даже советовали отказаться от ребенка, по-

казывали научные книги, где описывалось то, что могло случиться и с ней.

Врач сказала:

— Тем более в вашем положении, милая...

— Положение тут ни при чем, — резко и гордо отозвалась Натали и сразу почувствовала себя виноватой. — Простите, но я сейчас плохо соображаю. Очень плохо соображаю.

На самом же деле ей просто захотелось поступить наперекор тому, что ждала от нее все.

Врач словно учуяла причину сопротивления Натали разумному совету и сказала:

— Смотрите. Дело ваше. Я вам советую не только как врач, но и как женщина, в конце концов, как пожилой человек. Даже если все окончится более или менее благополучно, а в такой исход можно верить, жить вам будет... — Она прищурила усталые глаза, помолчала, видимо прикидывая, сможет ли Натали выдержать. — Словом, решайте. Вернее, решайтесь.

И Натали решилась. И ничто уже, и никто уже не мог бы ее переубедить.

Игорь проворчал:

— О таких вещах по телефону не говорят.

Удивительней всего было то, что она нисколько не боялась. Большая часть ее жизни, особенно после смерти матери, представлялась ей как бы чужой, принадлежащей кому-то другому. Она не могла свыкнуться с тем, что вон она — это она. Натали казалось, что настоящая она осталась где-то лет десять назад, а вместо нее появилась новая Натали. И рожать надо было этой, новой, а не ей, настоящей...

Вчера, почувствовав внутри у себя тупые голчки, она испугалась, но не вызвала «скорую помощь», а отправилась пешком; ждала приближения болей и радовалась, что уже не боится их. Как бы там ни было, а теперь все станет на свое место.

Ей ведь всегда говорили: «Дело твое. Решай сама». Она и привыкла решать сама, решать быстро, бесповоротно.

...Войдя в трамвай, Натали едва не вскрикнула; кусала губы, отвернувшись к окну.

— Билетик, гражданочка, купим.

А ей подумалось, что если она сделает хоть одно движение, то случится что-то страшное.

И она виновато прошептала:

— Я в родильный дом еду.

Кондукторша кричала на остановках:

— Граждане, поторопимся при выходе: девушка в родильный дом спешит!

Натали еле сдерживала стоны и улыбалась вместе с пассажирами. А в трамвай она села зря: пешком было куда ближе. Но она лишний раз доказывала себе, что ничего не боится.

...Потом она долго лежала под слепящим светом огромной лампы, будто развороченная болью, пыталась вспомнить стра-

ницы научных книг, чтобы представить, что же сейчас с ней будут делать.

— А мне никто не советовал, никто, никто, — сквозь зубы прошептала она гордо, чтобы подготовиться ко всему. — Никто. Не советовал. — И когда боль стала захлестывать сознание, Натали сказала почти спокойно: — У меня просьба. Если со мной что-нибудь... дочь назовите Настей. А если мальчик, то Степа... то есть Степан...

«Усну, усну», — с блаженством подумала она и уснула.

А потом она как бы выплывала из глубокого-глубокого сна и не могла выплыть, только чувствовала сквозь полузабытье, что над ней тревожно трудится много осторожных, ласковых рук.

И непонятно — то ли во сне, то ли наяву, — полуодетая, в одной рубашке, мокрой на груди от молока, брела она по снегу, который сначала был холодным, потом — горячим. Потом она вдруг оказалась на берегу моря, наполненного грозными головами: не волны катились по нему, а хоры, рокочущие о беде и опасности.

Она раскрывала рот, пыталась крикнуть и — не могла. Временами она чувствовала, что умирает, но не чувствовала страха, и тогда от этого было страшно. Ей хотелось вырваться из долгого ощущения нереальности, но даже боль принадлежала уже как будто не ей, а чужая, летала вокруг и часто впивалась в Натали, чтобы через мгновение отлететь, а через мгновение — снова впиться...

А на берегу моря свирепствовала метель и пронизывала всю Натали насквозь... Хлынул липкий теплый дождь...

— Не кусай губы-то, — неожиданно ясно услышала Натали, открыла глаза, сначала ничего не видела, но уже понимала, что проснулась; попросила сухими губами:

— Пить.

— Переоденемся, милая, чуток... вот так... так вот... хорошо нам будет...

Натали исполняла приказания как бы не сама. И только резкая боль в животе привела ее в себя. И одновременно с болью возникла уверенность, что сейчас боль уйдет. Тело казалось ваты, но боль таилась в каждой мышце, в каждом движении. Захотелось стонать громко, жалобно, дико...

— Пить.

Вода была невкусной, и именно это ощущение помогло Натали вконец очнуться.

Тут нянечка сказала ей, что она родила дочь, и Натали чуть не расплакалась от радости. Сразу подумалось: «Теперь все хорошо. Больше я ничего не боюсь. Больше мне ничего не надо».

— Два сто, — сказала нянечка. — Человек.

— А зовут ее знаете как? Настя.

— Кто придумал? — восторженно спросила нянечка.

— Я, — гордо отозвалась Натали и добавила грустно: — Сама. Одна.

И она снова уснула, вернее, погрузилась в сон. Спала она плохо, часто просыпаясь, не понимая, что с ней, где она и даже — кто она.

— Все, — сказала Натали, заставив себя очнуться. — Хватит. А то стыдно.

— И не ругает тебя никто, — шепнула нянечка. — Кричи вдовсталь. От этого легчает. И врачи советуют. У нас все кричат.

— А я не буду.

— Ну и зря. Надо тебе чего?

— Нет.

Была ночь.

Кто-то капризно стонал в дальнем углу палаты, под кем-то скрипела металлическая сетка, откуда-то снизу доносились дикие выкрики.

«И я так же кричала, — с неприязнью подумала Натали. — Хватит. Просто надо взять себя в руки. Самое страшное позади».

Думать было легко. Она наслаждалась самим сознанием того, что может думать, вспоминать. А думать было о чем, и было что вспоминать... Вот ведь как бывает... *Sectio caesarea* — кесарево сечение. Как там, в научных-то книгах, сказано? Или в интересах матери? Или в интересах плода? Интересно... Надо завтра попросить врачей, чтобы ей разрешили взглянуть на свой бедный животик... Разрезали, зашили... А Настя живет...

И если бы Натали не умела поступать наперекор привычному, дочери не было бы на свете. Натали поступила в ее интересах...

Думать было больно. Двигаться было больно. Не двигаться — тоже больно.

Все было больно.

Но в ней еле-еле, да теплилась какая-то сила, которая заставляла и думать, и не сдаваться боли, и быть готовой ко всему.

...Почему она изменила самой себе? Где? Когда? Не так ведь она хотела жить, не так! Может, сделать *sectio caesarea* самой жизни? А в интересах кого?

«Хватит, — приказала себе Натали, — хватит. Только не паниковать. Решай сама». И она стала мечтать, как будет жить с Настей, кем вырастет дочь. Конечно, лучше, если она станет певицей — сможет петь людям песни.

Бабушка рассказала однажды грустную историю своей жизни. Муж запретил ей учиться пению: тогда профессия актрисы в обществе, к которому он принадлежал, считалась чуть ли не позорной. Муж умер рано, а она так и не стала певицей. И теперь, старая, она иногда садилась за пианино и пела... Голос был молодой. Слушая, Натали думала, что легче жить тем, кто умеет выразить свою душу...

Неожиданно и резко закрыв пианино, бабушка говорила:

— А и ладно.

И долго сидела, сгорбившаяся, какая-то очень одинокая.

К ней даже приезжал длинноволосый, обсыпанный сигаретным пеплом старик, недоверчиво расспрашивал о том, что у нее будто бы сохранился голос. Бабушка очень смеялась «нелепым выдумкам» и «непродуманным сплетням», а когда длинноволосый старик уехал, вымела пол около стула, где он сидел, и — заплакала.

— О чем ты? — спросила внучка.

— Так. Обо всем. Или ни о чем.

Почему же бабушка, человек с твердым и сильным характером, не настояла на своем? Почему покорились чужой воле? Разве обязательно расплачиваться собственной судьбой за судьбу другого, пусть даже любимого?

Натали спросила однажды:

— Но почему ты не вышла замуж... ну, вторично?

Бабушка ответила, подумав:

— А мне больше никто не понравился. А без любви я... не рискнула. Я ни разу в жизни никому и ничему не изменила. Особенно — себе. Даже тогда, когда это было в высшей степени бессмысленно. Вообще, я прожила странную жизнь, временами просто нелепую. Но я ни от кого не зависела.

— Неправда, — возразила Натали, — ты всегда зависела от него, — и кивнула на портрет деда.

— Мне этого хотелось. Я любила его.

...Настя будет певицей, не обязательно профессиональной, а вот так, как ее прабабушка, чтобы в иные — трудные минуты жизни уметь выразить свою душу, освободиться от того, что теснится в ней и ищет выхода.

Проснулась Натали раньше всех в палате.

Ей показалось, что сердце лопнуло — резкая боль в нем содрогнула ее и сразу исчезла.

Натали выждала, осторожно передохнула и подумала: «Ничего, ничего. Ничего особенного. Это вполне естественно. Так и должно быть. Будет еще хуже. И я должна все выдержать».

В глубине сознания бродили тревожные мысли, неуловимые и холодные. Она боялась пошевелиться, словно могла спугнуть их резким движением.

«Не надо ничего бояться, — твердила она себе. — Что бы там ни случилось, ничего уже не исправить. Тебе осталось одно — жить, исходя из того, что произошло, а не из того, чего бы тебе хотелось».

И опять она заметила, что в ней тлеет какая-то сила, от которой легче, и она, эта сила, зреет.

Нянечка пришла подозрительно веселой и шумной, что-то без умолку говорила, и Натали готовилась встретить недобрую весть.

Стали разносить детей для кормления. Натали уже знала, что Настю не принесут.

— А Настасья-то наша заболела, — напряженно-весело сказала нянечка. — Сегодня мы ее без тебя покормим. Лежать ей надо, не двигаться. И волноваться ей нельзя. И тебе волноваться нельзя. И двигаться тебе нельзя.

Врачей пришло неожиданно много, и вели они себя подозрительно.

Натали все выслушала внешне спокойно, и врачи, как ей показалось, растерянно переглянулись.

Но пока говорили только о Натали, о Насте не было сказано ни слова.

— Она умерла? — не своим голосом спросила Натали.

Кто-то из врачей машинально кивнул. Нянечка всхлипнула.

— Дайте мне чего-нибудь уснуть, — тихо попросила Натали.

Ей туго перебинтовали груди, сделали укол, дали чего-то выпить и все время говорили...

У нее хватило сил сдержаться, вернее, у нее не хватило сил ни крикнуть, ни пошевелиться. Натали молчала. Немота сковала ее. Онемели мысли и тело. Даже боли в нем не было. Ничего не было.

Она — потом — кричала нечеловеческим голосом, рвала на себе волосы, металась, запутавшись в бинтах, вскочила, кулаками разбила окно, бросилась вниз на асфальт, с наслаждением, после долгого полета, ударилась о него головой, — но все это лишь мысленно и оттого страшнее...

И ей показалось, что она не спит, а оглохла и ослепла. Натали вся напряглась, укусила губу и заставила себя проснуться.

Болела голова. От прикосновения к подушке ныл затылок.

Увидев нянечку, Натали едва пошевелила губами:

— Что же мне теперь...

— Об себе думать, — строго, даже грубовато ответила нянечка. — Об том, чтоб на ноги встать.

— А за что? — вырвалось у Натали. — За что меня... так?

— Медицина, — виновато отозвалась нянечка. — Организм.

У врачей спроси. Они тебе все опишут.

— У врачей... я не о том.

— А об чем же?

— Вот раньше говорили: бог наказал. А меня кто?

— Температуришь? — обеспокоилась нянечка. — Может, дежурного врача позвать?

— Сама я себя наказала, — неуверенно произнесла Натали. — Принесите мне, пожалуйста, чаю.

— Ты лишние-то слова не говори, — грубовато посоветовала нянечка. — Какие тут «пожалуйста» могут быть? Тяжело ведь тебе.

— Чаю. Крепкого. И уснуть чего-нибудь. А то я с ума сойду.

— Нет. — Нянечка глубоко заглянула ей в глаза. — Не сойдешь. Не имеешь права. Да и крепкая ты.

Потом Натали пила вязкий, пахнувший веником чай, обжигалась, потому что руки мелко дрожали.

— Тебе, главное, на себя надеяться, — задумчиво шептала нянечка. — Это уж надо. Такое пережила — что хуже может быть? А ты все выдержишь. Обязана потому что.

Проснулась Натали в другой палате. Рядом опять сидела нянечка. Они встретились глазами, долго смотрели друг на друга.

— Вот поправлюсь, — заговорила Натали, чтобы ни о чем не думать, — и буду жить не так, как раньше жила.

— Ты, главное, витамины ешь. Не жалея уж денег.

— Денег? — удивилась Натали и стала судорожно вспоминать что-то. — Денег? — с неожиданным раздражением переспросила она и вдруг разрыдалась, словно только что нашла для этого причину.

— Ты чего? Ты чего? — испугалась нянечка.

Натали бормотала сквозь всхлипывания:

— При чем тут деньги... я их ненавижу... из-за них... — И резко, подавив рыдания, проговорила: — Деньги тот любит, у кого души нет.

— Да как сказать... Я вот из-за них работаю, из-за денег. Чего ж мне их не любить? И душа у меня вроде бы имеется. Нет, их уважать надо, а то ножки протянешь.

Натали приподнялась на локтях, но нянечка крепким движением придавила ее обратно, приговаривая:

— Лежи, лежи. Не травми себя разговорами. А то как сюда попадут, так и начинают... будто раньше не было времени об жизни толковать.

— У меня Игорь... муж... то есть... неважно, кто он... ну, он лотерейных билетов сто штук купил... систему придумал... рассчитал... И ничего не выиграл. И злой был. Понимаете, злой? До-о-олго злой.

— А как же? Сто штук. Я два покупала и то сплюнула, когда ничего не получилось... Он у тебя кто?

— У меня он... инженер, в общем.

— С высшим?

— Дипломированный.

Они опять долго смотрели в глаза друг другу. Машинально поправив полотенце на спинке кровати, нянечка пошла к выходу, в дверях задержалась, но не оглянулась.

— Любопытная у нас нянечка, и не надоеет ей про всех все знать, — услышала Натали и, покосившись на кровать слева, увидела там огромную седую женщину, с лицом, устремленным вверх, словно она что-то рассматривала на потолке. — И ничем-то ее не напугаешь, не удивишь. Даже меня слушала, будто у меня коклюш или насморк, а не...

— А что у вас? — спросила Натали, вздрогнув от этого спокойного, мудрого, словно отрешенного взгляда больших глаз.

И в ответ женщина тихо, неторопливо, немногословно пове-

дала о том, как пятнадцать лет ждала ребенка, муж трижды бросал ее из-за этого, позавчера родила мертвую девочку и уже получила от мужа извещение, что домой может не возвращаться, а вещи ее он оставит у соседей.

Натали почувствовала, как у нее мгновенно замерзли пальцы ног.

— Вот что у меня, — закончила женщина. — Зря старалась.

— Как же так? — пробормотала Натали, почти задохнувшись. — Это же... просто бесчеловечно!

— Их бы сюда затащить! — раздался справа пронзительный голос. — Посмотрели бы, как мы тут, узнали бы, сволочи!

— Не слушай ее, — посоветовала соседка слева, по-прежнему глядя в потолок неподвижным взглядом. — Она тронутая на этом.

— Сама ты тронутая!

— Я знаю. А ты молчи. Напугаешь кого-нибудь.

Но у женщины справа, видимо, уже не было сил сдерживаться и выбирать выражения. Она почти кричала:

— Восемь часов на кухне да восемь на работе! Да по магазинам побегаешь! Где тут здоровье для женских обязанностей иметь? Нас, баб, матерей, не орденами надо награждать, а жалеть! Денег нам давать! Вон у интеллигенции жены какие. В шляпах ходят! По улицам — срам глаза не ест — в мужских штанах шагают и... вертят! Все у них наружу! А мы...

— Помолчи ты. Больница здесь.

— А ты мне рот не затыкай! Подумаешь, какая нашлась! Мне только здесь и поорать. Кто меня дома-то слушать станет? Я вот как отсюда выду, сразу письмо в Москву напишу. Политически напишу, а не просто жалобу. Чтоб меры приняли. Для всех.

— О чем вы напишете? — спросила Натали, обескураженная услышанным.

— А обрисую все, — уже спокойнее ответила женщина. — Я единова уж писала. Про квартиру. Сами подумайте: жили мы впятером в полуподвале на шестнадцати метрах. Покуда с мужиком ждем, чтоб дети уснули, сами захрапим. Да и удовольствие-то в таких-то условиях какое? Вот вы морщитесь, а горе это... Печь дымит. Вода за пять кварталов. Нужник во дворе. В зверинец ходить не надо — соседей хватает. Я и написала: сил, мол, моих нету, считайте, мол, с после войны квартиру все обещают и обещают. Пришла из Москвы бумага к нашему начальству. Забегало оно. На машине за мной прикатило. Поначалу хотели мне однокомнатную подсунуть, а я ни в какую — ору себе! Только на двухкомнатную со всеми удобствами согласилась. — Голос женщины стал мягким и теплым. — Боже ты мой, редела я как! Вошли мы в нашу квартиру, ноги у нас от радости отнялись, сели мы все на пол и сидим. Я себя всю исципала, чтоб проверить, сон или нет... Ну... счастье началось. Соседей, будь они прокляты, поблизости нету. Ванна, газ! Тува-

лет прямо тут, в тепле, не на улице. Дрова таскать не надо. Горячая вода льет. Чего еще? Мужик мой, Казаков его фамилия, человеком сделался. Целый год в рот ни капли не брал. Газеты выписывать начал... И скончилось счастье. Я теперь не жалобу писать буду, а политически. Чтоб всю женскую жизнь улучшили. А то ведь... Ну чего мне с моим охламоном делать? Пьет каждый день. Меня лупит почему зря. Домой почти рубля не приносит. Ладно, дети старшие зарабатывают. Жаловаться нельзя: у них на заводе сейчас строго, за звание они борются. Первыми в коммунизм хотят прийти. Одна тут пожаловалась, так ейного-то бац с завода в три шеи на все четыре стороны. Мужик-от лучше не сделался, только зарабатывать куда меньше стал, а пить поболее, и бабе в пять раз тяжелее стало... Вот и я смучилась. И сюда-то из-за этого угодила.

— Вот все и опиши.

— А ты не смейся. Я смотрю: терпеливая ты. А терпеливые — самые вредные. Из-за них все. Мне терпеть надоело! — крикнула она, помолчала и заговорила снова: — Я своего идола в тюрьму засажу. И передачи носить не буду. Вспомнить, бабоньки, страшно, как я иной раз, битая-то, подумывала: да хоть бы сдох! Вот ведь до чего человека довел! Такое об своем мужике думать! А управы на него по законам нету. Нету на него управы.

— Вы сами виноваты, — осторожно сказала Натали. — Надо было с самого начала...

— Сколько лет тебе, матушка?

— Уже двадцать четвертый.

Женщины добродушно рассмеялись.

— Возраст здесь ни при чем, — упрямо сказала Натали. — Ведь просто страшно слышать все это. Как вы можете терпеть? — Она замолчала, чувствуя, как каждое слово будто кирпичиком укладывается в стену, вырастающую между нею и женщинами.

И если бы ей возражали, Натали попыталась бы доказать, что нельзя поддаваться обстоятельствам, что надо самой строить судьбу.

Она посмотрела на женщин. Они молчали. Так огорченно молчат взрослые, когда на их глазах дети совершают явные, но пока еще не опасные нелепости.

И все же Натали стало легче, потому что теперь она думала не только о себе и не только о своем горе.

## 2

Нудно ползли дни.

Натали покорно принимала лекарства, морщилась от уколов, радостно ощущая, что силы понемногу возвращаются к ней. На последнем осмотре ей сказали, что она довольно легко от-

делалась. Слова эти, произнесенные самым добродушным тоном, все же обидели Натали.

— Да, вы легко отделались, — повторил врач, видимо заметив, как нахмурилась Натали. — Все могло быть гораздо хуже.

«А еще — будет, — подумала Натали. — Но я уже не боюсь. Теперь-то я знаю, что все зависит от меня».

Временами казалось, что гнетущие мысли, тоска и неверие в счастье существуют как бы сами по себе, рядом с радостями, не соприкасаются, и от нее зависит, которым из них подчиниться.

Впервые она принимала бытие в его разительных, почти несовместимых противоречиях. Еще недавно Натали считала, что судьба бывает либо счастливой, либо несчастной, что горе — это только горе, радость — только радость. Нет, в каждой судьбе переплелось все, и в несчастье заложена возможность обязательного освобождения от него, а в радости — опасность ее потерять. И самые счастливые — те, кто воспринимает жизнь не как чередование не зависящих от них случайностей, а как всегда трудную задачу, условия которой могут быть любимы, но решать ее надо именно в том виде, в каком она задана.

И еще Натали остро отметила: в каждом случае человек знает или, по крайней мере, догадывается, что ему следует делать, но часто пытается уйти от единственного разумного выхода, ищет легкий, запасной, а этот почти всегда бывает неверным.

«Вы легко отделались», — вспомнила она и попросила нянечку принести зеркало.

— На поправку, значит, идешь. — Нянечка лукаво улыбнулась. — Вчера бы я не принесла. До сегодня ты смутно выглядела. А вот с утра — ничего.

Зеркало оказалось большим, нянечка прижимала его к животу, как икону.

— Ничего, ничего, — приговаривала она, глядя на недовольную Натали. — Другие куда похуже в таких-то случаях бывают. Нагляделась?

— Вполне, — ответила Натали. — Спасибо. Сама не знаю, чего-то вдруг захотелось на себя взглянуть... — Она замолчала, подумав, что, может быть, и не следовало просить зеркало, когда рядом лежат пожилые больные женщины. — Понимаете...

— Нашла время любоваться! — проворчала соседка справа.

— Было бы на что смотреть! — огрызнулась нянечка. — А она еще и молодая.

— Брось переживать, — сказала соседка слева. — Каждому свое.

А Натали потом вспоминала лицо, которое увидела в зеркале, и поражалась ему, как чужому, — будто знала она раньше этого человека, а тут не узнала. И не худоба изменила его. А только взгляд. Она долго искала ему определение и решила, что взгляд стал взрослым, что ли.

Да, она выросла и даже сама чувствовала это. Здесь, окруженная бедами и несчастьями, угнетенная собственным горем, она не упала духом, а, наоборот, — снова убедилась, что все беды преодолимы.

Здесь часто бывала смерть, иногда — неожиданная, а иногда — и долгожданная.

Здесь Натали услышала столько рассказов об искромсанных судьбах, неудачных жизнях, болезнях, похожих на кошмарные сновидения, что сначала была подавлена. Конечно, она понимала, что в больнице нервы обнажены и натянуты, что нельзя судить о всей жизни по этим вот несчастным людям, но и не знать о них — нельзя.

Пожалуй, ни к чему человек не относится так беззаботно, как к здоровью. А ведь болезни, верно, самый коварный враг жизни. И, как всякого врага, их не надо бояться, но помнить о них надо всегда.

И Натали воспринимала многие страшные рассказы, словно горькое, но целительное лекарство.

Здесь она видела и много счастья — большого, теплого материнского счастья... И кусала губы, чтобы криком не позвать Настю, которой она даже и не видела ни разу.

Дочь приходила к ней ночами, и было стыдно, как всегда стыдно бывает перед умершими, стыдно и пусто. Натали чувствовала себя виноватой, до того виноватой, что начинала оправдываться за свое поведение...

Тогда наступало самое жуткое — мысли исчезали, будто растаивали, исчезали все чувства и ощущения, даже физическая боль — ничего не было... Тогда она была готова уже не заплакать или зареветь, а просто — взвыть. Она неподвижно лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, не в силах сжать кулаки. И хотя сознание работало притупленно, она понимала, что обязана выздороветь. Для этого нельзя распускаться ни на мгновение, иначе... Она помнила, чего ей стоило одно мгновение слабости... вот оно привело ее сюда...

И лишь когда неожиданно и ненадолго наступила тишина, Натали отдыхала — разрешала себе поплакать, а после засыпала глубоким, живительным сном.

Так боролись в ней здоровье с нездоровьем, зато в сознании все чаще и чаще наступал покой.

Многое она здесь узнала.

Иногда к горлу подкатывали слезы благодарности при виде усталых, внимательных глаз врачей, при звуках их бодрых, нарочито грубоватых голосов.

О многом она здесь передумала.

О многом вспомнила...

...Сидели как-то с Игорем в гостях. Обильно накрытый стол, разговоры ни о чем, совсем немного танцев, чуть-чуть песен.

И вдруг она услышала тоскливый, грозный и отчаянно беспомощный львиный рык.

— Это в зоопарке, — объяснили ей, — тут неподалеку.

То ли обидели льва, то ли им овладели воспоминания — он рычал со звериной откровенностью и человеческой надеждой быть услышанным и понятым. Может, он ни разу в жизни и не был настоящим львом, может, он и родился-то в клетке, но в эту ночь ощутил себя львом и — удивился своей судьбе?

— Чего он разорался? — спросил Игорь, с наслаждением затягиваясь сигаретой (он все делал с наслаждением). — Глупо, правда? Помалкивал бы уж лучше. Царь зверей.

— И все же он царь зверей, — почему-то возразила Натали. — Даже в клетке.

Игорь снисходительно усмехнулся (он всегда снисходительно усмехался, когда с чем-нибудь был не согласен) и проговорил:

— Каждому свое, Натусь. И лев, лишенный возможности быть львом, смешон и жалок. И тем он смешнее, чем больше хочет быть львом.

— Ты сам сказал: лишенный возможности. Значит, он не виноват в том, что он не лев?

— Умоляю тебя, не надо философии.

В ту ночь Натали долго мерещился львиный рык, и было жаль льва. Игорь спал спокойно, и она подумала: что — если закричать?

...Пусть во многом она и не права. Но в одном она права безусловно: она старалась жить так, чтобы, даже претерпев поражение от судьбы, сказать: «Я сделала все».

Ее прежняя жизнь сейчас казалась ей картиной, которую писали разные люди, и оттого на картине был беспорядок, состоящий из случайных деталей, главного — не было видно.

«И не надо, — твердила она себе. — Вот возьму и — не буду переживать. Ничего не буду переживать. Буду жить».

А — переживала.

### 3

Соседка слева — ее звали Анна Степановна — несколько раз, все подробнее и подробнее повторив историю своей жизни, поругивала себя за болтливость. Двигаться она почти не могла, ее огромное тело было начинено невероятным количеством болезней, и она говорила:

— Одного только мне и не хватает узнать — как помирают. И мать у меня такая же была. Прямо радостная в гробу лежала. Отмучилась. А отец, помню, так тот рассердился на смерть, что она его сцапала. Грешник был, не дай бог, обидно было ему в гроб-от залезать. Изменился весь.

— Как вы спокойно обо всем рассуждаете, — удивилась однажды Натали.

— А чего кричать-то? Я свое дело знаю. Меня уж ничем не запугаешь. Ни радостью, ни бедой. И не боюсь я ничего. А ты зря мне про себя не рассказываешь. И время незаметней бы побежало, а может, и толк бы какой получился. Когда другому об себе говоришь, вроде бы со стороны себя разглядываешь и соображать начинаешь.

— Нечего мне рассказывать.

— Тоже неправда. Любая судьба, особенно горькая, урок содержит.

Вера Ивановна, соседка справа, маленькая, сухонькая, похожая на старушку, день ото дня ожесточалась. По любому пустяковому поводу она кричала, не особенно стесняясь в выражениях. Нянечки еще отругивались, а врачи — словно не замечали.

— Как вам не стыдно! — возмутилась однажды Натали, когда Вера Ивановна обвинила врачей в утаивании селедки, предназначенной больным. — Вы просто мелкий человек. Вам же русским языком объяснили, что сейчас больница перегружена, а продукты отпускаются...

— Ты — помалкивай! — крикнула Вера Ивановна. — Мое какое дело? Мне положено, так подавай. А вашего брата, промежду прочим, я знаю. Что-то я не заметила, чтоб муж к тебе приходил или пожрать послал бы. Лежи-ко давай... девушка!

— Во-первых, муж у меня есть, — равнодушно произнесла Натали. — А во-вторых, уж лучше без мужа, чем... Почему вы на всех злы? Почему...

— Ведь ее, балаболку, государство кормит, лечит, — перебила Анна Степановна. — Людей с высшим образованием к ней приставили. Убирают из-под нее, как из-под царицы. А она?

— Мало, видать, тебе бока мяли, — огрызнулась Вера Ивановна. — Ничего, ничего, и тебя доведут. Посмеюся я тогда. Вот ведь не могут тебя вылечить, не могут ведь! А ты молчишь!

— А меня и не вылечить, — спокойно отозвалась Анна Степановна, и ее неподвижный, устремленный вверх взгляд не дрогнул. — Если хочешь знать, так мне перед врачами стыдно. Тяжело им со мной. Им бы на меня рукой махнуть, а нельзя. Мне бы помереть, а я не умею...

После обеда, когда Вера Ивановна уснула, запосвистывала острым носом, запричмокивала бескровными губами, Анна Степановна сказала:

— Несчастливая она, если разобратся. Муж ее не уважает. А уважать ее, сама видишь, все одно, что острый камень на голой спине таскать. Вот и крутятся оба. Замыканная она вся. На других душу и отводит. Вроде бы отдыхает. И не разберешь, кто в чем виноват. Семейные жизни, они такие и есть — неразборчивые... Ты замужняя или нет?

— Не знаю. Скорей всего, нет.

— Понятно. Давай-ко рассказывай. Да не торопись. Времени у нас хватает.

И Натали, осторожно повернувшись в ее сторону, прижавшись щекой к подушке, начала рассказывать, как она жила, как вела себя...

4

Отец ее был бухгалтером, мать — хористкой в оперном театре.

Существовала Виолетта Яковлевна безалаберно, без всяких на то оснований считала себя красавицей и непризнанным талантом, часто пыталась испугать тихого, покорного мужа выпренными угрозами «уйти хоть куда, только бы не быть с таким под одной крышей» и еще чаще, еще выпрenneй обвиняла его в том, что он «искалечил мою, блестяще начавшуюся жизнь».

Петр Евгеньевич был книголюб и коллекционер. Приходя домой с каким-нибудь новым приобретением, он только и ждал, чтобы остаться одному.

Жена могла говорить ему что угодно, кричать, жестикулировать у самого его носа — он не обращал на это внимания.

Даже маленькая дочь не знала, как к нему подойти, и держалась от него в стороне, а когда подросла, то поняла, что это он сам держался в стороне ото всех и не хотел, чтобы к нему подходили. Он даже физически занимал немного места — обычно сидел за своим столиком в углу, поджав ноги. Спиной ко всем.

В начале войны театр перевели из областного центра в небольшой районный город, чтобы освободить место для эвакуированного крупного театра.

А через несколько дней после переезда провожали в армию Петра Евгеньевича. Он уходил на фронт добровольцем.

Виолетта Яковлевна раскричалась. Он ответил:

— Сейчас подло думать о своей шкуре. Отечество в опасности.

— Но там от тебя будет меньше пользы, чем...

— Молчи. Ты ничего не понимаешь.

Впервые он оборвал ее, и она даже испугалась.

Всегда он носил мешковатые костюмы, а тут в военной форме по росту Петр Евгеньевич оказался неожиданно стройным, высоким, подтянутым.

Перепуганная на вокзале шумом, гамом, духовым оркестром, Натали разревелась. Отец больно обнял ее, и она заплакала еще громче.

— Не забывай меня! — кричала Виолетта Яковлевна. — Помни, что я не переживу твоей гибели!

И вот, когда подступили настоящие беды, когда для того, чтобы выжить, потребовалось мужество, она словно сбросила с себя привычный театральный костюм, стерла грим и стала добрым, понимающим свое назначение человеком.

Жили они с дочерью в маленькой комнатухе, голодали, мерзли, болели, а — хорошо жили. Виолетта Яковлевна, раньше не умевшая толком пришить пуговицу, сейчас шила госпитальное белье, организовывала шефские концерты, руководила хором на бумкомбинате, в свободное время, то есть ночами, ходила в соседние деревни обменивать вещи на продукты.

С особенным удовлетворением она ощущала себя верной женой война.

А он, воин, надолго затерялся, от него не было ни одного письма.

И сразу — похоронная.

— Вот и кончилась моя жизнь, — сказала Виолетта Яковлевна. — Если бы кто-нибудь знал, как я страдаю!

— Я тоже, — сказала Натали и подумала, что незачем знать другим, как ты страдаешь.

— Боже!

— Но ты же не веришь в бога.

— Глупая, так говорят, когда очень переживают.

— Боже, — сказала Натали.

На какое-то время Виолетта Яковлевна постарела, осунулась, замкнулась и — обленилась. Все по дому делала Натали.

Но когда после войны театр вернулся в областной центр и они въехали в свою прежнюю квартиру, Виолетта Яковлевна за короткий срок помолодела, приделась и — вышла замуж.

Отчим — толстенький, низенький, начинающий лысеть тенор из филармонии — поразил Натали тем, что сам ходил на рынок и по магазинам, часто сам готовил обеды и брился только перед концертами.

Раньше, при отце, в дни зарплаты дома всегда был хоть маленький, да праздник — покупался торт или еще что-то. Сейчас даже праздники были буднями.

Когда же — очень редко — приходили гости, Натали заранее выпроваживали в соседнюю комнату, к столу не пускали, мать тайком приносила ей чего-нибудь полакомиться.

Вскоре Натали возненавидела отчима: он продал коллекцию марок и библиотеку ее отца. И чем больше она ненавидела отчима, тем больше любила (или жалела?) мать, которая стала тихой, кроткой, почти напуганной.

Как-то ночью, проснувшись, Натали услышала из соседней комнаты голос отчима:

— Почему ты скрыла это от меня?

— Я надеялась... — шептала мать с отчаянием. — Я думала...

— Думала! Надеялась! Мне нужен мой собственный ребенок!

— Я еще схожу в больницу... может быть...

— Что — может быть? Родила же ты эту...

Натали больно зажала уши руками.

А мать стала еще напуганней. Из театра она ушла, поступила в столовую кассиром.

Когда Натали заканчивала семилетку, отчим как-то сказал весело:

— Выбирай техникум. — И ласково объяснил: — Там дают стипендию. Деньги.

— Я хочу учиться в школе.

— Какая разница? — умоляюще спросила Виолетта Яковлевна. — А в техникуме...

— Дают стипендию, — уже жестко повторил отчим и постучал кулачком по столу. — Деньги!

Ей было все равно — техникум или школа, но после этого разговора она решила: будь что будет, а в техникум она не пойдет.

Так она и заявила отчиму на следующий день.

— Да? — спросил он и усмехнулся. — Слушай. Ты еще глупа, но, может быть, у тебя хватит ума...

— А у тебя грязные руки, — перебила Натали. — Он погиб за Родину, а ты продал его книги.

— И дурацкую коллекцию, — спокойно, даже с достоинством добавил отчим. — И за хорошие деньги. Деньги эти проедает кто? Я? Нет. Ты. На какие деньги ты кушаешь? Ты никогда не думала над этим? И вообще! — Отчим сжал кулачки, постучал ими друг о друга. — Пока человек не умеет зарабатывать деньги, он не имеет права рассуждать и поступать по-своему. Сначала научись зарабатывать, потом можешь иметь свой аспект, то есть точку зрения. И вообще! Не заставляй меня применять меры. Изволь делать то, что я тебе рекомендую. Запомни раз и навсегда: все ерунда, кроме денег. Денег! — радостно выкрикнул он. — Без них я что такое, например? Нич!То! Пустота. Нуль! А с ними я — человек. И ты можешь стать человеком, то есть жить разумно, правильно, экономно, с пользой для себя.

Пытаясь его понять, Натали слушала внимательно, и отчим разговорился:

— Ты пойми: со всех сторон человека подстерегают беды и опасности. Со всех сторон. Кругом беды. Что делать? Как спастись? Как гарантировать себе спокойствие? А? — И он ласково ответил: — Деньги, деньги, деньги. С ними я почти ничего не боюсь. Более того! — Он постучал кулачками друг о друга. — Они избавляют меня от одной неприятной необходимости. Имея их, — почти пропел он, — я могу не думать. Понимаешь? Могу не думать! Они думают за меня. Они дают мне советы. Они учат меня. Они умные. — Голос его приобрел торжественность. — Они все знают. Они даже знают, кого уважать, кого презирать, кого ненавидеть. В любую минуту, когда мой разум не может дать уверенного ответа, я могу спросить их: «А что вы мне посоветуете делать? Как по-вашему?» И они ответят. И это будет правильный ответ. — Голос отчима стал хриплым от волнения. — И чем больше денег, тем они, вернее, тем я, их обладатель, умнее. Понимаешь? Постарайся понять. И ты будешь жить хорошо... — Он устало сел, тыльной стороной ладони отер вспотев-

ший лоб. — Значит, ты поступаешь в техникум, получаешь ежемесячную стипендию, а через четыре года ты — самостоятельный человек и получаешь право возражать мне. А пока будь любезна подчиняться.

— Учиться в техникуме я не буду. Принципиально.

— Посмотрим.

— Не буду.

— Посмотрим, я сказал. Как бы твоя судьба не стала такой же нелепой, как твое имя. Натали Петровна!

— Не я выбирала себе имя.

— Но судьбу ты можешь выбрать сама.

— Не могла же я назвать свою дочь, например, Настей?! — словно очнувшись, Виолетта Яковлевна всхлипнула.

— Разговор окончен, — тихо и холодно произнес отчим. — Пока я здесь хозяин. А ко всякого рода несовершеннолетним можно применить элементарные меры наказания.

— Например? — с вызовом спросила Натали.

— Например, снять штаны и выпороть, — объяснил отчим.

Она выбежала на улицу, сбросила валенки и в одних чулках стояла на снегу, пока к ней не подскочила Виолетта Яковлевна.

— Дурочка, дурочка, дурочка, — бормотала она, всовывая ноги дочери в валенки; выпрямилась, тяжело дыша. — Тебе уже пора понять: Иосиф Иванович твой отец, ты обязана...

— Мой отец погиб на фронте, — мерзлыми губами выговорила Натали. — А этот жирный, безголосый, бессовестный...

Пощечина оглушила ее. Натали стояла с закрытыми глазами. Откуда-то доносился голос матери:

— Хотя бы ради меня...

— Как тебе не стыдно? — прошептала Натали.

— Молчи, молчи. Ты ничего не понимаешь. У тебя нет сердца. Ты...

— Идем. Я понимаю все.

Несколько дней, после того как прошло воспаление легких, были для Натали самыми счастливыми за последнее время. Ничего уже не болело, просто она ослабла, с удовольствием лежала в просторной и теплой палате и читала.

И думала.

Она очень боялась встречи с матерью, но встреча оказалась непринужденной и радостной; они обнялись и поплакали. Натали спросила:

— А у меня будет брат или сестричка?

Виолетта Яковлевна даже не удивилась вопросу, ответила скорбно:

— Нет. Никогда.

— Но ведь он будет сердиться из-за этого.

— Нет, он умный, он понимает, что если врачи не советуют, то... А тебе рано рассуждать на подобные темы.

— Я еще спрошу. За что ты его терпишь? Неужели любишь? Объясни, мне будет легче его... переносить.

И мать сразу стала прежней — робкой и напуганной, пробормотала:

— Подрастешь, я тебе все расскажу.

Домой Натали вернулась исхудавшей и уже какой-то другой.

— А ты изменилась, — сказал отчим. — Надеюсь, что в лучшую сторону.

Она встретила умоляющий взгляд матери и промолчала. И так теперь случалось каждый раз: только Натали собиралась ответить отчиму, как встречала умоляющий взгляд матери. И жалела ее.

— Давай подведем итоги твоего последнего поступка, — через несколько дней сказал отчим. — Ты здорова, тебя можно немного и поволновать. Для чего ты выкинула этот трюк? Не надейся отделаться молчанием. Отвечай.

— Ты же сама говорила мне, что раскаиваешься, — подсказала Виолетта Яковлевна.

И когда отчим раздраженно зашевелил губами, Натали ответила:

— Да. Я раскаиваюсь.

— Ты врешь, — удивленно протянул отчим, — это очень хорошо. Значит, ты способна подчиняться. Значит, ты поступаешь в техникум.

— Нет. Я буду учиться в школе.

— Ты не учитываешь одного: у меня лопнет терпение и...

— А ты не учитываешь, что я скоро получу паспорт и...

— Ну и что?

— Увидишь.

Отчим сам написал за нее заявление, сам отнес документы в механический техникум, посадил падчерицу перед собой и заговорил:

— Слушай. Ты плохо кончишь, если...

Виолетты Яковлевны не было дома, и Натали сказала:

— Ее ты чем-то запугал. Она тебя боится. А я тебя не боюсь. Нисколько.

— Вот как? — деловито удивился отчим. — Но ведь я могу поступить просто: я не дам тебе ни крошки хлеба. Об этом ты думала?

— Лучше будет, если ты от меня отстанешь.

Натали получила паспорт, продала почти все свои вещи, купила пишущую машинку и поступила на курсы стенографии.

Отчим остался доволен.

— Собственность, — с уважением произнес он, погладив футляр. — На такой вариант я согласен. Посмотрим, что последует дальше.

Днем Натали училась в школе, вечером — на курсах, ночами готовила уроки и осваивала пишущую машинку.

Подруг у нее не было. Одноклассницы казались ей девочками, до раздражения беззаботными, она чувствовала себя намного взрослее их, ее интересы были им недоступны. А она дер-

жалась неестественно, пытаясь то подражать сверстницам, то совершенно отдаляясь от них.

Настало время, когда она бросила на стол свой первый заработок. Не прикоснувшись к деньгам, улегшимся веером, отчим безошибочно определил:

- Триста двадцать два рубля.
- И шесть копеек, — добавила Натали.
- Ты молодец. Я ошибся в тебе.
- Ты меня еще узнаешь.

И она, чтобы доказать ему свое презрение к деньгам, работала и работала, отдавая немаленькие суммы — с болезненным наслаждением. Она просто ждала дня, когда могла швырнуть на стол деньги. Впрочем, она могла швырять их и на пол — отчим спокойно бы нагнулся и подобрал их.

К лету Натали так вымоталась, что после экзаменов слегла. Почти месяц пролежала она, а когда встала, то заявила:

- Я еду путешествовать.
- Зачем? — испугалась Виолетта Яковлевна. — Куда?
- Не знаю. Далеко-далеко.
- Я не дам тебе ни копейки! — из кухни крикнул отчим.

Натали рассмеялась, сказала:

— Теперь я имею право рассуждать и поступать по-своему, потому что уже умею зарабатывать.

— Не надо воспринимать эту мысль буквально, — пролепетала Виолетта Яковлевна. — Как-то у тебя все получается... не так.

Собрать деньги на поездку удалось лишь после окончания десятого класса: не было времени подрабатывать, надо было учиться.

— Куда же ты теперь? — спросил отчим. — Конечно, в институт? А зачем? Учиться можно и заочно.

Натали не ответила, и он всплеснул руками, воскликнув:

- В кого ты такая?
- Во всяком случае, не в тебя.

Стоя в очереди за билетом, Натали еще не знала, куда поедет.

И взяла билет до Москвы.

Виолетта Яковлевна смотрела на дочь тоскливыми, виноватыми глазами.

— Предупреждаю, — сказал отчим, — если с тобой что-нибудь случится, домой не возвращайся. Не приму.

— А что со мной может случиться?

— Что! — Он хмыкнул. — Таких дурочек специально ловят разные... любители. Потом бросают. После использования.

— Какого использования?

— Будь осторожна, — сказала Виолетта Яковлевна, опустив глаза. — Ты еще ребенок.

— Ребенок! — Отчим рассмеялся деланным смехом и взглянул на грудь Натали.

— Да, я не ребенок, — скорее разочарованно, чем возмущенно проговорила Натали. — Но ничего со мной не случится. — И, увидев жалкий, тоскливый взгляд матери, спросила горячо, вернее, не спросила, а позвала: — Поедем, мама, вместе? А?

— Ну! Ну! Ну! — Отчим трижды стукнул кулачком по столу. — Не болтай ерунды! Бросать деньги на ветер!

Натали вытащила из сумочки сторублевую бумажку, показала ее отчиму, подошла к окну, протянула руку и разжала пальцы.

— Психопатка, — сквозь зубы процедил отчим, сел, но сразу же вскочил и выбежал из комнаты.

— Зачем ты это? — с укором спросила Виолетта Яковлевна.

— А ты зачем? — с болью спросила Натали. — Зачем мы живем с этим? Ведь ты...

— Замолчи! — беспомощно вскрикнула Виолетта Яковлевна и прошептала: — Прости меня за все...

Отчим вернулся радостный, запыхавшийся, возбужденный. Он бормотал, не торопясь положить сторублевку на стол:

— Понимаете, все идет мимо, а ее ветерком гонит, и никому в голову не придет, что это — деньги! А тебе надо лечить нервную систему. Таким образом ты скоро можешь оказаться знаешь где?

Виолетта Яковлевна сказала глухо:

— Ты опоздаешь на поезд.

— Ничего, мама, я успею.

— Она успеет! — насмешливо, многозначительно воскликнул отчим и со вздохом положил сторублевку на стол, не убрав, впрочем, руки.

— Можешь взять себе, — устало предложила Натали.

— Могла бы сказать повежливее. — И отчим сунул деньги в карман, вздохнул облегченно. — Вернешься — я займусь твоим воспитанием.

— Я поступлю в педагогический и буду жить в общежитии.

— Сказочный вариант!

А Натали смотрела на отвернувшуюся к окну мать, высохшую, робкую, до боли свою и одновременно чужую, и думала: «Как же мне спасти тебя?»

— Иди, иди, иди, иди, — заторопил отчим.

Ушла Натали, как уходят не очень званые гости — вроде бы и приглашают заходить еще, да только потому, что уверены: больше не зайдут.

И, уже закрывая дверь, она подумала: «А не остаться ли? Вдруг без меня...»

За дверью послышалась возня, приглушенный спор, всхлипывания; дверь открылась, мелькнуло лицо матери, и отчим спросил:

— Ну?

— Не думай обо мне плохо, — из-за его спины просила мать, — я предчувствую, что мы больше...

— Старческая сентиментальности! — крикнул отчим и ушел. Натали обнимала мать, бормотала:

— Если хочешь, я останусь. Я же не знала, что тебе так плохо. Давай я останусь, а?

— Нет, нет. Ты поезжай. Ты обязательно поезжай. Тебе надо съездить. Это лучше. А у меня пройдет.

Натали постояла в подъезде, словно что-то не отпускало ее. И вместе с тем она понимала, что возвращаться нельзя.

И она пошла по улице, размахивая портфелем, в котором уместились все ее вещи.

Шагалось легко.

Да ей просто не хватало воздуха: рядом с отчимом даже дышать надо было экономно.

Так часто бывает — требуется освобождение, чтобы оценить ужас плена.

А когда застучали колеса поезда, у Натали чуть-чуть закружилась голова. Впервые ее лицо овеял ветер дороги, и она понимала, что теперь будет тосковать по нему.

Она была молода, она еще не знала своих сил, которые смутно, сладко и стыдно тревожили ее, но не пугали пока. Она только догадывалась о том, что ей предстоит испытать. Предчувствия были радостны и светлы, и если бы кто-то сейчас предсказал Натали то, что ей суждено пережить, она бы просто не поверила...

Все смотрели на нее с улыбкой — такой у нее был взбудораженный вид, а высокий парень в черной рубашке, кудрявый и голубоглазый, встал рядом и спросил:

— Впервые? Да?

Натали кивнула, улыбнулась ему и еще раз кивнула.

— В Москву?

— В Москву, — с наслаждением выговорила она и повторила: — в Москву, впервые.

— Одна?

— А что?

— Любопытно.

Глаза у парня были задумчивые, даже чуть грустные, а разговаривал он весело.

— Почему любопытно? — спросила Натали. — Вы ведь тоже один.

— Я один, — уж совсем грустно сказал он, а она неизвестно отчего покраснела. — Я большой, а вы еще цып-цып-цып... Понятно?

— Нет, я не цып-цып-цып, — серьезно возразила Натали, немножко обидевшись. — Я уже имею право рассуждать и поступать по-своему.

— Да ну?

— И не смейтесь, пожалуйста.

— Я, в общем, не смеюсь. Вы учиться?

— Учиться, учиться, — соврала Натали, потому что не смогла от неожиданности придумать ничего более правдоподобного, и опять покраснела. — Вернее, попытаться.

— Куда?

— Мне бы хотелось в педагогический.

— Это вам не подойдет.

— Ну почему?

— Рост маленький. Дразнить ученики будут. Авторитета не завоевать.

Натали ответила серьезно:

— Завоюю.

Парень кивнул.

— А вы учиться? — спросила она.

— Нет. Просто так. По Москве побродить.

Ей было хорошо стоять рядом с ним. Головой она едва доставала ему до плеча, — чтобы слышать ее шепот, он наклонялся, — и это было еще приятнее.

Потом она с блаженством пила чай. Ее забавляло все: и то, что он плещется, и то, что она обжигается, и то, что можно заказать столько стаканов, сколько хочешь. А главное — она одна, впервые в жизни сама себе хозяйка. Натали даже хихикнула несколько раз.

А парень был грустный и улыбался лишь тогда, когда встречался с ней взглядом, и улыбка была тоже невеселой.

— Приятно на вас посмотреть, — сказал он. — Радостная вы до предела.

Они снова встали у окна.

— Звать вас как? — спросил парень. — Меня — Виктор.

— А меня... — Она помолчала, раздумывая — соврать или не соврать, и ответила с отчаянием: — а меня прозвали Натали. Вот как!

— А что? Красивое имя.

— Красивое, красивое, — насмешливо согласилась она. — Представляете — Натали Петровна!

— Ну и что? Вот если у меня родится дочь, я обязательно назову ее Настей. А если сын — Степа. Но и Натали — совсем неплохо. И очень переживаете?

— Иногда — ужасно!

— Зря. Кстати, вам идет это имя.

Встречный состав прогромыхал, казалось, по крыше вагона. Натали долго ждала, пока не затихнет.

Виктор молчал.

Она спросила, подавив робость:

— Почему вы невеселый?

— Нет, я в принципе веселый, — грустно отозвался он. — Был веселый.

А ей захотелось провести ладошкой по его льняным кудрям. Она устыдилась этого желания и отвернулась. И сколько ни пыталась смотреть в окно, придумывать фразы под стук колес, а —

думалось о Викторе. Ей верилось, что она может помочь ему чем-то, только не знала, чем.

И сказала опять с отчаянием:

— Вы странный.

— Обыкновенный я, — сказал Виктор. — Самый что ни на есть обыкновенный. А мечтал быть, представьте себе, незаурядным. Личностью мечтал стать. А превратился... — Он махнул рукой.

— Почему вы о себе говорите в прошедшем времени?

— Нет, вы все-таки цып-цып-цып. — Виктор рассмеялся и провел ладонью по ее волосам, и Натали закрыла глаза. — Подрастете, поймете кое-что, можно будет с вами о жизни философствовать.

Когда она пришла в себя от его прикосновения, Виктора рядом не было. Натали всполошилась. Она жалела его, и жалость оказалась неожиданно острой. «Я должна помочь ему, — торопливо думала Натали, — я могу ему помочь, только не знаю — как!»

И все вместе — и то, что она впервые ехала одна, и стук колес, и воспоминание о том, как его ладонь прикоснулась к ее волосам, и то, что в сердце была жалость, и желание сейчас же увидеть его, — все это было радостно и тревожно. Все было впервые.

И когда Виктор подошел, Натали призналась:

— А я ждала вас.

Глаза его стали еще грустнее, он сказал:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что ждали.

Она недоуменно пожала плечами, и Виктор проговорил:

— Это вы странная, а не я.

— Я не странная, — сказала Натали, — я просто нелепая. Да, да. У меня как-то глупо все получается. То есть не глупо, конечно, а... Когда папа ушел на фронт...

И Натали впервые в жизни рассказала о себе. Рассказывая, она не смотрела на Виктора, даже вроде бы и забыла о нем, хотя каждым словом обращалась к нему.

— Мне жаль маму, — устало заканчивала она, — и себя жаль. У всех есть дом, а мне противно приходиться туда. И я часто слоняюсь по улицам, чтобы прийти домой позднее, быстрее что-нибудь съесть на кухне и — в свою комнату. Но и там плохо. Только когда с головой накроюсь одеялом, тогда я одна. А утром я убегаю.

— Давай на ты, — предложил Виктор. — И пойдем в тамбур.

А была уже ночь.

— Да, никакая ты не цып-цып-цып, — сказал Виктор. — Поставь в институт, лучше, конечно, в Москве, будешь жить нормально.

— А мама?

— А ей еще хуже, когда ты рядом. Со мной примерно то же самое было. Только у меня мачеха. И отцу было стыдно передо мной. Она помыкала им.

— Ты ушел от них?

— Отец умер. А мачеха просто попросила меня удалиться. Я тогда техникум заканчивал. Дали место в общежитии.

Поезд летел под звездами. Небо слилось с землей.

— А как ты дальше жил?

— Да вот так... История у меня получилась. Надо мне жениться, то есть вынужден я жениться.

— Вынужден?

— Даже и не знаю, как это получилось. В общем, она ждет ребенка. А я ее не люблю.

— А я думала, что это бывает только из-за любви.

— И я так думал, а получилось... Ну, понимаешь... я один... Ни отца, ни матери. Никаких даже родичей. А она по-доброму ко мне подошла, по-хорошему. Рубашку мне однажды выгладила, а я чуть не в слезы... ну и...

— А она-то тебя любит?

— Да ведь смотря что понимать под словом любовь. Она считает, что любит.

— Ты много куришь.

— Да вот разоткровенничался, разволновался... не знаю зачем.

— А я? Я ведь тоже все рассказала. Мне тут подумалось, когда ты уходил, что я могу тебе чем-то помочь. Только не знаю чем.

— Интересно. — Виктор помолчал. — Нет, ничем и никто не поможет.

Вслушиваясь в тихий голос, Натали почувствовала тяжесть своей груди, испугалась, обрадовалась... Было это с ней впервые.

И вдруг Натали пришло в голову: а ведь она может полюбить. Очень просто: влюбиться и — все! И он ее полюбит. И будет счастье.

Они слишком быстро и откровенно рассказали друг другу о себе, были еще совсем чужие, но уже что-то сблизило их, они застыдились этой близости и молчали.

Натали замерзла.

«Дурочка ты, дурочка, — пронеслось в голове, — забудет он о тебе завтра же... А ты?»

— Пора спать, — сказал Виктор.

Устраивая постель, Натали больно ударилась лбом о верхнюю полку, а Виктор шепнул:

— До свадьбы заживет.

Она, не раздеваясь, забралась под одеяло и расплакалась. Сначала она подумала, что плачет от боли и обиды, но оказалось — от радости. И еще ей было стыдно. И она ничего не понимала.

А тут вдруг стук колес стал тревожным.

Натали словно лишь сейчас осознала, что едет одна, едет в Москву, что дома отчим, а глаза у мамы тоскливые; что, когда стоишь рядом с Виктором, приятно и стыдно...

И уснула.

В Москву поезд пришел рано утром. Теплое солнце только-только поднялось.

Москва... Сначала она подействовала не своим обликом, а самим сознанием, что это — вот это! — Москва.

Натали стояла на привокзальной площади. Стояла и смотрела. Она еще не успела оглядеться, а уже переживала чувство, которое можно назвать чувством Москвы. Самое яркое ощущение, вызываемое им, состоит в душевном очищении: душа твоя светлеет, отбросив все будничное, мелкое.

До вечера бродила Натали по Москве, узнавая и не узнавая ее: это была живая Москва, а не картины и фотографии. Она оказалась и скромнее, и величественнее.

Красная площадь поразила уютностью, и даже Спасская башня выглядела не очень огромной. Так всегда бывает, когда впервые видишь значительные по своей сути вещи, — в твоём сознании их значительность невольно связывалась с внушительнейшими размерами.

О Викторе Натали вспоминала с грустью и недобрим предчувствием. Она нисколько не сомневалась, что вот-вот они встретятся, и почему-то боялась этой встречи.

Расстались они в поезде странно. Натали сказала «до свиданья», думая, что он предложит сойти вместе, а он ответил «всего хорошего», даже не взглянув в ее сторону, и она ушла одна.

Сейчас она уже не понимала, как могла обижаться на него... «Видимо, я очень глупая, — подумала она. — Ничего-то я не понимаю. Действительно, цып-цып-цып».

За день Натали не догадалась поесть, и у нее неожиданно подкосились ноги.

Она купила кусок колбасы, булку и, усевшись на скамейке в сквере около Большого театра, принялась громко и радостно жевать. Сидевшая рядом усатенькая старушка морщилась, вздыхала, всем своим видом показывая предельное возмущение.

— Хорошо поела, — сказала ей Натали и почти сразу же заснула, свесив голову на грудь, опустив руки. Сон продолжался недолго — может быть, всего несколько секунд, но она проснулась отдохнувшей, потянулась и легко вскочила.

Нет, она не подумала, что это ей снится, и все-таки это было похоже на сон: она в Москве!

И уже не верилось, что есть на свете такое существо, как отчим, и уже верилось, что она спасет маму от него. И еще верилось, что они встретятся с Виктором и встреча эта будет какой-то особенной. Она многое изменит в жизни Натали.

Неожиданно она вышла на Красную площадь.

— Вот мы и встретились...

— Вот так встреча... — радостно и растерянно пробормотала Натали.

— Ничего особенного, — грустно ответил Виктор. — Гора с горой не сходятся, а человек с человеком, да еще в Москве, да на Красной площади...

— Я все бродила, бродила... потом есть захотела... чуть не уснула... Я думала, я ее знаю, а она совсем не такая...

— Ты где остановилась?

— Как — где? Вот тут. Перед вами. То есть перед тобой.

— Ночевать где будешь?

— Не знаю.

— Да-а, — протянул Виктор, словно она сообщила ему что-то очень печальное.

— Да ну! — отмахнулась Натали. — Пойдем лучше знаешь куда? В ресторан! Ни разу в жизни не была. А?

— Вино пить будешь, водку, коньяк или ликер?

— Пить я буду чай или какао, — строго сказала Натали. — Я попрошу вас с шуточками ко мне не относиться. Я не цып-цып. Ясно?

— Ясно. — Виктор грустно усмехнулся. — Ты еще узнаешь, как я к тебе отношусь.

## 5

Поздно вечером пришла сияющая нянечка и принесла записку:

«Натусь! Сегодня вернулся из командировки. Съездил удачно. Буквально только сейчас узнал о твоём несчастье. Крепись. Напиши, что тебе принести из продуктов.

*Игорь».*

— От кого? — спросила Вера Ивановна.

— Хотите почитать?

Она почти выхватила записку, впилась в нее взглядом, разочарованно протянула:

— Он, видать, ничего...

— Обходительный, — с гордостью сказала нянечка. — Чистый такой, нарядный, вежливый. Ответ давай пиши.

— Скажите ему, — тихо проговорила Натали, — что... что я писать не могу и мне ничего не нужно.

— Ты что?! — Анна Степановна с трудом, морщась, повернула лицо в ее сторону. — Разве можно?

— Он к ней по-человечески, а она, смотрите на нее, что вытворяет! — Вера Ивановна уставилась на Натали почти с ненавистью.

— Охо-хо. — Нянечка вздохнула. — Чего только здесь не наглядись! Пойду, посоветую ему, чтоб витаминов принес.

— Вот такие и портят мужиков, — бормотала Вера Ивановна. — Ты над ним воображаешь, а он потом на другой злость срывать будет.

Долго молчали.

— Рассказывай дальше, — попросила Анна Степановна. — Пошли вы, нет в ресторан-то?

## 6

Мороз пробежал по коже, когда Натали шагнула в распахнувшуюся перед ней дверь ресторана.

Седобородый швейцар с мудро-плутовской улыбкой, не пошевелившись, машинально произнес:

— Милости просим.

— Здравствуйте, дедушка, — дрожащим от необыкновенного ощущения голосом сказала Натали, а Виктор больно дернул ее за локоть.

Они медленно поднимались по широкой, из белого мрамора лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, а сверху к ним спускались тоже Натали в синем платье, перехваченном пояском, и тоже высокий кудрявый парень в черном костюме.

— Зеркало это, зеркало! — воскликнула Натали и рассмеялась так звонко, что Виктор за руку оттащил ее в сторону.

Они оказались в низком коридоре, вдоль стен которого стояли кушетки.

— А если обратно? — испуганно спросила Натали. — Куда-нибудь в столовую?

— Да я и обратной дороги не помню.

Так они и стояли, пока не услышали звуки оркестра, прошли еще вверх по лестнице к раскрытым дверям.

Большой зал с колоннами и множеством длинных окон, занавешенных белыми шторами, музыка, приглушенный гомон, вся необычность обстановки действовали на Натали возбуждающе.

— Идем, идем, — заторопила она.

Один столик в углу был свободен, и Натали бросилась к нему почти вприпрыжку.

Когда уселись, Виктор, гордый от страха, сказал:

— Нельзя тебя пускать в приличное общество. Манер, как говорится, у тебя нет.

А Натали была готова петь или хохотать — ей нравилось здесь все: как в кино! Она вертелась на стуле во все стороны, даже заглянула под стол, потрогала все тарелочки, салфетки, пепельницу, понюхала цветы в вазе.

— Выведут тебя отсюда с позором, — пригрозил Виктор, — и поесть не успеешь. — Он долго изучал меню, поданное презрительным молодым официантом, сокрушенно качал головой, хмыкал, наконец вздохнул: — Ну что ж, будем питаться.

Ждали не меньше часа. Виктор молча курил, но Натали не скучала, разглядывала танцующих, притопывала ногами, кому-то улыбалась.

— Цып-цып-цып, — сказал Виктор, — дите невоспитанное.

— Давай чокаться! — предложила Натали и так стукнула фужером с минеральной водой по фужеру Виктора, что с соседних столиков оглянулись. А она хихикнула.

— Знаешь, это ты невоспитанный, — сказала она почти серьезно. — Сидишь мрачный, со мной не разговариваешь.

— Поводов веселиться у меня нет.

— Ну и что? Я вот про все забыла. Вернусь домой, а там... Вообще! — Она постучала кулаками друг о друга. — Я бы ушла в общежитие, но боюсь оставлять маму с этим.

— Я бы тоже с удовольствием остался в общежитии.

— Скажи... неужели ты... будешь жить... вот так?

— Да, вот так, — раздраженно ответил Виктор. — За ошибки надо расплачиваться. Ешь.

Зато уж ела Натали — весело! На переносице выступили капельки. Виктор совсем помрачнел и, приступая к компоту, проговорил будто с осуждением:

— Кормят будь здоров.

Блаженная истома овладела Натали. Она сидела, уткнувшись локтями в стол, полузакрыв глаза, слушала музыку. Сидеть бы вот так и сидеть...

— Вот что, — резко сказал Виктор, — должен я с тобой поговорить. Ты что, с ума спятила? Одна приехала в Москву, остановиться тебе негде.

— Не надо, — с закрытыми глазами попросила Натали. — Знаешь, как мне хорошо...

— Но соображать-то все-таки необходимо. Существо ты симпатичное, не очень обычное. Привлекательное, — с раздражением говорил Виктор. — И вот попала в ситуацию. О чем ты думаешь?

— Предположим, о тебе, — вырвалось у Натали.

— Я с тобой серьезно разговариваю. Денег у тебя, верно, кот наплакал, а...

— Подожди, — ледяным тоном остановила Натали. — При чем тут деньги?

— При чем тут деньги! — еще резче продолжал Виктор. — При всем! Знаешь, например, сколько здесь каждый кусок, каждая ложка стоит? Что одна без денег делать будешь?

— Подожди, подожди. Ты тоже считаешь, что со мной может что-то случиться?

— Конечно. Таких дурочек...

— Специально ловят такие, как ты? А потом жалуются, что вынуждены жениться?

И не успел растерявшийся Виктор ответить, как она шелкнула замком сумочки, бросила на стол деньги и побежала.

На лестнице она несколько раз споткнулась.

Седобородый швейцар взглянул на нее все понимающими

глазами, улыбнулся мудро-плутовской улыбкой, не осуждающей и не прощающей, и чуть-чуть приоткрыл дверь.

Натали выскользнула на улицу, увидела такси и села в кабину.

— Куда?

— Хоть куда. Мне прокатиться.

— Понятно.

Машина будто плыла — плавно, без толчков.

— Приезжая? — спросил шофер, и только тут Натали взглянула на него — немолодой мужчина с густыми лохматыми бровями. — А чего в ресторане делала?

— А что в ресторане делают? Ела. Ничего, вкусно.

— Заметно, что хорошо... поужинала.

— А почему вы на «ты»?

— Потому, что старше тебя. Чего в ресторане делала?

— Я сказала: ела.

— Одна?

— А вам что?

— Да так. Откуда приехала?

— С Урала.

— Зачем?

— Москву посмотреть.

— Ну и как? Понравилась Москва?

— Вы знаете... — Натали повернулась к шоферу. — Очень. — Помолчала и повторила: — Очень.

— А ночуешь где?

— Почему-то всех интересуется, где я ночую.

Они ехали по узким темным улицам, где почти не было машины, прохожих и только в редких окнах горели огни.

— Ночевать где собираешься, спрашиваю.

— Не знаю.

— Интересно.

Машина вылетела на широченную улицу и поплыла в потоке автомобилей.

Огней-то, огней!

И радостно было Натали, и тоскливо. Даже — нехорошо. Она и не заметила, как перестала смотреть по сторонам, застыла в напряженной позе, вдавившись в спинку сиденья.

— А как тебя одну в Москву отпустили? — спросил шофер. — Ну, я понимаю, если учиться, а то — рестораны... такси вот.

— Ничего вы не знаете. — Натали обрадовалась, что шофер снова заговорил. — Понятия обо мне не имеете, а рассуждаете.

— Родители у тебя есть?

— Мама. И отчим.

— Отец где?

— На войне погиб.

— Вот что, — сумрачно заключил шофер. — Мне в гараж пора. Да и счетчик хорошо поработал. Куда сейчас прикажешь?

— С вами до гаража. Все равно мне деваться некуда.

— Выгодный клиент. Первый раз у меня так...

Из гаража вышли уже в первом часу.

— Куда сейчас, клиент?

— На вокзал куда-нибудь.

— На вокзал куда-нибудь, — проворчал шофер. — Ну, девка... Я бы тебя к себе позвал, да сестра у меня... злюка. Прямо почти зверь. Да и подумать может черт-те что. И отпустить тебя вот так не могу. Девушка ты вроде бы хорошая, а глупостей натворить можешь.

— Ну и что?

Шофер был невысокого роста, широкоплеч, шагал грузно, опустив голову в мятой шляпе, заложив руки за спину.

— Ничего, — ответил он. — Только лучше глупостей не делать. Вот я, к примеру, на кой черт связался с тобой?

— Могу уйти.

— А я вот не могу тебя отпустить. Не могу я ночью человека не пожалеть. Я беспризорником рос. Запомнил, как плохо ночью без крыши. Едешь по Москве ночью и кого только не подберешь из жалости и укаатишь в самом невыгодном направлении...

Вспоминая потом свои приключения, Натали пыталась догадаться, почему она действовала не раздумывая. Наверное, потому, что даже усилием воли не могла убедить себя, что кто-то здесь, в Москве, может ее обидеть.

Они с шофером забрели в какой-то темный переулок, вошли в тускло освещенный подъезд.

Шофер поднимался по лестнице, что-то бормоча под нос.

— Если вам неприятно... — начала Натали, но он даже не оглянулся, топал все выше.

Дверь открыла заспанная женщина в коротком халате, улыбнулась испуганно.

В кухне шофер снял пиджак, засучил рукава и долго мылся под краном.

Натали стояла у окна и смотрела на крыши, освещенные бледным лунным светом.

— Пошли, — коротко позвал шофер, толкнул дверь плечом.

Комната была большой, почти без мебели: словно сюда еще не переехали или, наоборот, начали уезжать и часть вещей уже отправили.

Женщина переделалась в платье, тоже короткое, открывавшее круглые розовые колени.

— Соня. — Она протянула руку и улыбнулась.

— Какая вы красивая, — сказала Натали, а шофер сказал, садясь за стол:

— Ей ночевать негде. — И начал есть.

— А ты есть не хочешь? — спросила ее Соня.

— Она в ресторане напилась. — Шофер хмыкнул.

— Тогда я чай поставлю... Я уж спала, — словно оправды-

ваясь, говорила Соня. Двигалась она с ленивой грацией женщины, привыкшей, что на нее смотрят.

— Жалко мне стало эту дурочку, — сказал шофер.

— Места много, — Соня улыбнулась, — устроимся. А мне, — в голосе ее проскользнули тоскливые нотки, — веселее будет. И Натали вдруг поняла, что эти двое что-то тяжело переживают, мужественно скрывая друг от друга боль.

— Можно, я умоюсь?

Она вышла, в полутемноте подошла к раковине, открыла кран и задумалась... Сколько ей внушали мать и отчим, что надо бояться людей! А они, люди... В чужом городе, среди незнакомых, чужих ей легче, спокойнее, чем дома.

Когда она вернулась в комнату, шофер и Соня сидели в тех же позах.

— Ладно, — произнес он, вставая, — мне пора.

— Чаю хоть выпей, — тоскливо и тревожно попросила Соня.

Он прикоснулся рукой к ее плечу, отрицательно покачал головой и ушел.

А она расплакалась.

— Сестры он боится, — сказала Натали. — Она у него злюка. Он мне сам рассказывал.

Соня улыбнулась сквозь слезы, вытерла лицо платком, машинально взялась за пудреницу, тут же поставила ее обратно, проговорила:

— О сестре он сочинил. Жена у него злюка.

— Жена? А вы ему кто?

— Не знаю. Никто я ему.

— Неправда.

— Откуда ты знать можешь?

— Вижу. Если бы вы ему никто были, он бы к вам не так относился.

— А как он ко мне относится, по-твоему?

— По-моему, замечательно.

Соня вздохнула и, помолчав, сказала:

— Может быть. Давай-ка спать.

И только удобно вытянувшись в постели, Натали вдруг разволновалась: а что случилось бы, где бы она сейчас была, если бы не встретила шофера?

— Плохо они живут, — донесся до нее голос Сони. — Она больная. Нервы. Конечно, она не виновата. Но уж очень ему плохо.

— А вам?

— Не видишь разве? А он хороший. Заметила? И не может другим быть. Хуже нет, когда вот с таким вот встретишься. Ему подлости хоть чуточку бы да мне столько же... и можно было бы себя обмануть. Ко мне бы ушел совсем... А вот такой, какой он есть, это он. Мучаюсь я с этого. И муки у меня прямо горькие. Всю жизнь он мне перевернул.

За окном мутнел рассвет.

Натали слушала тихий, вроде бы спокойный голос и встревоженно думала: «А что меня ждет? Я кого встречу?»

— Иной раз я уж спрашиваю себя: может, лучше бы нам и не встречаться было? Не знакомиться? А иногда, то есть почти всегда, радуюсь все же. Ведь меня будто вымыло всю. Будто душу в родниковой воде прополоскала. Стыдно вспомнить, как я сначала смеялась над ним, считала, что не таким мужчиной должен быть. Не действовали на него мои усмешечки разные. А теперь меня не узнать. А жена его... я ее, конечно, ненавижу, но ведь... не любит он ее!

— А она его?

— Вот поживешь — поймешь, что любовь-то иногда хуже злобы бывает. Какая же это любовь, когда она прямо изводит его? На футбол даже не отпускает. Как начнет он мне рассказывать, чего у них дома творится, я потом спать не могу. И знаю: он ее не бросит.

— Почему?

— Вот такой он, понимаешь? Говорит: нельзя человека в беде бросать. Не она во всем, а болезнь виновата, дескать. А мне-то как жить? — видимо, самой себе сказала Соня. — Вот ведь сижу в этой комнате и неделями жду, когда он хоть на пять минут забежит... И кажется мне, что буду я вот как эта комната — пустая... Иной раз крикнуть хочется: «Да что это за напасть?!»

— А может, счастье? — спросила Натали.

— Счастье? — переспросила Соня. — Нет. Горе это. Беда. Живая ведь я. Женского пола. Тела у меня много. А чем оно души хуже? Говорят — душа главное. А у меня все истосковалось: и она, и оно. И не знаю, чего тяжелее переносить.

— Но ведь он вас любит?

— Не любил бы если, мне бы легче!.. Наше с ним счастье чужой судьбой придавило. Женой этой самой. С фронта он ее привез. И сам счастья не видал, и мне его не увидеть.

— Ничего я не понимаю, — призналась Натали. — Он хороший, вы хорошая. Любите друг друга. И вдруг... неужели ничего нельзя придумать? Объясните мне! — горячо попросила она. — Мне обязательно нужно понять!

— А ничего не поймешь, — сурово ответила Соня, — пока сама не помучаешься. Вспоминай нас, когда себе судьбу выбирать будешь.

— А хорошо это — любить? — тихо спросила Натали.

— Хорошо, — помолчав, ответила Соня. — Только лучше, когда она по-нормальному бывает, просто...

## 7

Дни в больнице потянулись совсем медленно, когда Натали разрешили сначала сидеть, а затем — понемногу передвигаться.

Она подолгу смотрела в окно, которое выходило на оживленную улицу; с радостью возвращающегося к жизни человека наслаждалась, казалось бы, незначительными мелочами, завидовала каждому прохожему, мечтала, что сама скоро будет ходить по улицам, садиться в трамвай, пить газировку, щуриться от солнца... И дни ползли.

Однокурсницы посылали ей по пачке писем в день, по несколько букетов цветов и кулечков со сладостями. Натали сначала даже удивилась: ведь половина девчат была искренне возмущена ее поведением, кое-кто был к ней равнодушен, и никто не знал, что же произошло с ней на самом деле. И на первые письма она отвечала с трудом — перечисляла свои новости, пыталась шутить, еще больше пыталась убедить, что у нее все в порядке. Но однажды Натали в письме просто пожаловалась, просто объяснила, как ей плохо, и тогда в ответных письмах засквозила настоящая теплота, от которой на душе стало легче, и Натали ждала этих посланий...

Полнейшей неожиданностью для нее был визит отчима. В палату его, конечно, не пустили, и он нацарапал записку, в которой желал здоровья и извинялся, что явился без гостинца.

Она была благодарна ему — почти на целый день он отвлек ее от грустных размышлений: Натали старалась догадаться, зачем же он приходил? Что ему потребовалось? Ведь не мог же он разыскать ее лишь для того, чтобы справиться о здоровье?

Девиз отчима: «Когда есть деньги, жизнь прекрасна». А вот у нее сейчас нет ни копейки...

...Подошла нянечка, подала записку и, с осуждением глядя на равнодушную Натали, почти приказала:

— Читай. Я послушаю.

Натали прочла вслух:

— «Здравствуй, Натусь! Каждый день звоню главному врачу. Узнал, что ты поправляешься. Очень рад за тебя. Тебе сейчас, конечно, надо главное внимание сосредоточить на лечении нервов. Не обижайся, но ты должна понять, что с психикой у тебя дело обстоит неважно. Отсюда и многие твои ошибки. Но что-нибудь в смысле лечения придумаем. Денег я достану. Не беспокойся. Вообще ни о чем не волнуйся. Кстати, вчера меня вызывало начальство и предложило одно место. Надо прикинуть. Надеюсь, что, вернувшись из больницы, ты наконец-то примешь решение о нашей дальнейшей жизни. Так больше нельзя. Я не понимаю...»

Она изорвала записку, сказала:

— До сих пор не понимает.

— Ждет он там внизу, — возмущенно проговорила нянечка. — Вежливый. Культурный. Все сестры сбежались на него посмотреть. А он ни на кого не глядит. Об тебе, видать, думает. Переживает.

— Не бойтесь за него, нянечка. Он очень счастливый человек. Передайте ему, что... Поймите меня! — вдруг вырвалось у

Натали. — Я в больнице после... а он... надо прикинуть! Вы не представляете...

— Представляете, не представляете, — проворчала нянечка. — Упустишь — жалеть будешь. Чего передать-то?

— Что я сплю.

С презрением поджав губы, нянечка ушла. Натали прижалась горячим лбом к стеклу. У нее сразу замерзли плечи, и она положила на них ладони.

Из-за угла вышел Игорь.

Она отшатнулась от окна, не сразу даже и сообразив, что он далеко, на улице, и сейчас сюда не придет.

Высокий, с непокрытой головой, в светлом плаще, он шагал — как на очень приятной прогулке. И Натали знала: улыбался.

— Анна Степановна тебя кличет, — услышала она за спиной нянечкин голос.

Натали вернулась в палату.

— Давай, Наталья, рассказывай, — с трудом попросила Анна Степановна. — Развлекай давай меня. Плохо мне совсем... Уснула, значит, ты у этой Сони. А дале?

## 8

Когда Натали проснулась, в комнате никого не было.

В распахнутое окно залетал шум города.

Она долго не вставала, пытаясь доказать себе, что нисколько не волнуется.

А на сердце было тревожно.

Откуда она, эта тревога? О чем? Из-за кого?

Может, из-за Виктора? Натали сразу стало тоскливо, едва она вспомнила о нем. Что он теперь о ней думает?

В записке Соня просила ее позавтракать, закрыть окно, уходя, захлопнуть дверь, вечером обязательно приходите. Натали почему-то заторопилась, будто спешила куда-то, будто кто-то ее ждал.

Выйдя на улицу, она, конечно, не могла определить, где находится, и пошла куда глаза глядят.

Москвичи и понятия не имеют об этом удивительном наслаждении — идти по Москве, не зная, где идешь и куда выйдешь, но на каждом шагу обнаруживая знакомые улицы, места и здания.

Натали вдруг вспомнила о шофере, имени которого не догадалась спросить, и остановилась, обескураженная: ведь она не спросила и адреса Сони, не запомнила дороги!

Она попыталась вернуться и ушла не туда.

Но Москва быстро успокоила ее. Потом Натали не могла вспомнить, о чем же она думала, бродя по улицам. Просто ей было хорошо.

А к концу дня она вдруг оказалась на Красной площади.

У Мавзолея стояла толпа. Розовощекие солдаты, застывшие у входа, страдали, казалось Натали, оттого, что не имели права пропустить людей, и поэтому старались выглядеть суровыми.

В небе прокатился перезвон курантов, и она сверила свои часы по кремлевским. Многие вокруг сделали то же самое.

Хорошо было Натали и грустно. Она словно была не одна, а с очень близкими друзьями, такими, что не ощущалось необходимости разговаривать о том, что сейчас переживаешь вместе с ними.

Она опять испытала светлое и большое чувство Москвы и опомнилась, когда уже шла по улице.

Люди кругом были веселые. Думалось, что они улыбаются именно ей, и Натали улыбалась в ответ.

А — грустно.

Она вспомнила Виктора, громко вздохнула и подумала, что она — неумная девочка, с нелепой жизнью, которая еще неизвестно как повернется... Натали ждала, что сейчас ее охватит растерянность, но ее не было. Наоборот, сквозь ощущение собственной никчемности пробивалась уверенность в том, что все будет хорошо. Вот приедет она домой, поступит в педагогический, жить станет в общежитии, мать, конечно, сначала обидится, но потом — все, все, все будет хорошо! А Виктор... а он... нет, она помирится с ним, обязательно помирится! Разыщет его и...

...Шла она, шла, сворачивая то налево, то направо, пока не остановилась у витрины филателистического магазина. Наверное, отец, когда бывал в Москве, заходил сюда.

Она взялась за ручку, шагнула.

В углу стоял длинный дядька с неприятным выхоленным лицом. Выпуклые веки, дряблый рот. На левой руке два перстня.

Перед ним стоял мальчик в безрукавой майке и коротких штанишках. Лицо у него было чумазое, обиженное и печальное.

— Только посмотреть, — дрожащим голосом попросил он.

— За показ деньги платят, — презрительно бросил дядька, не взглянув на него.

Он смотрел на Натали.

Мальчик не уходил.

Натали видела, как ему трудно и страшно, как ему не хочется унижаться и как он пересилил себя:

— Посмотреть...

Дядька ухмыльнулся, не сводя глаз с Натали, небрежным жестом вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот, раскрыл его и, когда мальчик протянул руки, шикнул:

— Ш-ш-ш!

Опустив руки, мальчик застыл. На лице его было такое счастливое, благоговейное выражение, такой тихий восторг, что Натали с любопытством заглянула в блокнот — марки.

А дядька улыбался, как улыбался отчим, считая деньги. Дядька презирал восторг, радость, благоговение мальчика.

— И убирайся, — приказал он.

— Сколько это стоит? — сквозь зубы спросила Натали.

Дядька смерил ее тем же презрительным взглядом, но уголки его дряблого рта шевельнулись, с наслаждением произнес сумму, усмехнулся.

У Натали похолодела кожа на локтях, негнушными пальцами она сосчитала бумажки и протянула.

Лицо у дядьки вытянулось, нижняя губа отвисла, обнаружив бледно-розовую десну.

— Берите! — почти прикрикнула Натали.

Дядька растерялся. Торговец, он радовался, что выгодно продал товар. Подлый человек, он был недоволен, что купили легко, лишив его удовольствия насладиться чужими сомнениями и нерешительностью.

Взяв деньги цепкими пальцами, дядька тщательно осмотрел каждую бумажку и отдал блокнот Натали.

— Идем, — сказала она мальчику.

Он засеменил рядом с ней. В сквере они сели на скамейку. Мальчик не отрывал глаз от блокнота.

— Возьми, — устало сказала Натали. — Это тебе от меня на память. И не считай, пожалуйста, меня сумасшедшей. Как тебя зовут?

— Валькой, — заикаясь, ответил мальчик и посмотрел на нее, как на сумасшедшую, даже чуть отодвинулся.

— Бери, бери, — раздраженно проговорила Натали. — И можешь считать меня психопаткой.

Мальчик робко взял блокнот и оглянулся вокруг, словно собираясь звать на помощь.

— Я купила их тебе... — начала объяснять Натали.

— Мне?!

— Тебе, конечно.

— Но ведь, тетя...

И тут она впервые в жизни прочитала нотацию:

— Слушай, Валентин. Ты еще маленький. Я очень хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком. Добрым. Честным. Обязательно добрым. И если когда-нибудь ты ради кого-нибудь не пожалеешь хотя бы денег, мне будет приятно. Плюй на деньги. Не в них счастье. Понимаешь?

— Нет, — признался Валька и виновато улыбнулся.

— Ты думаешь, что если есть деньги, то это все, да?

— Да. На деньги можно покупать. Марки и что угодно.

— Хорошо. — Натали растерянно помолчала, потеряв нить доказательств. — Неужели ты ради денег способен на подлость? Можешь ты, например, соврать, чтобы получить деньги?

Мальчик подумал и твердо ответил:

— Могу.

— А я-то... Значит, ты плохой человек, Валентин, и марок этих не заслужил. А я дура.

— Я не очень плохой. Я честный.

— А говоришь, что ради денег можешь врать.

— Приходится. Я бы ни за что не врал, но... Мама на мар-ки денег не дает, говорит, что это блажь, а на мороженку — по-жалуйста. Я и коплю. А сочиняю, что эскимо ел.

— Смешно, — облегченно произнесла Натали. — Но все рав-но врать не надо. По возможности хотя бы.

Валька прижал блокнот к груди, спросил:

— Вы богатая, да?

— Нет.

— А...

— Два! Богатый не тот, у кого денег много, а тот, кто плю-ет на них.

Нет, он определенно считал ее сумасшедшей — улыбнулся и спросил:

— Как же на них плевать, если их нет?

— Подрастешь — поймешь. Ты даешь мне слово, что постара-ешься быть хорошим человеком?

— Я буду стараться. Спасибо вам. А... не жалко?

— Немного. — Натали встала. — До свиданья, Валентин. Ты сейчас счастливый?

Мальчик кивнул.

— Значит, и я счастливая.

Валька перешел на другую сторону улицы и, не оглядываясь, бросился бежать.

## 9

— Сколько блокнот-от стоил? — хрипло перебила Вера Ива-новна. Маленькое лицо ее с глубоко сидящими глазами застыло в ожидании ответа.

— Да хоть бы сколько, — с трудом сказала Анна Степанов-на. — Ты незнакомому можешь рубль за просто так отдать?

— Ни в жизнь! — искренне отрезала Вера Ивановна. — Дурь все это. С жиру бесится. Покрутилась бы, как я, помыкалась бы, пострадала бы...

— Бы, бы, бы, — передразнила Анна Степановна. — Я да я, у меня да у меня. — Она морщилась от боли почти после каждо-го слова. — Нельзя так. У каждого свое. И радость, и не ра-дость. Не килограммами это меряется. А помочь кому-нибудь — это хорошо. Для себя приятно.

— А тебе потом за это в душу плюнут!

— Пусть.

— А ты случайно не верующая?

— Нет.

— А чего ж по-христиански рассуждаешь?

— Глупая ты баба, — сказала Анна Степановна. — Все у тебя от нее, от глупости. Мелешь, мелешь языком-то. Все от се-бя меряешь, со своей колокольни. А она у тебя — пенек, да трук-лявый еще. Ты бы лучше слушала, что люди говорят, да помал-

кивала. Может, и поумнела бы... — Последние слова она произнесла тяжело дыша.

— Тебя слушать — поумнеешь! — зло отозвалась Вера Ивановна. — Я, может, вас обеих умнее. Вы просто так болтаете, а я правды добиваюсь. Я жизнь по ней самой мерю, а не по тому, чего о ней говорят. А ты, девушка, извиняюсь конечно, психопатка. Я сразу заметила... Вы на меня не кидайтесь, — почти дружелюбно попросила она, — ей-богу, я правильная. Кто, по вашему, больше в жизни соображает? Кого она больше помяла. А уж куда больше, чем я от нее получила. И все-то я понимаю.

— Что же вы понимаете? — спросила Натали.

— А все. Сейчас скажу, — обрадованная вниманием, Вера Ивановна оживилась. — Слушайте. Ошибка у меня была. Через нее-то у меня вся жизнь и поломалась. Терпеливая я была. Вот как эта мадам. Он мне синяк под глаз — а я ему утром за пивом. И приучила, подлеца. А сейчас переучивать поздно. И вот что я, на кухне-то сидя, битая, надумала. Сама, учтите, надумала, по радио об этом не передавали, в газетах не печатали, по телевизору не казали. Ото всех я теперь требую то, на что мне право дано. Криком искричусь, а свое вытребую. Сполна. — Она замолчала, устав. Никто ей не возражал и не соглашался. Обиженная, она повысила голос: — Каждому охота по-человечески жить. А в жизни не так. У одного денег куры не клюют, другой с утра до вечера мозгами скрипит, где бы ему денежек, будь они прокляты, достать. Одни книжки почитывают, другой об хлебе думает да когда бы грязное белье постирать... Эх...

Вскоре она уснула, и отдохнувшая Натали продолжала свое повествование.

## 10

Грустная, бродила она по Москве.

А Москва была веселая.

А Натали вдруг поняла, что она одна в этом огромном городе. Одна. Вот — он, и вот — она. Капля и — океан.

...И дело тут не в Вальке, и не в марках, и не в деньгах, а в дядьке, который торгует человеческой радостью.

С Виктором она поступила нехорошо, глупо...

А почему?

Почему?

Она вспомнила свет звезд, тряску вагона, стук колес, грустные глаза... как приятно было стоять рядом с ним... Потом вспомнила — сразу за этим — лицо матери, голос... И поняла — вдруг, ясно, резко, что ей надо немедленно возвращаться домой. Она побежала к справочной будке, узнала, когда отходит поезд, помчалась в магазины и — на вокзал.

Здесь Натали не сразу нашла нужную очередь, а когда на-

конец подошла к окошечку и взглянула на сумочку... она была открыта, и денег в ней не было.

Натали села в сторонке на низкий подоконник и вдоволь поплакала. Каким же подлецом надо быть, чтобы воровать на вокзале, да еще в Москве!

И — что делать?

По радио объявили посадку.

Взяв в камере хранения свой портфель, привязав к нему покупки, Натали съела мороженое, выпила газированной воды и опять поплакала.

По радио напомнили о посадке.

Натали решительно прошла через тоннель к поезду. В вагон она проникла без всяких осложнений: посадка была суматошной.

Забравшись на третью полку, Натали сняла туфли, легла. Застучали колеса.

Будь что будет.

Убаюкивает...

Просто удивительно, как иногда гладко все получается. По счастливой случайности полка напротив была заставлена вещами, кто-то поставил в ноги Натали чемодан. Она поджала ноги и решила не спускаться вниз. Печенье и конфеты у нее есть, а ночь и день и еще ночь можно проспать... Ну, оштрафуют. А если высадят? Зато в Москве ей было хорошо. А дома будет плохо. Очень. Предчувствие беды так захватило ее, что она забыла совсем, где находится. Проснувшись она от ужаса, долго не могла сообразить, чего она так испугалась.

Натали спустилась вниз. Вагон спал. Была глубокая ночь.

Проводница, грузная, угрюмая, пожилая женщина, равнодушно выслушала Натали, посоветовала сейчас же идти к начальнику поезда. Натали пошла сквозь вагоны.

Найдя начальника поезда, она, сколько ни сдерживалась, рыдалась, бормоча:

— Что мне было делать... что мне было делать...

И опять ей повезло: вручили квитанцию, по которой она должна была по приезде заплатить штраф.

Вспоминая потом эту поездку, Натали только удивлялась, как она рискнула ехать без билета и как ей все-таки повезло.

Она почти не спала, не ела, стояла у окна. Хотелось выпрыгнуть из вагона и бежать...

Едва она сошла по лестнице на привокзальную площадь, взглянула на родной город, как сердце похолодело от тревоги. Натали не стала ждать трамвая, отправилась пешком. И понекому радость возвращения вытеснила все другие чувства.

В дверь она стучала долго. И когда устала стучать, дверь открылась. Отчим криво и жалко усмехнулся, спросил:

— Так скоро? Можешь войти. А у нас неприятность.

Натали вошла в комнату и сразу заметила, что многие вещи исчезли.

— Где мама?

— Сядь, — сухо предложил отчим и сам сёл, постучал кулачками друг о друга, попыхтел. — Дело в том, что она умерла. Инфаркт. Неожиданно. Быстро.

Слезы не хлынули. Их не было. В горле пересохло. В сердце возник тяжелый холодок.

— Это ты убил ее, — тихо и удивленно сказала Натали, чувствуя, что где-то внутри растёт боль, все пухнет, но никак не может прорваться. — Ты убил ее, — повторила она уже без удивления. — До тебя она была живой. Ты давно убил ее.

— Представь себе, — с обидой ответил отчим, — я переживаю. Я ведь привык к ней. Сейчас мне, кстати, будет трудно-нато найти новую жену.

— Говори, говори что-нибудь...

— Я уже далеко не молод, — продолжал отчим уныло, — я уже не могу, так сказать, пленить воображение. Но кое-что у меня есть. И вообще, дело не в возрасте. И вообще... я должен тебя предупредить. Сама понимаешь, что, пока я жил с твоей матерью, ты имела право на часть данной жилплощади. Сейчас же ты мне не дочь. Почему же, с какой стати я должен заботиться о тебе?

Когда Натали подняла голову, отчим возбужденно семенил по комнате, разговаривая словно сам с собой:

— Не пойми меня превратно. Конечно, если ты обратишься в суд, мне придется... Но ты смотри на жизнь здраво... Кто же согласится жить со мной, если здесь ты?

— Иди ты на фиг, — сказала Натали равнодушно. — Я тебя презираю.

— Да, да, это вполне естественно, — согласился отчим. — Но сейчас разговор не обо мне и не об этом. Я боюсь, что все, нажитое мною, моим трудом...

— Не бойся. Я возьму только свои вещи.

— Я уже их собрал.

— А куда мне идти?

— У тебя же есть бабушка. Она одинока.

— Хорошо. Вечером я уеду.

— Я закажу такси.

— И дай мне денег. На такси.

— На такси дам.

...Могилу матери Натали разыскала не сразу: кладбище было старым, тесным. В небрежно насыпанный холмик был закопан столбик, и на нем наискосок — фамилия и инициалы. Натали села прямо на землю.

Солнце палило.

Натали брала сухие комочки глины, и они рассыпались в ее пальцах.

«Мама, мама... прости меня за все... нельзя мне было уезжать... А его надо было выгнать сразу... ты не сердись на меня...»

Очнулась она от громких радостных криков — на лужайке за логом появилась компания молодежи с волейбольным мячом. ...Вещей набралось два чемодана. Отчим посадил Натали в такси и помахал ручкой.

Лицо у него было несчастное.

## 11

Бабушка выслушала торопливый, сбивчивый рассказ Натали, спросила:

— Какой у тебя характер?

— По-моему, неважный.

— У меня тоже. А ты что, рассчитывала, что я тебя приму?

— Я ничего не рассчитывала. Просто мне больше некуда.

— А если я тебя не пушу?

Натали пожала плечами.

— Ты гордая, — с уважением заметила бабушка. — Это хорошо. Но и опасно. Кофе любишь?

— Нет.

— Научу.

У бабушки была большая комната и просторная кухня — в старинном доме, с высокими потолками и окнами почти от пола до потолка.

— Нравится? — спросила бабушка.

— Не очень. Пусто.

— Ты неправильно воспитана, — сказала бабушка обиженно. — Нельзя так... прямолинейно. Но зато ты естественна. В кого? Может быть, в меня?

Натали освоилась быстро. Бабушка вела музыкальные занятия в двух детских садиках, расположенных на разных концах города; возвращаясь домой, она отлеживалась часа три, выпивала несколько чашек накрепчайшего кофе и оживала.

Высокая, худая, чуть-чуть сутулая, в старинном платье до пола, она расхаживала по комнате и разговаривала:

— Тебе очень повезло, что ты попала ко мне. Я утверждаю это не потому, что самомнение безгранично. Важно — любигь, а я полюбила тебя со всеми твоими недостатками. Я даже предчувствую, что в конечном итоге ты пренебрежешь моими советами, и все-таки ты мне нравишься. В этом нет ничего удивительного. Чем больше живешь на свете, тем дороже тебе люди, но тем труднее встретить того, кому захочется отдать сердце. Но уж если отдашь, то... насовсем. Тебе смешно меня слушать, наверное? Ну и ладно. Самоуверенность молодости идет от незнания, от безответственного оптимизма, от убежденности, что все в жизни просто и человек прост. А он... он очень плохо устроен — в том смысле, что умнеет слишком поздно. А почему?

Натали качалась в кресле-качалке, не особенно вслушиваясь в бесконечные бабушкины рассуждения. Да и слушать ее было

трудно, потому что она часто, забывшись, бормотала себе под нос.

Здесь Натали отдыхала. Когда она жила с матерью и отчимом, то находилась в состоянии непрестанной озабоченности, настороженности, а с бабушкой можно было просто сидеть и спокойно дышать.

И спокойно думать. Спокойно о беспокойном. Училась она в педагогическом институте на литературном факультете. Но и здесь, в новой среде, она опять оказалась как бы в стороне, особняком. Опять сверстницы казались ей беззаботными.

В театр и кино Натали ходила одна или с бабушкой, отворачивалась от приглашений на вечера и вечеринки.

Ей приходилось подрабатывать стенографией и перепечаткой на машинке: иначе денег не хватало.

Она была занята с утра и до ночи и все-таки считала, что живет вяло. Прислушиваясь к самой себе, Натали с интересом постороннего человека следила, как она живет. Да, внешне жизнь текла спокойно, ровно, но каждое движение души, каждая мысль были напряженными. Натали ждала: а что с ней будет дальше. Даже гордилась: дескать, вот болит сердце, а я — ничего, существую... Внутри души, в самой ее глубине билась как бы вторая жизнь — стремительная до головокружения, страстная, разная...

По молодости в глаза бросаются прежде всего отношения той части людей, которые на так называемые проблемы пола смотрят легко. И как резкая реакция на подобное поведение формируются натуры вроде Натали — внешне замкнутые, отрицающие, казалось бы, саму потребность общения с противоположным полом.

Она грезила о любви, мечтала о ней го возвышенно, то грехозно...

Невысокого роста, но сильная, привлекающая внимание странным сочетанием детскости и зрелости, она бы производила впечатление даже красивой, если бы не выглядела — почти всегда — усталой. Это не то чтобы старило ее, а — тускнило. В каждой черте проглядывала недоступность, которую многие принимали за высокомерие. Вот никто за ней и не ухаживал, хотя заглядывались...

Обостренная придирчивость к самой себе породила такое же отношение и к людям. А люди, тем более молодые, этого не терпят.

А может, все происходило из-за того, что она не забыла свет звезд, тряску вагона, стук колес, голубые грустные глаза и негромкий голос...

Однажды Натали улыбнулась, вспомнив об этом.

— Что? — удивленно спросила бабушка.

— Так! — Натали прошлась по комнате, надеясь, что неожиданно охватившее ее волнение быстро исчезнет. — Вспом-

нила хорошего человека. — И сразу стала грустной. — Но я вела себя ужасно глупо.

Вслушав ее рассказ, бабушка авторитетно заявила:

— Он был влюблен в тебя. А мне теперь все ясно. Когда тебе надоест губить свою молодость за книгами? Все хорошо в меру. А ты еще не влюблялась.

— Откуда ты знаешь?

— Уж я бы заметила.

— А вот и... — И Натали осеклась, потому что против своей воли сказала правду, о которой и не подозревала. Сказав же, поразились, как она раньше-то не могла понять... И он сейчас где-то рядом, может быть, совсем рядом...

— Да-а, — удовлетворенно протянула бабушка, — я, пожалуй, ошиблась.

Натали поспешно оделась, что-то пробормотала и выбежала на улицу. Она несколько не сомневалась, что сейчас встретит Виктора, что, несмотря на мороз, он будет в том черном костюме, с непокрытой головой... Натали почти бежала. А думалось удивительно спокойно, до того спокойно, что она пошла медленно. Конечно же все это время он не покидал ее, был рядом и смотрел на нее грустными глазами. Не напрягая памяти, она могла перечислить дни, когда забывала о нем. И именно в эти дни она совершала глупые поступки или отдавалась неверным мыслям.

Может быть, все это она придумала только сейчас. Во всяком случае, сейчас даже тоска казалась естественной, обязательной, необходимой...

Вернувшись домой, Натали виновато предложила:

— Хочешь кофе?

— Хочу, — ласково и тоже виновато отозвалась бабушка. — Прости меня, хотя я и права.

— Может быть. Только все это не так просто.

— А я и не утверждаю, что просто. Но излишняя строгость часто кончается плачевно, как и распушенность. Плохо, например, когда выбегают замуж семнадцати лет, но чем лучше, если вздыхают о небывшей любви в тридцать с лишним? А тебе грозит именно последнее.

— Пусть.

— Я за естественность, — продолжала бабушка с воодушевлением. — Девушкам положено влюбляться. Крайности, даже в лучшую сторону, противоестественны. Точка. — Она отпила кофе, откинувшись на подушки. — Когда я умру...

— Бабушка!

— Когда я умру, тебе будет трудно. Ты останешься одна. А с твоим характером это... неудобно в высшей степени. Как хорошо было бы, если бы ты вышла замуж при мне.

— Так я и сделаю, — насмешливо сказала Натали.

— Тебе без меня будет очень трудно, — грустно повторила бабушка. — Очень трудно. И замуж ты выйдешь неудачно.

— Почему?  
— У нас род такой.  
— Но ведь ты...

— Я — исключение. Единственное. Предчувствую твою судьбу. Я ведь много думаю о тебе. И знаю нашу породу.

В последнее время у бабушки было до того плохо со здоровьем, что она ушла с работы. Целыми днями она читала лежа и лишь к возвращению внучки вставала приготовить немудреную еду.

— Черт побери, — говорила бабушка, — до чего противно, когда не болеешь, а сил нет.

— Ничего особенного, — отвечала Натали, — я и то устаю.

Но сколько бы ни было забот, тоска преследовала ее. Спасением было умение не поддаваться тоске, подолгу сидеть над страницей, пытаюсь понять смысл строки, сидеть до тех пор, пока тоска не отступала — вынуждена была отступить.

Временами казалось, что тоска — предчувствие огромной, неотвратимой беды. Она, беда, придет, неизвестно когда, но придет обязательно. И перед ней не устоять. Временами же казалось, что тоска — спутник нелепо сложившейся жизни.

Натали пыталась привыкнуть, воспринимать все как должное, а может быть, и необходимое.

«Не хитришь ли ты? — спрашивала она себя. — Разве не бывает просто счастливых людей, понятия не имеющих, например, о том, что такое тоска? Бывают такие. Ну, а что делать, если я по каким-то от меня не зависящим причинам не попала в их число? Это не значит, что я должна признать себя несчастной и опустить руки. Счастье не в том, чтобы пользоваться выпавшей тебе по воле случая удачей, а в том, чтобы найти его в самых немислимых обстоятельствах. Настоящее счастье — это счастье завоеванное».

Здоровье бабушки было все хуже и хуже. «Скорую помощь» приходилось вызывать почти каждый день. Ночами Натали не высыпалась, потому что даже сквозь сон прислушивалась к бабушкиному дыханию.

Нередко, почувствовав недоброе, она убегала с лекций.

— Если бы ты знала, как мне стыдно, — говорила бабушка. — Никому в жизни я не доставляла столько хлопот.

К лету Натали осунулась, экзамены сдала кое-как, стала раздражительной и однажды так разругалась в трамвае, что застыдилась, испугалась и подумала: «Тебе самой к врачу надо».

За лето она не отдохнула, потому что пришлось много подрабатывать: с деньгами было худо.

Она уже не помнила, как закурила в первый раз. Кто-то из стенографисток на каком-то затянувшемся совещании предложил ей сигарету. Натали попробовала, ее замутило, вокруг раздалась смехи, и она решила научиться курить.

Сначала курение не приносило никакого удовольствия, хотя и развлекало. Но как-то ночью, сидя на кухне над срочной рас-

шифровкой, Натали вспомнила, что курение будто бы разгоняет сон, и выкурила сигарету с неожиданным наслаждением.

Понемногу дело дошло до того, что она стала носить сигареты в сумочке. Утешала она себя тем, что может бросить курить в любой момент. Однажды решилась — промучилась целый день и к вечеру полезла-таки в сумочку.

Но вместе с угрызениями совести у нее словно появился новый, тайный друг, с которым можно поговорить по душам и который умеет утешать и успокаивать.

Когда от бабушки уже почти нельзя было отходить, Натали подала заявление о переводе на заочное отделение. Узнав об этом, бабушка вконец расстроилась, и Натали изобретательно доказывала ей, что совершила это будто бы в своих интересах.

— Мне остается сделать вид, что я тебе поверила, — заключила бабушка с виноватой улыбкой.

Теперь Натали бывала в институте только на комсомольских собраниях.

Однажды она опоздала, и ей пришлось сесть в первом ряду. За столом президиума она увидела Виктора. Сначала Натали просто улыбалась, словно они расстались вчера и вот сегодня договорились встретиться, а она чуть опоздала.

Потом она смотрела на него, не веря, что это он. Или не узнавала его. В таком смятении пролетело около двух часов, пока не объявили перерыв.

У Натали, когда она подходила к Виктору, было такое ощущение, будто она делает это через силу, по чужой воле, но вместе с тем понимая, что сопротивляться бессмысленно и бесполезно.

— Добрый вечер, — выговорила она. — Вы помните меня?

— Глупый вопрос, — ответил он, разглядывая кончик своей папиросы. — Почему ты убежала тогда? Из ресторана?

— Давно это было, — сказала Натали, а сама подумала, что это случилось не далее как вчера. — Зато я очень переживала.

Бывают разлуки, которые сближают больше, чем близость. Они стояли, не глядя друг на друга, почти отвернувшись в разные стороны. И опять ей было приятно стоять рядом с ним, подумалось, что вот закрой она глаза — и раздастся стук колес...

— Живешь-то как? — спросил Виктор. — Не замужем?

И тут она поняла, что эта вот встреча — и есть та самая беда, которую она давно ждет, ответила:

— Конечно, нет. А ты?

Они встретились глазами, и она почувствовала горечь во рту, сказала:

— Впрочем, помню. Банальная история. Ты где работаешь?

— В горкоме комсомола.

— Сын или дочь?

— Андрей и Вика.

— Я даже и не знаю, что случилось, — будто самой себе

сказала Натали, стараясь, чтобы голос звучал обычно. — Была я совсем девчонкой. Цып-цып-цып. Виделись мы с тобой сколько раз? Два. Сейчас — третий. Жили в одном городе и не встречались.

— Я на улице редко бываю.

— Я о тебе вроде бы забыла. — Натали не приняла шуточного тона. — Временами, правда, казалось, что есть кто-то в моей жизни...

— Ничего не понимаю, — растерянно проговорил Виктор. — О чем ты?

— Раньше у тебя глаза были грустные, — с сожалением сказала Натали. — А теперь? Усталые и... и еще какие-то.

— Наташа...

— Я не Наташа. Меня зовут Натали Петровна. Смешно?

— Ничего, бывает хуже. Станный у тебя юмор.

— Это не юмор, — глядя ему прямо в глаза, сказала Натали, — это что-то... очень несмешное. Надо нам как-нибудь поговорить. На разные темы. — Она помолчала, надеясь, что сумела сдержать себя, даже передохнула и — сказала: — Я так тебя и не забыла. Еще бы немного и влюбилась.

— Ну вряд ли... — Виктор сразу почувствовал себя свободнее, решив, что она шутит. — Запиши на всякий случай мой телефон.

Записала. На всякий случай. И с необычайной отчетливостью подумала, что с ней происходит что-то особенное, доселе неизвестное, лишаящее ее возможности слушать доводы разума, что-то дерзкое, властное, радостное и — беспомощное. Она растерялась и насторожилась.

## 12

Анна Степановна слушала ее улыбаясь. Натали нервничала из-за этих улыбок и не выдержала:

— А что смешного?

— А ничего. Я так. Полегчало мне чуток. Не к добру, видать. — Она долго лежала с закрытыми глазами, отдыхая; потом медленно открыла их. — А дальше я и сама немного знаю. Дело известное. С горя, значит, ты, милая, в сторону бросилась. Подвернулся тут... ну, муж твой нынешний. Так? Бабушка против него. А ты себе твердишь, что он хороший, хороший. И вроде бы даже и поверила. А куда деваться? Да тут еще бабушка померла...

— Откуда вы знаете?! — поразились Натали.

— Знаю. Не одна ты. Значит, пусто тебе стало. И тоска. Да и страшно одной-то. А бывает у нас, у баб, такой вот момент в жизни. Покажется нам, что одно есть спасение ото всего. Замуж надо. Вроде бы как голову спрятать. Кто тут есть поблизости, все равно.

— Нет, не так.

— Так, так, — сурово отрезала Анна Степановна. — Так. И никак больше. Силы в тебе не хватило. Духу не хватило. Ума не хватило. Переждать бы, подумать, а... внемоготу. Да и какая разница — тот ли, этот... Самого-то дорогого все равно не иметь.

— Нет! Нет!

— Ну нет так нет. Давай рассказывай, что дальше было.

### 13

Все и было примерно так, как предполагала Анна Степановна.

А теперь уже и не важно было, как было. Свершилось. Состоялось. Произошло.

Бабушка умерла неожиданно, на руках у внучки.

Проснувшись утром веселая, сама села в постели, заискивающим тоном попросила запрещенный ей кофе, шумно выпила чашку, порозовела и разговорилась:

— Я, кажется, выкручиваюсь из этой затянувшейся истории. Чувствую, что скоро мы с тобой пойдем в театр. Я встану на ноги, а ты отдохнешь от меня. Погуляешь с этим... У него красивое древнее имя, правда затасканное. Чего ты в нем нашла?

— Может быть, он чего-то во мне нашел?

— Он-то нашел, а вот ты...

— Не надо, бабушка.

— Ты молода. Недурна. В тебе даже есть какая-то пикантная изюминка. Больше ему ничего и не надо. Да! Тебя еще можно показывать, почти демонстрировать. Он выдрессирует тебя, и ты будешь такой женой, какая ему и требуется. Он ведь...

— Бабушка, я прошу тебя...

— Я имею полное право высказывать свои точки зрения! — не на шутку разгневалась бабушка. — Я же знаю тебя лучше, чем ты сама. Есть натуры, которые бегут от страданий, хотя бы из чувства самозащиты. А есть натуры вроде тебя. Они сломя голову бросаются навстречу страданиям, словно для того, чтобы лишний раз проверить свою способность сопротивляться им. — Бабушка демонстративно налила еще чашку и — сразу почувствовала себя виноватой. — Советоваться в таких случаях почти не с кем. Повзрослев, встав на крепкие, но малоподвижные ноги житейского опыта, мы с презрением относимся к заблуждениям молодости, к ее ошибкам, ко всему тому, что в свое время творили сами. Нам искренне не хочется, чтобы наши ошибки и глупости повторяли... Не сердись на меня. И не выходи, пожалуйста, за него замуж. Сделай мне такое одолжение.

Вечером был приступ. Когда бабушка перестала дышать, На-

тали бросилась позвонить и на крыльце встретила с Игорем. И что бы потом ни было, она навсегда благодарна ему за эти дни. Если бы не он...

Он сказал:

— Я останусь. Тебе одной тут страшно.

Да, если бы не он...

А когда вернулись с кладбища и Натали без сил упала на кровать, Игорь прибрал комнату, сварил кофе, до поздней ночи о чем-то рассказывал.

Она уснула сидя на диване. Может, это был и не сон сначала, а вязкое полузабытье...

Проснулись они поздно. Натали даже не удивилась, что он рядом с ней.

Болела голова.

— Ничего, ничего, — пробормотала Натали, когда они встретились глазами; он смотрел чуть виновато, с состраданием. — Не переживай. Я тоже не буду этим заниматься.

Игорь ушел на работу, и Натали осталась одна, теперь уже совсем одна:

Она что-то делала, переставляла вещи с места на место, сидела на кухне, курила и — боялась. Наперед она знала, что будет, знала, что нельзя этого делать, знала, что сделает это.

Ждала, когда вернется Игорь.

Он вернулся и предложил ей стать его женой.

— А и ладно, — сказала Натали, хотя про себя подумала, что слово любовь не было употреблено. Но какое это имело значение? Вообще, она не думала сейчас больше ни о чем. Просто пусто было бы одной-то, совсем пусто. И страшно.

Позвала на свадьбу отчима. Он был очень доволен приглашением, но прийти отказался, честно сознавшись, что с плохим подарком ему являться неудобно, а на хороший — он постучал кулачками друг о друга — он тратиться не имеет возможности. Вернее, права.

Слушая его, Натали чуть не рассмеялась: поняла, что на этот раз он сам попал в жесткие руки.

Он пытался подробно расспросить бывшую падчерицу о жене — конечно, с точки зрения финансовой состоятельности — и ужаснулся, когда обнаружилось, что Натали даже не знает его зарплаты.

— Может случиться так, — озабоченно заключил отчим, — что он просто зарится на квартиру.

— Вряд ли, — равнодушно возразила Натали.

— Смотри, смотри. — Отчим сокрушенно покачал головой. — Как бы... Люди очень неискренни.

Он проводил ее до трамвайной остановки, шел, опустив голову, часто оглядываясь.

— Что с тобой? — удивилась Натали.

— Понимаешь... — Он поморщился. — Моя новая жена... очень уж она... совершенно без души... А с годами, понимаешь, хочет-

ся... возникает потребность... необходимость... а я не слышу от нее ни одного теплого слова.

— Но у тебя же много денег.

— Кое-что есть.

— Зачем же тебе душа? Теплые слова? Раньше ты в этом не нуждался.

— А сейчас нуждаюсь. Очень.

И уж совсем удивилась Натали, когда неожиданно для себя самой предложила:

— Заходи как-нибудь ко мне.

— К нам, — поправил отчим.

— Да. К нам.

...Ничего не понимала Натали. Шла по улице и вдруг замечала, какие у нее сильные ноги, как приятно идти, чувствовать себя, все свое тело... Нет, ничего приятного, никакого обновления. Словно ничего и не случилось. Обидно. И пусто.

Она вспоминала вяло, без особых подробностей, как познакомилась с Игорем, и даже сейчас не понимала, почему слушалась или, по крайней мере, соглашалась с ним. И Виктора Натали в это время почти забыла. Слишком ей было одиноко...

Работала она как-то в бригаде стенографисток на конференции в научно-исследовательском институте. У Натали страшно болела голова, рези в затылке на мгновения лишали слуха. Видимо, борьба с болью отражалась на лице, потому что Натали заметила, что на нее с удивлением или интересом поглядывают слушатели из первых рядов.

— Терпи, милая, терпи, — сказала старшая. — Ничего не делаешь, скоро заканчиваем.

И когда Натали показалось, что сейчас она отшвырнет ручку, схватится за голову и убежит, очередной выступающий на коду к трибуне шепнул:

— Не стенографируйте. У меня полный текст.

Лишь через некоторое время Натали собрала силы, чтобы посмотреть на него. Высокий, весь какой-то отглаженный, отутюженный, молодой человек красивым голосом что-то там говорил... «Симпатичный, — отметила Натали, — но очень уж стерильный».

Отдав ей в коридоре машинопись, он спросил, внимательно вглядываясь в лицо:

— Перепечатывать когда будете?

— К сожалению, сейчас же.

— Я подожду. Мне нужно обязательно вычитать, а я завтра уезжаю в командировку, — объяснил он. — Вот вам таблетка. У вас очень больной вид.

То ли таблетка помогла, то ли она машинально отвлеклась размышлениями об этом молодом человеке, но не заметила, как закончила работу. Вычитав машинописный текст, он сказал:

— Даже опечатки ни одной. Спасибо.

— Здесь нет буфета? — спросила Натали.

— А что?

— А что в буфетах делают? Я хочу есть.

Было в его манере поведения что-то располагающее, естественное. Натали и не заметила, как это случилось, но уже сидела с ним в кафе за столиком.

— Не подумайте, что я нахально за вами ухаживаю, — весело сказал инженер. — Честное слово, я просто пожалел вас. Еще тогда, в зале...

Но ухаживать, видимо, он умел, потому что, опять же незаметно для себя, Натали разговорилась, даже ответила на прямой, непринужденно заданный вопрос, не замужем ли она.

— Я тоже. — Игорь (они уже представились друг другу) широко улыбнулся. — Вроде бы компанийский человек, не затворник, а... вот так. Овладел всеми домашними холостяцкими специальностями. Но не горжусь этим, а наоборот. Жаль будет, очень жаль, если мы больше не встретимся.

— Не знаю, — ответила Натали, хотя и знала, что ей все равно, а значит, она согласится с ним.

Жестом руки Игорь остановил ее, когда она взялась за сумочку, чтобы расплатиться, и дал подошедшему официанту ровно столько, сколько следовало, даже мелочь, не ожидая счета.

— Я хорошо считаю в уме, — ответил Игорь на удивленный взгляд Натали. — А чаевых не даю. Принципиально.

Он проводил ее, настоял, чтобы она записала номер его служебного телефона, говорил какие-то обязательные, но полагающиеся в подобных ситуациях слова. Она, конечно, не звонила и недели через две встретила его у своего дома.

«Сейчас он скажет, — подумала Натали, — если гора не идет к Магомету...»

— Магомет пришел к горе, — сказал Игорь, — потому что гора ему не позвонила.

Ничего неприятного в нем Натали не обнаружила, с ним было удивительно удобно. Игорь как-то уверенно, но ненавязчиво умел пригласить в кафе, или в театр, или в кино. Даже молчание с ним не было тягостным.

Встречались они редко. Игорь появлялся именно в тот момент, когда Натали подумывала, что сейчас она и не возражала бы с ним встретиться.

Отношения их не менялись, не становились более близкими, и Натали это устраивало, хотя иногда в голову и проникала мысль: а почему бы, собственно, нет?.. Нет, нет, нет!

И вот теперь они вместе. И опять Игорь вроде бы тут, рядом, но она не ощущает его воли, словно все делает сама.

Она мучительно старалась узнать, что же с ней происходит. Неужели она хочет стать женой только потому, что совершила ошибку? Когда-то и Виктор так женился. Но от него требовали этого, он был отцом...

— Игорь! — почти вскрикнула она, когда он заговорил о свадьбе. — Знаешь... не надо загса. Не надо свадьбы.

— Ты что?! — Игорь рассмеялся.

— Просто будем жить... так.

— Интересно. — Он, улыбаясь, разглядывал ее. — Но это же... аморально.

— Не знаю... Сейчас я не могу без тебя. Просто — не могу. Мне страшно одной. Сейчас ты мне друг. Но я не уверена, что мы будем счастливы.

— Да, ситуация... — Игорь помолчал, пожал плечами и начал с удовольствием рассуждать. — Я немного знаю твой характер и знаю, что иногда с тобой бесполезно спорить. И вот в этой твоей... нелогичности, что ли, в том, что никогда не известно, как ты поступишь, видимо, и заключается твоя... неотразимость для меня. Но самое главное: я хочу быть с тобой, я уверен, что мы будем жить хорошо. — Он помолчал. — Я согласен на твои условия.

Так и получилась у них совместная жизнь.

«У меня просто нет силы воли, — часто думала Натали. — Что мне мешает расстаться с ним?»

Или она из тех, которые так много ждут от любви, что боятся ее, не верят в ее существование, торопятся как бы проскочить, перепрыгнуть, что ли, тяжелое время, когда полюбить некого, и... оступаются?

— Что с тобой? — спросил однажды Игорь. — Ты плохо выглядишь. Это оттого, что ты поздно ложишься, не высыпaeшься. Читаешь слишком много.

— И читаю я мало, и сплю я много! — с неожиданным раздражением сказала Натали. — Я глупа!

— Это все ты сама себе внушаешь, — мягко возразил Игорь, погладив ее по голове. — Ты излишне строга к себе. Не надо. Не имеет смысла. Понимаешь, человеку необходима способность рассчитывать свои силы и возможности. Нет ничего жальче, чем тщетные усилия. А ты еще и мечтаешь. Зачем? Во-первых, давай регистрируемся. Во-вторых, переходи на очное отделение. Денег у нас хватает. Я могу еще взять лекции...

— Да не в этом дело! — вырвалось у Натали.

— А в чем? — И раз она не отозвалась, он с удовольствием заговорил сам, как всегда прислушиваясь к своему голосу: — Радости бывают условные и безусловные. Вот и надо держаться за безусловные. Они — реальность, они гарантированы. Любишь курить — кури. Любишь театр — смотри. Наслаждайся тем, что доступно тебе без особых усилий, без риска. А условные радости — те, которые можно получить только при соответствующих условиях... которые сопряжены с отказом от нормального течения жизни. А у тебя все наоборот. Нелепица на нелепице. Но ты мне нравишься, и я это принимаю... по крайней мере, пока.

Натали было все равно. Она не могла себя заставить хотя бы спорить.

Иногда равнодушные бывало таким сильным, что даже слов

но бы притупляло слух. Она не слышала, о чем рассуждал Игорь.

А он ничего не замечал.

В нелюбимом легко найти недостатки. Нелюбимого легко обвинять. Натали сознавала это и умела сдерживаться. Разве Игорь виноват в том, что она его не любит? А разве она виновата, что так получилось?... Он же не силой взял ее и не обманом...

И все же она не испытывала особых угрызений совести, уверенная, что беда касается ее одной. Игорь всегда производил впечатление сильного человека, не способного согнуться от неожиданного удара судьбы и вообще искренне презиращего разные там эмоции.

Ничто не могло смутить или насторожить его. Он смотрел на нее восхищенным, удовлетворенным взглядом, щуря глаза. Она была вынуждена признаться себе, что забывалась с ним, иногда даже радостно подчинялась ему, он никогда не был настойчив, но умел возбуждать самые разнообразные желания, и вдруг — все-таки! — это, если и не любовь, то хотя бы рядом с ней?..

Как-то она разозлилась:

— А если я уйду от тебя?

— Куда? — почти деловито поинтересовался он, пожал плечами, рассмеялся и спокойно продолжал: — Этого быть не может. Уже — не может. — И в голосе его зазвучали отчетливо твердые нотки. — Ты из породы идеалистов. А они попрыгают, попрыгают с тщетными попытками жить как-то не так, как люди живут, и становятся самыми обыкновенными. — Он снисходительно усмехнулся. — Немного пофантазируешь, помечешься, и нас внесут в запись актов гражданского состояния, сокращено — загс.

— Мне порой кажется, — сказала Натали, словно не расслышав, — что моя жизнь еще и не начиналась. Я еще и не знаю, какая я на самом деле.

— Это инфантильность, то есть детскость, причем очень уж застарелая, совсем не по возрасту. Она просто противоречит содержанию твоей жизни... И я-то знаю, слава богу, какая ты была, есть и будешь.

— Обрисуй.

— А ты не иронизируй. — Игорь оживился. — Ты послушай. Твои книги — книгами, а жизнь — жизнью. В наше время детективы и монотонность телевидения более необходимы, чем разная там... литература. Страсти — только в футболе и хоккее. И не морщись. Это неприятно, как всякая правда. Все свои знания ты черпаешь из книг, которые читает небольшая кучка людей. В наш-то век — стихи? Это удел немногих, тех, кто не ощущает пульса времени. Наш век — время инженеров, ученых и спортсменов. Век мозга, мускулов, но не чувств. Мы читаем для того, чтобы отдохнула голова... Теперь о нас с тобой. На первый

взгляд, мы довольно разные люди. Нас вроде бы ничего не объединяет, кроме... некоторых интимностей. На самом же деле мы с тобой будем жить очень хорошо.

— Два вопроса, — равнодушно сказала Натали, уже жалея, что затеяла этот разговор. — Что же все-таки нас объединяет и что такое — жить очень хорошо?

— Жить очень хорошо, — громко, даже торжественно ответил Игорь и полулег на диван, смотря в потолок, — это значит — жить так, как задумал. Жить, не боясь неожиданностей. Как в очереди за холодильником! — Он рассмеялся. — Без отклонений. Если поезд опаздывает, это плохо. Если он приходит раньше расписания, это нелепо и тоже плохо. И тоже нарушение графика. Надо, чтобы поезда приходили точно по расписанию. Тогда будет возможность рассчитывать, учитывать, не мудрить, не философствовать, не искать заново смысла жизни. Он давно найден. Человек обязан выполнять свои обязанности перед обществом — раз, удовлетворять свои потребности — два. А свои обязанности и потребности надо знать по возможности точно. Тут главное — не мудрить. Метания — это от бессилия. Неудовлетворенность — оттуда же. Ведь все в жизни предельно просто. Жизнь — удивительно примитивная конструкция. Сначала, не умея еще читать ее чертеж, человек куда-то рвется, фантазирует, идеализирует или, наоборот, отрицает, прокликает. Но потом, разобравшись в чертеже жизни, человек понимает, что — надо жить. Отдавать и брать. Баш на баш. Чего тут сложного? Где тут повод для сомнений, загадок? Надо просто уметь смотреть в глаза самой прстой правде. Она, конечно, немного цинична, но ведь врачи, чтобы вылечить человека, называют вещи своими именами. Самые честные люди — это циники. Они полностью отказались от всех недомолвок.

— Я спрашивала: что нас объединяет?

— Отвечаю. А от запутанного взгляда на жизнь проистекают разные осложнения, даже драмы. Вот ты в глубине души не очень-то любишь людей, потому что требуешь от них слишком многого, требуешь того, на что большинство неспособно. Ты отдаешь им больше, чем от них получаешь. Посему ты ими и недовольна. И рано или поздно ты уйдешь от них в себя. Этот процесс уже начался. Всего удобнее ему протекать здесь, дома. Я тебе помогу. Ведь я очень удобный — ты не заметишь! — Игорь долго смеялся. — Обрати внимание: как мало я от тебя требую! Я не вызываю тебя на соревнование — чья воля, чей характер сильнее, лучше. А ведь именно на этом горит большинство супругов. И постепенно, Натусь, совершенно незаметно для себя ты при-вык-нешь к удобству. Душевному удобству. И мы будем жить душа в душу. Все будет предельно просто. И очень хорошо.

— И очень скучно.

— О нет.

Спорить не хотелось. Спорить было бесполезно. Спорить бы-

ло не о чем. Он бы все равно не понял. Улыбался бы снисходительно.

И она уходила на кухню. Хотя Игорь и не запрещал ей курить, она любила это делать в одиночестве.

Как всякий одинокий человек, она привыкла, и давно, разговаривать с вещами, особенно с бабушкиным кофейником.

«Не сердись, — просила его Натали, когда он отплевывался кипятком. — Я отвернулась всего на минутку, а ты... Добрый, а злишься. Вот увидишь, я научусь обращаться с тобой, как бабушка. Ты, верно, удивишься, почему она больше не подходит к тебе? Нет ее...»

Она все время вспоминала бабушку, мысленно беседовала с ней, оправдывалась.

Игорь постепенно, но настойчиво обставлял квартиру новыми вещами. Исчезла старая мебель, появлялась другая. Натали жалела и старинные, расшатанные стулья, и диван с потертой кожей, и громоздкий дубовый стол, и особенно — пианино.

— Может быть, оставим? — спросила она.

— Я не замечал в тебе сентиментальности. Хранить эту бандуру как память? Зачем? Если бы это был великолепный инструмент... Смотри, дело твое.

Натали махнула рукой.

О своей прежней жизни Игорь почти не рассказывал, а Натали и не спрашивала, только однажды из чистого любопытства поинтересовалась насчет женщин до нее.

— Прости, не надо, — серьезно ответил Игорь. — Конечно, если ты будешь настаивать, я не стану скрывать, но... не надо. При тебе это просто кощунственно.

Отец его разошелся с женой, когда Игорю было десять лет, и сейчас изредка посылал весточки. Игорь отвечал открытками. Мать его умерла несколько лет назад в другом городе, в другой семье.

Нет, Игорь был воистину счастливым человеком. Вот уж кто никогда не испытывал ни тоски, ни отчаяния, ни неуверенности. Казалось, в нем есть какой-то ограничитель чувств, не позволяющий им достигать напряжения.

— Ты ведь счастлив? — спросила однажды Натали.

— Очень, — подумав, ответил Игорь. — А ты разве несчастна? — Он улыбнулся удивленно. — Если ты и несчастна, то по собственному желанию.

Отличительной его чертой была привычка оставлять мысли о работе там, на заводе, не приносить домой ничего, хотя бы отдаленно связанного с ней.

Как всякий жизнерадостный человек, Игорь не был лишен своеобразного обаяния. Он был терпим по отношению к ней, можно сказать, абсолютно и — легко, без усилий. Иногда Натали, сердясь на себя, против воли любовалась им.

Почти каждую субботу они бывали в гостях. К этому Ната-

ли привыкла, как к изнурительному испытанию, которое надо вынести, не пошевелив бровью.

Пили много, но не напивались.

Ни разу не поругались, не поссорились, даже не повздорили.

Если и спорили, то по пустякам, равнодушно, не особенно настаивая на своей правоте.

Подлинное оживление наступало при обсуждении спортивных событий.

Главное — не испортить компании.

О работе — ни слова, разве что мимоходом дружно ругнут какого-нибудь начальника.

Или коротко вздохнут о сорвавшейся премии.

Это были, что называется, порядочные люди.

По дороге домой Игорь иногда иронизировал:

— Вот у кого надо учиться жить. Они — воплощение порядка и разумности. Они не могут позволить себе опоздать к принатию пищи и на работу. Они добросовестно выполняют общественные и супружеские обязанности. Все их существование регулируется привычками. Впустую, не по назначению не расходуются ни один грамм энергии. Но с ними можно иметь дело. По своему, они честные люди, а работники отличные.

Натали сидела среди них и думала о своем или ни о чем не думала, машинально улыбалась, когда вокруг хохотали, отвечала на вопросы, если ее спрашивали, хвалила кушанья, платя, книги, обстановку, детей, кошек, собак...

Мужчины за ней легонько ухаживали, женщины не любили ее, в основном за молодость и за поведение.

Иногда они с Игорем принимали гостей. Это было еще хуже. За несколько дней до важного события, каким для него был прием сослуживцев и других нужных людей, Игорь составлял список приглашенных, вин и закусок, причем список переделывал несколько раз. Затем он вручался Натали вместе с деньгами...

И вот — нудный вечер, грязная посуда и на несколько дней ощущение пустоты и стыда, словно она принимала участие в каком-то нехорошем деле.

— Не я в этом виноват, — беззаботно говорил Игорь, — потому что не я это придумал. А им это — нравится! — словно удивлялся он.

И лучшими часами были те, когда она оставалась одна. Неправда, что в одиночестве человек только грустит. У нее было наоборот. Она оживала, забывалась, становилась самой собой. Только тогда она и могла вспоминать о Викторе, но не как о живом человеке, а как о воспоминании о нем... Воспоминание о воспоминании? Да, примерно так... Не было даже ощущения, что он существует сейчас. Он был когда-то, когда Натали и могла стать счастливой...

И не этого одиночества боялась она, не физического, одиночества в душе, в самой ее глубине пугалась Натали. Она не мо-

гла уйти от Игоря хотя бы потому, что уходить было просто некуда: везде ее ждала тоска, а тут — привычки уже появились. Утром надо было вставать, готовить мужу завтрак, вечером — ожидать его с работы, кормить...

Непонятно только: дни мелькали или ползли? Вроде бы ни одной свободной минуты, а — пустого времени много. Натали все делала без удовольствия, лишь потому, что — надо.

И сколько так могло продолжаться?

## 14

В субботу главный врач сказала:

— Учитите, пьяных не пускаем. Только хоть немного запаха и...

— Ну... тогда мне моего-то и не посмотреть, — сказала Вера Ивановна уныло. — Мой-то с утра нахвататся, а запускают сюда с четырех. Если разве стрезвеет к вечеру, так опять запашище за версту.

— Порядок есть порядок.

— Порядок, порядок, — проворчала Вера Ивановна после ухода главного врача. — Легче всего на порядок сваливать. Может, конечно, и порядок прав. А может, я. Может, и мужик мой прав. Тоже ведь не злой был человек. А созверел. Всю войну просолдатил. А после войны сколь трудно было? А квартира эта проклятая? Не с радости, может, пить стал.

— Да и не все пьют, — тихо проговорила Анна Степановна. — Мой-то раньше, бывало, выпьет немного и веселый. Потом поболее пить стал и — плакал. Сейчас совсем помногу пьет и — куражится. А жена завсегда под рукой. Понимаю ведь я. Сколь мог, столь и дал счастья. Вот бросил меня... на улицу выгнал... Тоже ничего не поделаешь...

— А может быть... — осторожно начала Натали, но Анна Степановна сурово перебила:

— Не может быть. Молодушек много без дела ходит. Девки просто бешеные стали. Без ума совсем. И без совести, конечно. На седину и то льнут.

— Но ведь это нечестно! — воскликнула Натали. — Прожить вместе много лет и в трудную минуту бросить!

— А в легкую минуту и не бросают. Да и где они, наши-то легкие минуты? Ой, далеко... — без сожаления говорила Анна Степановна, которую боли неожиданно отпустили. — Об одном только и горюю, что детей у меня не было. Не дал господь. Из детдома, дура, не взяла. Без детей — беда. А остальное... Вот сказка есть. Пришел как-то мужик к богу и говорит: «Дай-ка мне, старый, другую судьбу, получше этой. Больно уж моя-то нелегкая». Бог пожалел чего-то мужика, привел его в склад, где судьбы людские хранились, и велел выбирать любую, какая, значит, понравится. А судьба — это мешок заплечный, с лямками. Скинул мужик свой мешок и давай новые примерять. Ни

один не подходит: то легок, то тяжел, то сидит неловко и так дале. Тыщи три, сказывают, мужик мешков перебрал, вспотел весь. Но еле-еле все-таки подходящую судьбу выбрал. Обрадовался. Да рано. Оказалось, свой же мешок, свою же судьбу сам выбрал, сколь ни крутил... Понятно? Чего от своей судьбы отворачиваться? И хорошее в жизни кое-что было. Тоже забывать не след. Я вот смерти не боюсь почему? Может, потому, что не раз уж она ко мне пристукивала. Да и сейчас где-то тут бродит. Пусть. Это ее дело. Ей виднее. А я свои дела сделала. Сколь у меня обязанностей было, столь и выполнила. Мне бы только перед смертью дней бы пять спокойно пожить. В кино бы сходить. Песни бы по радио послушать. Подружек бы навестить. Родительским могилам поклониться.

— До чего же я тебе не верю! — раздраженно проговорила Вера Ивановна. — Гладко ты выражаешься. Будто по-писаному. Вроде лектора. Да как так — счастья не видать и спасибо за это?

— Беспонятная ты, — спокойно отозвалась Анна Степановна. — В чем счастье-то? У каждого свое. Мое тебе не подойдет. Мне твоего даром не надо. Наталья вон мучается, а ты ей завидуешь. У меня счастье, может, в том, что горя безмерно много выдержала. Мужу своему помогала... Так ведь — жила! Жила! Понятно тебе?

— Все мне понятно, — уныло ответила Вера Ивановна. — До того понятно, что тошно. Выду я отсюда — по-новому жить стану. Злая буду, принципиальная! Не дам себя забижать, не дам! Злобой изойду, а...

— Злоба, она пользы не приносит никому. — Анна Степановна вдруг улыбнулась чему-то. — А ну тебя со злобой-то... Вот мне вспомнилось ни к селу ни к городу... Перед самой войной в наш дом жилец новый приехал. Шофер. И уж так он ко мне относился... Баба я ладная была, в баню приду, так все от меня отворачиваются с зависти. Тело-то у меня живое было, все у меня шевелилось. И образовалось у меня внутри тепло. Жар. Пьянела я будто, когда он на меня взглядывал. Голова кругом, вот-вот свалюся. И на душе хорошо. А он на гитаре играл. Голос тоскливый и с намеком. Всю мне душу переворачивал и ровно в мой жар дров подкладывал. Такое со мной было — до сих пор ведь забыть не могу. Поздними вечерами он все пел, пока жена на него не прикрикнет. Как в сказке все было. Мы и двумя словами с ним не перекинулись. Здоровались только. Иду мимо, дышать не могу... Один раз у окна стояла. Утром. Первый этаж. Откинула занавеску. Он передо мной. Смотрит. Больше уж никто в жизни на меня не смотрел. Может, секундочку, может, час это было... Холодная я вся сделалася. А он сказал: «Прощай». И не видела я его боле...

— У меня вроде этого было, — торопливо, возбужденно проговорила Вера Ивановна. — Тоже вот так же приехал. Техник какой-то был, но, главное, бабник. А надо вам сказать, по сек-

ретену конечно, — я в молодости... ну, честно сказать, сил бабьих во мне лишка было. Интерес у меня был из-за этого. А техник-то росту невысокого, жилистый, кривоногий. И ухлестывал же он за мной! Верите, нет, проходу не давал. Ручища у него железные. Мне бы, дуре, а... испугалась. А Казаков-то мой уж путался. А я нет. Ведь до того техник-то на меня действовал, что иной раз ну хоть при всех, хоть средь бела дня могла... согласиться. А я ему по роже в самый-то подходящий момент. До сих пор жалею. В шутку, конечно, — виновато закончила она.

— Расскажите еще что-нибудь, — попросила Натали.

— Случая ждять надо, — весело отозвалась Анна Степановна. — Давай лучше ты, Наталья, рассказывай...

## 15

Она невольно замедляла шаги около каждой будки с телефоном-автоматом. Никогда раньше она не подозревала, что их так много в городе.

Натали опускала монету, снимала трубку, набирала номер, и когда раздавался голос: «Я слушаю», — мысленно отвечала: «Здравствуй», — и вешала трубку.

Светлая грусть сменялась отчаянием, а иногда и надеждой. Натали любила отдаваться этим чувствам, не зная еще, как они сильны и опасны.

Думая о Викторе, она ощущала себя совсем другой, словно возвращалась на несколько лет назад, когда и не подозревала, что будет такой, какой была сейчас.

И вот однажды она вошла в будку...

— Слушаю.

— Это я. Здравствуй. Мне нужно тебя увидеть.

Долгое молчание.

И когда она хотела повесить трубку, спокойный голос сказал:

— В семь около почтамта?

— Буду ждять.

А было всего пять часов. У нее застыли ноги. Она стояла в здании почтамта у батареи центрального отопления и чуть не плакала от боли.

«Что мне надо? — испуганно думала Натали. — Чего я хочу? Мне надо, чтобы он пришел. Я хочу его видеть».

И это прочтее желание приобрело огромный, не вмещающийся в ее сознании смысл. Казалось, желание не только в ней, но и — везде.

Все люди спешили куда-то к кому-то, а те, которые проходили не спеша, — ждали кого-то.

Потом Натали стало стыдно: ведь все видят, что и она ждет... А чего ей стыдиться?

А потом стало страшно...

С каждой минутой все глуше хлопали двери, словно звуки вязли в тягучести времени.

Он еще не пришел, а она уже была с ним, говорила ему: «Я знала, что ты придешь. Ты не мог не прийти. Хотя лучше бы было, если бы ты не пришел. Тогда бы я больше не осмелилась звать тебя. И что со мной будет из-за тебя?»

— Спасибо, — сказала она. — Ты пришел на семь минут раньше.

— Идем куда-нибудь, — торопливо предложил он, и они вышли на улицу.

Там было темным-темно. Туман. Фонари не рассеивали, а лишь утверждали морозный мрак.

— Как живешь? — спросил Виктор.

— Плохо, плохо! — весело отозвалась Натали. — Очень плохо... Куда мы идем?

— Хоть куда. Где народу поменьше.

Скоро у Натали замерзли губы.

— Вон куда мы забрели, — прошептала она, увидев здание железнодорожного вокзала. — Зайдем погреемся?

Там было чуть-чуть теплее. Виктор молча курил.

— Помнишь? — шепнула она. — Как мы в ресторане...

— Пошли, — резко сказал он, — вспомним молодость.

Сдав пальто заспанной гардеробщице, они вошли в ресторан — небольшой, тускло освещенный зал. Было здесь неуютно и не очень опрятно. И холодно.

За огромными окнами вскрикивали паровозы.

Прогрохотал состав, и все здание содрогнулось.

И Натали подумалось, как сладко было бы сейчас сесть в поезд и...

— Далеко-далеко, — сказала она.

— Что? — недоуменно спросил Виктор.

— Так.

Он продолжал молча курить.

В другом конце зала скандалили. Стучали опрокинутые стулья. Звякнула посуда.

— Ты чего оглядываешься? — спросила Натали.

— Да понимаешь... — Он усмехнулся. — Все-таки я ведь первый раз вот так, в ресторане... А лицо у тебя усталое. Ты изменилась. Почему?

— Потому, что замужем.

Виктор растерянно пробормотал:

— Поздравляю... И как? Счастлива?

— Как видишь. А ты?

Несколько секунд здание содрогалось — мимо шел состав.

— Не знаю, — ответил Виктор. — История моя тебе известна. Живем. Никакой, конечно, лирики. Да и не до нее. Работа. Дети.

Натали закурила. Он равнодушно удивился:

— С каких пор?

— Уж не помню. Давненько. Сначала баловалась, потом привыкла. Брошу. Хоть одним недостатком меньше будет.

— А много у тебя их?

— У меня, кроме них, ничего и нет.

— Самокритично.

Пусто было на сердце и — тяжело. Странное ощущение: тяжелая пустота. И еще — жалость. Ей было очень жаль Виктора. Она чувствовала, что он скрытен перед ней, что живется ему плохо, а вот она могла бы прогнать из его глаз усталую озабоченность, виноватость... конечно, если бы он захотел... Но — вряд ли.

— Да! — вдруг громко сказал он. — Дело не в том, счастливы ли ты лично. Личное счастье — понятие узкое. Его придумали те, кто хочет отгородиться от большой жизни, уйти в маленький мирок мелких интересов... Так?

— Может быть. — Натали взглянула ему в глаза, он опустил их. — А личное счастье назвали мелким понятием те, кто не способен кого-нибудь сделать счастливым. Личное счастье просто может быть частью большой жизни. Одно другому не мешает.

Виктор, недовольный и взвинченный, молчал.

— Больше я тебе звонить не буду, — выговорила Натали. — За сегодняшнее прости. Я не подумала.

Он сказал твердо:

— Пора.

— Да, пора.

И дорогой он молчал.

— Это первое в моей жизни свидание, — удивленно сказала Натали. — И, по всей вероятности, последнее.

— Ты не сердись, — сказал Виктор. — Ты пойми. У меня семья, у тебя...

— А разве я... — Натали задохнулась морозным воздухом. — Разве я что-нибудь...

— Но мы не дети. Мы...

— Подожди, подожди, — Натали остановилась. — О чем ты?

— Я хочу предостеречь тебя. Нельзя так. Ты понимаешь...

— Ничего я не понимаю! Ведь я же... ну, просто... Мне все кажется, что тебе плохо, что я...

— Не надо. — Виктор пальцами размял огонек папиросы. — Не надо. Ни в коем случае.

И если бы он даже окликнул ее, она бы не обернулась. Да он и не окликал.

Натали пришла домой, не заботясь о том, чтобы скрыть свое состояние. Все будет примитивно: сейчас Игорь спросит, что с ней, и они расстанутся.

Игорь открыл дверь и убежал в комнату с возгласом:

— Ты только посмотри, что я купил!

В комнате стоял телевизор. Игорь крутил ручки настройки. Ему, конечно, было не до Натали, а ей было не до него, и она

ушла на кухню, чтобы побыть одной, пройтись взад-вперед, схватившись за голову руками.

А телевизор гремел, а Игорь кричал:

— Иди, Натусь, сюда! Потом поешь! Работает! Все в порядке!

«Все в порядке, — подумала Натали. — Сейчас я возьму себя в руки. Сейчас я возьму себя в руки».

Хорошо, что в комнате горел только торшер в углу, а Игорь не отрывал глаз от экрана. Он хоть и терпеть не мог оперы, но сейчас блаженствовал.

А Натали думала, что вот — а ведь сердиться-то не на кого. Разве что на себя... Что же случилось с Виктором? Не могла она поверить, что он не хотел ее видеть, но... Испуганно оглядывался по сторонам... и — молчал... А как глупо рассуждал о счастье... личном и какой-то большой жизни... И — как жаль его...

К ночи, когда кончились передачи, Игорь с сожалением выключил телевизор и, вытянувшись в кресле, сказал:

— Теперь жить можно... Я имею в виду футбол и хоккей. Телевидение — величайшее изобретение нашего века. Оно заменит чтение, устранил необходимость общения между людьми. Зритель будет ощущать себя умным, знающим...

— Перестань! — вырвалось у Натали. — Не паясничай.

Игорь внимательно взглянул на нее, неторопливо размял сигарету, закурил, проговорил недоуменно:

— Если у тебя плохое настроение, телевидение и я здесь ни при чем.

И оттого, что он был прав, она вдруг ощутила резкое, почти физическое желание смутить его, испугать, спросила глухо:

— А мне сегодня знаешь что подумалось? Что я не люблю тебя совершенно. Как ты на это смотришь?

— Я? — удивился Игорь и, улыбаясь в растерянное, испуганное лицо Натали, ответил: — Во-первых. Бывает категория людей, которые все делают не вовремя. Почему сегодня, именно сегодня, когда у меня радость, ты затеяла этот разговор? Почему не вчера? Не завтра? — Он опять улыбнулся, на этот раз снисходительно. — А о том, что ты меня совершенно не любишь, об этом я, право, не думал. Не было, представь себе, поводов. Это во-вторых. И, наконец, в-третьих. Я знаю одно. Что характерец у тебя... скажем так: сложный. И мне придется над ним немало поработать. Зато потом ты будешь золото. Ну, а если говорить совершенно серьезно... За меня ты вышла, собственно, в минуту отчаяния. Да и не вышла, а... даже не знаю, как это называется. Но причина в данном случае ничего не объясняет, — с удовольствием говорил он. — Но я убежден, что мы с тобой стали мужем и женой. Видишь, даже стихами выражаюсь. А то, что в твоём возрасте и при твоих взглядах именуют любовью, меня, прости, не интересует. А, может, то, что я к тебе испытываю, и есть любовь. Я знаю и знаю твердо: ты мне нра-

вишься, ты меня, так сказать, полностью устраиваешь, я наслаждаюсь тобой. Это нормальное чувство нормального человека, а все остальное... тонкости терминологии. И жить мы будем очень хорошо.

Он пускал дым идеальными кольцами — одно в другое, наслаждался и этим. Ни разу в жизни он не уронил пепла на пол или мимо пепельницы. Только в пепельницу.

— Я бы согласилась жить плохо, очень плохо, — сказала Натали, — если бы от этого кому-нибудь было легче.

— Громкость фразы, Натусь, прямо пропорциональна ее бес-содержательности. — Игорь стряхнул столбик пепла точно в пепельницу.

И это доставило ему удовольствие.

## 16

У кровати Веры Ивановны сидел маленький, заросший седой щетиной мужчина, которого она называла по фамилии — Казаков.

Халатов не хватало, и ему на плечи накинули простыню. Он кутался в нее, словно от холода.

— Чего это ты в больницу-то, как на праздник, вырядился? — ласково спросила Вера Ивановна.

— Да... люди тут... чего это я... думаю... вот не побрился... бритва сломалась... в парикмахерской очередина... а так у нас порядок.

— Денег-то много назанимал?

Казаков отмахнулся и спросил:

— Кормят как тут? А то, если плохо... я тогда... поговорю с кем надо... Не имеют права... Врачи, они, знаешь...

— Не мели-ко.

Казаков задумчиво теребил щетину.

— Вот! — Он вздрогнул. — Ты это... не болей.

— Ладно. — Вера Ивановна вся просияла.

— С Григорьевым я поругался. Дурак он.

— У тебя все дураки. Один ты умный больно.

— Ну... Самсоновы к сыну уехали. На Украину.

— Вахрушевы не заходили?

Говорили они, не глядя друг на друга, будто смущались, и для посторонних — несвязно говорили. Временами Казаков вздрагивал и повторял одно и то же:

— Ты это... не болей.

— Ладно уж, — улыбаясь, отвечала Вера Ивановна.

— Дома-то без тебя... кувыром все... нету порядка.

— Порядок наведем. А как это ты... ну... не принимал сегодня еще?

— Да... придешь, отметим... а так... ну... Звал меня сегодня Григорьев... к шести... я не...

— Не выдумывай. Сходи. Только чтоб в меру.

— Это понятно.

Когда он ушел, Вера Ивановна сказала:

— Набедокурил, видать, чего-то, то и дергается. А признаться не хочет. Гордый. А без меня ему... не то. Эх, может ведь не надираться! Ведь какой бы мужик был...

Натали нервничала: ей не хотелось видеть Игоря, она почему-то чувствовала себя виноватой, а желания подавить это ощущение не было.

Пришла сияющая нянечка, с порога заговорила:

— Тут он, тут! Халата ждет! В простынке отказался. Уж такой вежливый, такой... Все бы такими были!

Вдруг Натали напряглась, вслушиваясь, мгновенно похолодела, помедлила и — бросилась к дверям.

По коридору шел Виктор. С его плеч свешивалась короткая простыня. Заметив Натали, он остановился, потом подбежал, громко спросил:

— Как ты? А?

— Ничего, ничего, а ты, ты?

— Ну, что я? — Если бы брови его страдальчески не переломились, можно было подумать, что он раздражен. — Почему ничего не сообщила? Нельзя же так! Я случайно узнал... Ну, что?

— Дочь... была. Вот и все.

Натали смотрела на подходившего Игоря и словно не могла понять, кто это и почему она его боится.

— Знаешь, — смущенно проговорил Игорь, целуя ее в лоб, — я здесь чуть не час. Халатов не хватает. Пришлось ждать.

Виктор медленно пошел к выходу. Игорь, перехватив взгляд Натали, спросил:

— Кто это?

— Знакомый.

— Я где-то его встречал... Слушай, Натусь. Ведь я же предупредил тебя! Тебя все отговаривали! Но почему...

— Это мое дело.

— Конечно, твое. Но что делать мне? Ты спутала всю мою жизнь, ты...

— Ты ругаться сюда пришел?

— Тебе легко...

— Да, да, мне легко.

— Ну, я в другом смысле... Но пойми: ведь я ни в чем не виноват... — Он искал ее взгляда, а она прятала от него глаза, потому что впервые видела его растерянным. — Я пытался сделать все, чтобы тебе было хорошо. Ты не представляешь...

— Ты пришел ко мне в больницу, — перебила Натали безразлично. — Я еще больна, а ты все о себе...

Игорь оскорбленно поджал губы, передал ей тяжелый сверток, сказал:

— Я все понимаю. И все равно нельзя быть такой безответ-

ственной. Это я говорю ради тебя самой. Ты только вдумайся в свое поведение...

— Я устала стоять. — Они встретились глазами, и Натали испытала леденящее желание просто выгнать его. — Я устала стоять, — повторила она. — Спасибо. Иди.

— Подожди. Скажи мне только одно: чем я тебе не угодил?

— Ты абсолютно ни в чем не виноват. Но больше не приходи. И ничего больше не говори! Иди, иди.

В палату она вернулась такой обессиленной, что сразу легла поверх одеяла.

— Переживает, — донесся до нее сочувственный голос Веры Ивановны. — Чем-нибудь не угодил... муженек-от.

— Поешь-ка лучше компоту, — предложила ей Анна Степановна. — Поешь да и спи.

— А твой-то придет?

— Мой сейчас гуляет вовсю. Потом придет. Когда уж поздно будет. Может, и пожалеет.

— Да ты в суд на него!

— Ни к чему.

— А куда ты денешься? Вдруг он тебя и в квартиру не пустит?

— К сестре денусь. Она вдовая. Да и кто знает, когда и куда мне отсюда отправляться. Вот Наталья скоро нас бросит. Хорошо с ней было. Отвлекала.

— Я тебя смешить буду, — серьезно пообещала Вера Ивановна. — Ты у меня обхохочешься!

— А и вспоминай нас иногда, Наталья, — сказала Анна Степановна. — Не суди нас больно-то.

— Да что вы... — Натали села. — Вам большое спасибо. И вы поправляйтесь. Счастья вам, здоровья.

— Ты своего счастья не упусти. — Анна Степановна вдруг повеселела. — Ты здоровье не теряй. Ты молодая, у тебя забот боле.

— А чего бы ты делала, если бы помолодела? — спросила Вера Ивановна серьезно. — Ну-ка, обскажи.

— Перво-наперво, — тоже серьезно отвечала Анна Степановна, — в девках подоле бы походила. Подышала бы свободно. От парней бы за десять верст пряталась. Школу бы окончила обязательно. А ты?

— А я наоборот! Я бы парней за нос водила. Чтоб сохли по мне! Мучились бы! Ревели бы с горя! Ума лишались! А своего, нынешнего-то... ух... душу бы из его вытрясла!

Обе женщины рассмеялись впервые здесь. Правда, недолго смеялись.

— Я немного отходить стала, — призналась Вера Ивановна. — Вернуся домой спокойная. На стенки лазить не стану. Может, что и переменится... — Она замолчала, задумавшись.

Потом она допила компот и мгновенно уснула.

— Рассказывай, Наталья, — попросила Анна Степановна. —  
Чего переживать-то...

17

Она не виделась с Виктором месяца три, втайне надеясь, что он, может быть, сам позовет ее.

Не позвал.

Она сама взяла да и позвонила, да и сказала, что хочет его увидеть.

— Хорошо, хорошо, в семь.

Выйдя из телефонной будки, Натали впервые закурила на улице. Дым показался горьким, она выбросила сигарету и пошла.

Случаются дни, как будто специально предназначенные для неприятностей. Утром она опоздала на сдачу зачета, которого очень боялась, после лекций побывала в женской консультации, там ее не обрадовали — беременность, предупредили, чтобы заходила почаще, так как роды могут быть очень тяжелыми, в ближайшие дни советовали обратиться к профессору такому-то, и он скажет окончательное слово, может быть, придется «прервать беременность»... Она зачем-то позвонила на завод Игорю, начала рассказывать, а он ответил недовольно:

— О таких вещах по телефону не говорят.

И, дескать, нечего раньше времени паниковать.

Она пошла домой, чтобы передохнуть в одиночестве, выпить кофе, подумать, но в баллоне кончился газ. Она расплакалась.

И — позвонила Виктору.

...А сейчас вдруг оказалась в трамвае. Ее прижали к стенке на задней площадке, стоять было неудобно, но постепенно она отвлеклась, думая о своем, ничего не замечая вокруг. Все понятно. И незачем обманывать себя. Она любит. А он — нет. И в этом нет ничего несправедливого, обидного, страшного. Бывает. Но вот что плохо. Одно дело — первая любовь у девушки, другое — вот как у нее. Тут надо приготовиться. Всякое может быть. Не грезы и смутные желания владели ею, а совершенно определенное чувство. Она любит, и ей необходима его любовь. Вся.

Трамвай остановился.

— Конечная! — почему-то с отчаянием, хрипло выкрикнула кондукторша. — Дальше не ездим!

Натали вышла из вагона и едва не вздрогнула: она приехала к своему старому дому, откуда после смерти матери ее спроводил отчим.

Шла она по знакомой улице, как по холодному пепелищу. Все было, конечно, на своих местах, ничего не изменилось,

а внутри, а в душе, было пусто, как при встрече с давним другом, который уже не друг, и никто в этом не виноват.

А когда поднималась по знакомой лестнице, вдруг стало легко и просто грустно, будто насовсем возвращалась домой, а там мама ждет ее. И нет никакого отчима.

Но не могла поднять руки, чтобы позвонить, стояла, будто перед входом на кладбище, когда ненадолго охватывает надежда, что пришла сюда по ошибке — никого тут твоих нет.

Дверь открыл отчим, постаревший, худой, только под халатом смешно и жалко торчал острый животик.

— Это я, — не выдержала она молчания и подозрительного, испуганного разглядывания.

— Вижу. А зачем?

— Да не бойся. Просто так. Шла мимо, дай, думаю, зайду.

Отчим недоуменно пожал плечами, сказал почти виновато:

— Ну ладно. Входи. Только ненадолго. Можешь даже не раздеваться. Посиди и...

Натали перешагнула порог, медленно расстегнула пуговицы пальто, не спеша повесила его на плечики, перед зеркалом сняла шляпку, поправила волосы, переобулась в какие-то остатки шлепанцев и сказала:

— Чаем можешь не угощать.

— А я и не намеревался. — Отчим стоял перед ней, уныло свесив голову набок. — Ты похорошела. Да.

— Мебели-то! — воскликнула Натали, войдя в комнату. — Куда столько?

— Что делать? — жалобно отозвался отчим. — В филармонии я, в основном, Дед Мороз на школьных елках. Вообще-то, вроде затычки. Работаю по разряду разнорабочего. И зарабатываю чуть побольше чернорабочего. И потом сейчас мода на шефские концерты. Это значит — раскрывай рот бесплатно. Но я, — он попытался распрямиться и даже выпятить грудь, — я спокоен. Не ахти как, но обеспечен. Гарантирован от случайностей. А ты?

— Я тоже обеспечена.

— Я сразу заметил. Одета ты... состоятельно.

Натали закурила.

— Ты что?! — Отчим бросился к ней, выхватил сигарету, за метался по комнате, не зная, куда ее деть, убежал на кухню, вернулся, вытирая руки полотенцем. — Если ты катишься вниз по наклонной плоскости, то умей, по крайней мере, держать себя, ну, как положено. И потом — гигиена, режим, здоровье. У меня все-таки певческое горло.

— Прости, — сказала Натали. — Я разволновалась. Моя же это квартира. Здесь я жила. Да не бойся! — почти прикрикнула она. — Лучше скажи мне, откуда ты знаешь, что я качусь вниз по наклонной плоскости?

— Куришь, например.

— Курить я начала, когда еще не катилась. Как у тебя с женой?

Отчим поморщился, ответил:

— Терпимо. В принципе. Она экономна, изобретательна. Из ничего действительно способна сделать кое-что существенное. Сейчас обменивает квартиру, и удачно.

— Ты поэтому испугался моего прихода? Боялся, что поме-  
шаю?

— Да. Мало ли...

— Не бойся. Меняй. Рассказывай про жену.

— Больше половины, — он обвел ручкой вокруг, — ее заслу-  
га. Заботится обо мне — требует, чтобы я периодически пока-  
зывался врачам. Чистоплотна. Неглупа. Но... — Он растерянно  
и недоуменно пожал плечами. — Честно говоря, что-то не то.  
Виолетту Яковлевну я вспоминаю гораздо чаще, чем первую  
жену. У твоей матери была душа. И было как-то логично: у нее  
пресвалировалась душа, у меня — разум. Это объединяло и созда-  
вало своеобразную гармонию. А эта... она... — Отчим опять по-  
жал плечами. — А как ты?

Натали подумалось, что он не сказал чего-то, самого глав-  
ного, решила, что он проговорится потом, и ответила:

— Муж неплохо зарабатывает. У вас мода на шефские кон-  
церты, у них — на шабашки. Он даже похудел от этих шабашек.  
Чем-то в финансовом отношении муж мой напоминает тебя.

Отчим недоволен, даже с завистью покачал головой, про-  
изнес:

— Странно. Я ожидал другого. Ты ведь всегда была легко-  
мысленной. Извини, даже глупой. А тут...

— Может быть, я такая и есть, — для самой себя сказала  
Натали, взглянув на часы: еще рано. — Но мне почему-то жалко  
тебя. Ничего хорошего ты для меня не сделал, естественней бы-  
ло бы тебя ненавидеть или презирать, а у меня на тебя ни оби-  
ды, ни злости.

— Правильно, — удовлетворенно согласился отчим. — Я и  
плохого тебе ничего не сделал. Я кормил тебя, одевал...

— За это я тебе заплатила. Сполна. — Натали встала. —  
Больше я к тебе не зайду. Живи абсолютно спокойно.

— О, покой нам только снится. Конечно, мне спокойнее дру-  
гих, но...

Натали машинально прошла в другую комнату и на пороге  
рассмеялась, да так громко, что отчим бросился к ней с воз-  
гласом:

— Что там?!

— Ну, знаешь, не ожидала!

Над кроватью висела картина в окрашенной под бронзу  
раме. Собственно, это была не картина, а нечто невообразимо  
бездарное. Написана она была на уровне базарных лебедей,  
только изображены на ней были люди.

— Идем, идем. — Отчим тянул Натали за руку. — Это наше  
интимное!

— Нет, нет, я посмотрю. У меня возник нездоровый интерес.

Изображала сия картина известную библейскую сцену. Голая, с формами невероятных размеров да еще нарисованная со всеми подробностями баба валялась на траве и держала в руке яблоко величиной с арбуз. Над ней стоял в той же скотской манере нарисованный мужик, а сзади него на дереве висела толстенная змея. Все это поражало не только похабностью, а именно — бездарностью.

— Бедные Адам и Ева, — сказала Натали. — Вот как вас представляют себе некоторые нелегкомысленные люди.

— Жене нравится! — Отчим всплеснул ручками. — И ведь каких денег стоит! Ужас! Я настаивал на прикрытии наготы хотя бы у этого субъекта, но жена назвала мое законное требование мещанским и еще... ну... забыл... ханженским. Но ведь в искусстве такое вот действительно принято.

— В искусстве — да. Но ведь это как на заборе написано!

— А что я могу сделать?! — чуть ли не завопил отчим. — Она меня на семнадцать лет моложе. Конечно, я ею руковожу, я глава семьи, но и уступать приходится. В мелочах, естественно. В конце концов, мы взрослые люди. Детей у нас нет, так что...

— А почему у вас нет детей? Ты не хочешь?

— Я! Не! Хочу! — задыхаясь, прокричал отчим. — Это! Моя Трагедия! Я бы все отдал, если бы... Не могу же я жениться в четвертый раз! У меня никогда, никогда не будет наследников! Я никогда не буду отцом!

— Ты купи себе потомство. За деньги.

Лицо отчима передернулось, словно сквозь него проскочил заряд злобы; он сказал, почти не шевеля губами:

— Не смейся надо мной... Лучше поинтересуйся, почему у твоей матери тоже не было детей от меня... Не знаешь? Так узнай. Она мне рассказывала, как родила тебя. Цезарево сечение!

— Кесарево, — машинально, глухим голосом поправила Натали, приложила ладони к вискам, чтобы притупить боль. — А мне она говорила, что это след от аппендицита.

— Понимаешь, в каком я был положении? — почти торжествующе спросил отчим. — Не мог же я настаивать на повторении... Первая жена оказалась больной. А сейчас? У этой тоже не может быть детей, правда по другой причине, но мне не легче!

— Все-таки, — Натали достала сигарету, — я выкурю здесь, в коридоре. Мне тяжело... Значит, не все можно купить за деньги?

— На них можно купить все, что можно купить. С них этого достаточно. И вообще, не тебе меня судить. Лучше объясни, почему ты ведешь такой образ жизни?

— Какой?

— Ну... связанный с курением.

— Брошу. И курение. И образ.

— Ты учти, — отчим старательно разгонял дым ручками, — что молодость проходит стремительно и особенно разительные перемены в худшую сторону претерпевают женщины. Посему — думай о будущем. Пусть с первыми морщинами к тебе придут...

— Деньги, — подсказала Натали.

— Они, они, — обрадованно подтвердил отчим.

— Когда они есть, жизнь проста, — продекламировала Натали.

— Когда есть деньги, жизнь проста, — как заклинание, произнес отчим. — Смотри, не окажись у разбитого корыта. Всегда думай о будущем.

— Прощай, — бросила Натали. Ей захотелось докурить сигарету с удовольствием, чтобы отчима не было рядом, но, взявшись за ручку дверей, она спросила через плечо, не сдержавшись: — А разве ты не у разбитого корыта?

— Ни в коем случае. Мне ничего не грозит. Я гарантирован от неожиданностей.

— Но ведь ты прожил зря. После тебя — что останется? Кто?

— Мне важно прожить, а потом... Кто! Что! — Он громко плюнул. — Наплевать! По крайней мере! Я! Ни одного дня! Не прожил! Зря!

— Знаешь... — обессиленно прислонившись к стене, прошептала Натали. — А я ведь не замужем.

— Да? — машинально удивился отчим, занятый своими мыслями, потом вздрогнул. — Как?! Ты же говорила...

— Я называла его мужем... условно.

— Неужели ты не могла вынудить его...

— Я сама решила так. Я не люблю его, понимаешь?

— Ты дура, — почти ласково сказал отчим. — Ты психопатка. Беги и тащи его в загс!

— Я не люблю его.

— Любви! Чушь! А ты...

— Прощай. Мне просто надо было хоть кому-нибудь сказать об этом. Именно сегодня.

Хлопнула дверь

Щелкнул замок.

Звякнула цепочка

Еще — щелкнул замок.

И — еще...

На лестничной площадке Натали докурила сигарету, положила окурки на запыленную батарею, подождала, пока он не погас; достала из сумочки зеркало.

Так и есть: лицо было нездорово бледным. Большие черные глаза смотрели тоскливо и тревожно.

Она вздохнула, изображение потускнело.

Взглянула на часы — все еще рано.

Натали пошла вниз по лестнице, узнавая каждую ступеньку,

радуясь, что не забыла ни одной из них. Сколько она по ним бегала, ступала, легко или тяжело поднималась...

И дверь в подъезде стукнула за ее спиной по-прежнему. И так захотелось Натали побыть счастливой именно сегодня, а не завтра, не послезавтра, а сегодня, в семь часов вечера...

Ведь это просто: она любит. Это просто, как то, что падает с неба снег, дует ветер, завтра будет утро...

И тут же с ощущением обязательности счастья в сердце возникла острая боль: нет у нее счастья! Нет! Это нелепо, несправедливо, это какая-то ошибка!

Нет, не ошибка. Нет, все закономерно. Нет, иначе и быть не могло. А почему?

Натали старалась идти медленно, но часто забывалась и — спешила. Бесплезно было приказывать себе: о чем бы она ни думала, она была уже там, в набережном сквере, с ним... И что из того, что она не могла замедлить шаги, разве от этого она была бы дальше от него?

И она побежала. И ей стало радостно: пусть все удивляются, недоуменно уступают дорогу, усмеваются, злятся, завидуют... И даже когда она упала и больно ударилась локтем, и показалось, что кость треснула, и что-то внутри оборвалось, Натали было хорошо, даже — прекрасно...

Молодой мужчина с бородкой помог ей подняться и спросил: — На свидание торопитесь?

— Да! — гордо ответила Натали. — На свидание! — И побежала дальше, не отряхнув снега с пальто.

— Завидую тому, к кому так спешат! — услышала она за спиной. — Поосторожней на поворотах, синьорина!

«Дурак! — с неожиданной злостью подумала Натали. — Всегда по дороге обязательно встретится дурак!»

А дурак — к несчастью.

Конечно, Виктор еще не пришел, хотя стрелка больших электрических часов десять минут назад перескочила за цифру семь. Натали впервые заметила, что стрелка на таких часах прыгает — будто вздрагивает. «Под часами назначают свидания тогда, — подумала Натали, — когда уверены, что придут вовремя».

Она смотрела на минутную стрелку и иногда вздрагивала вместе с ней.

«Ладно, ладно, — твердила себе Натали, — пусть, пусть...»

Она села на заснеженную скамейку, усталая, будто избитая. И разрыдалась. Сначала Натали и не замечала, что плачет, даже радовалась чему-то — легче стало; и лишь когда щеки застыли, спохватилась.

«Я сама опоздала на десять минут, — подумала она, — значит, он опаздывает пока всего на двадцать».

И показалось ей, что она здесь давным-давно, может быть, несколько дней. Или — лет.

Ни о чем больше не думала.

Летели редкие снежинки.

— Извини, — услышала она, — никак не смог раньше.

— Ничего, ничего, — ответила Натали, не повернув головы, — я сама опоздала и боялась, что ты не дождался меня. И очень замерзла. Очень.

Виктор обмел скамейку перчаткой, сел осторожно и торопливо, жадно закурил.

— Я ненадолго задержу тебя, — виновато сказала Натали. — Холодно, да и... Я бы не позвонила тебе, да день выдался больно уж... тяжелый. А кроме тебя, у меня никого нет. Как ни странно.

— Конечно, конечно, — озабоченно согласился Виктор. — Мне, конечно, это приятно, но... Извини, но ты, по-моему, немного...

— Легкомысленна...

— Да, и не обижайся.

— И еще я глупа. Знаю, знаю: А если учесть, что я буквально напрашиваюсь к тебе хотя бы в друзья... — Она усмехнулась, удивившись легкости, с которой далась ей непринужденная манера разговора. — Почему же я решила, что ты... — Она резко повернулась к нему и уткнулась лицом в мокрый от снега воротник, оцарапавшись подбородком о крючок.

— Не надо, — шепнул Виктор и чуть отодвинулся.

А Натали так и осталась сидеть — с закрытыми глазами, подавшись вперед. Ей было неловко и стыдно. Она заставила себя выпрямиться, сказала:

— Опять — прости.

— Мы же совершенно не знаем друг друга, — донесся до нее голос Виктора. — Ты должна понять...

— Да ты не бойся, — раздраженно перебила Натали, — я больше не буду надоедать тебе. Честное слово. — Она громко передохнула, словно собиралась бежать; ей сразу стало еще холоднее, даже пальто показалось широким — до того она съежилась. — Когда человек тонет, его сначала спасают, а потом спрашивают. Сначала спасают, — повторила она. — Идем. Тебе в какую сторону?

Оказалось, не по пути.

Тем лучше.

Даже — легче.

— Нет, ты послушай меня, — потребовал Виктор, — а то получается...

— Ничего не получается. Ты ни в чем не виноват. Ты во всем прав. — Каждое слово она произносила с усилием. Раньше ей всегда было уютно и радостно стоять или идти рядом с Виктором, ощущать себя такой маленькой... Сейчас она чувствовала себя ничтожной, мелкой какой-то.

— Нет, ты должна понять меня. То, что простительно девочке, неппростительно замужней женщине...

— Никакая я не замужняя женщина, — сказала Натали. — Может, это глупо, но я запомнила нашу с тобой первую встречу.

Ни с кем у меня не было, как с тобой... Вот я и решила, что... Я ведь ничего не прошу... Я не буду больше мешать тебе. — Она вытащила сигарету. — Последняя. Бросаю.

Дым был горьким, и она — сигарету в сугроб. Окурок долго тлел, а на прощанье два раза мигнул.

Виктор стоял сгорбившись, опустив голову.

Повалил снег, густой, тяжелый, мокрый.

— Воялся я этой встречи, — сказал Виктор. — Даже приходиться не хотел. Нельзя нам встречаться. Не к добру. Понимаешь?

— Нет, — призналась Натали.

— Возьми себя в руки.

— Возьму. А дальше?

— Не знаю, — признался Виктор.

— А если я верю, что... нужна тебе? Что...

— Не надо, — решительно остановил Виктор. — Нам лучше не встречаться. Всего хорошего.

— погоди! — Натали чувствовала, как от стыда у нее запылали щеки. — Должна я что-то сказать тебе... каждый раз собираюсь и... сейчас ты уйдешь, не беспокойся... надо, чтобы ты знал... Понимаешь... тебе это трудно представить... но это неважно... Словом, я взаправду люблю тебя. Я бы даже сумела доказать тебе это, если бы ты разрешил. И ничего я у тебя не прошу... Просто мне жалко, что ты живешь... так. Прощай.

— Подожди, подожди... Как-то у тебя все легко получается. Все равно получается, что я... Просто у меня другие взгляды на жизнь... У меня семья, дети... никуда от этого не денешься... В конце концов, — он жестко повысил голос, — надо отдавать себе отчет... И жалеть меня нечего! Я живу так, как считаю нужным!

— Витя... — удивленно прошептала Натали. — Неправда... я же вижу... Ты сам говорил... пойми, нельзя прожить без любви... нельзя ее отталкивать... она редко бывает... я не о своей любви... вообще... ты хоть знай, что она... бывает!

— А откуда ты знаешь, что я не знаю?

— Не знаю. Я устала. Не сердись на меня. Иди.

Натали долго смотрела, как он уходил. На углу он даже замедлил шаги, и Натали бросилась к нему. А он скрылся за поворотом...

Тогда она пошла, опустошенная, вялая, пытаюсь хоть бы на чем-нибудь сосредоточиться.

— Что с вами, девушка?

— Ничего, ничего...

— А то я могу проводить, если...

— Спасибо, спасибо, не надо...

— Только уйдите с дороги...

— Да, да, обязательно...

Случайный разговор привел Натали в себя. Она до того

промерзла, что всю дорогу думала только о том, как бы скорее дойти до дому, согреться.

— Где бродила, крокодила? — спросил Игорь, помог ей раздеться и сразу сел к телевизору, через плечо объяснил: — Хоккей!

— Хоккей! — Натали сжала кулаки, чтобы сдержаться. — У меня такой день, а ты...

— Не сердись, Натусь, — попросил Игорь. — Вот кончится игра — все спокойно обсудим. Не сердись.

«В том-то и беда, что я не сержусь, — подумала Натали. — Ни в чем он не виноват. А мне надо уходить отсюда». Она машинально провела рукой по сильному, упругому животу, вздрогнула... Ушла на кухню, плотно прикрыла дверь, чтобы хоть немного приглушить скороговорку комментатора.

Проще всего — попытаться устроиться в общежитие. На первых порах. А когда будет Настя или Степа — куда?

А может, здесь остаться? Зарегистрироваться и жить? Утром готовить мужу завтрак и так далее? Вечерами сидеть у телевизора — величайшего изобретения нашего времени? Ходить в гости, принимать гостей... за ошибки надо расплачиваться...

— Натусь! — позвал Игорь. — Семь—два в нашу пользу! — Он влетел в кухню, обнял Натали, чмокнул в щеку. — Рассказывай, чего там с тобой стряслось.

— Я тебе все сказала по телефону. Мне не советуют родить.

Игорь пожал плечами, ответил:

— Нельзя так нельзя. Можно так можно. Что значит — не советуют? — Он опять пожал плечами. — По-моему, это так называемая гуманность, доведенная до абсурда. — Она впервые увидела его раздраженным. — Решай сама. А семья без детей — не семья. У меня была последняя надежда заставить тебя обраться к врачу. Думал, как речь пойдет о потомстве, ты...

— Выгони меня.

— Что за глупость?!

— А как быть? А если со мной что-нибудь случится? Если я умру?

— Ну, знаешь... Давай без трагедий. Надо поговорить со специалистами, проконсультироваться... А ты о чем раньше думала?

— Просто я не знала. — Натали заставила себя говорить спокойно. — Не знала о такой особенности своего организма.

— Да хоть что?

— Может быть кесарево сечение.

— Ну...

Лицо у Игоря было и растерянное, и злое. Он уронил столбик пепла на стол и проговорил упавшим голосом:

— Может быть, съездить в Москву, показаться настоящим специалистам...

— Завтра я ухожу... отсюда. И поверь мне: это правильно.

Игорь отмахнулся, встал, дошел до дверей, постоял там, обернулся и умоляющим тоном попросил:

— Дай хоть времени подумать. Сама, главное, подумай. Нельзя же так... наобум. — И ушел досматривать хоккейный матч.

Натали просидела в кухне всю ночь, удивляясь охватившему ее спокойствию. И лишь к утру, видимо от усталости, в душу проникла неуверенность в своей правоте. Натали разволновалась до того, что разбудила Игоря, прошептала:

— Я не знаю, что мне делать.

— Это уже серьезный разговор, — удовлетворенно произнес Игорь. — Что тебе делать? Ночами спать. И посоветоваться с врачами.

— А если мне запретят... иметь ребенка?

— Не думаю. Насколько мне известно, такие операции делают. Все зависит от тебя.

— А если я откажусь?

— Дай мне хоть проснуться, — попросил Игорь, и на лице его промелькнуло раздражение. — Надо все обдумать. Я сам наведу справки...

— Самый разумный выход — расстаться.

— Расстаться никогда не поздно. Тем более, что мне начинает надоедать твое... поведение. Пора выводить общий знаменатель, Натусь. Либо—либо. Хватит. Организуй завтрак.

Ел он старательно, сосредоточенно.

Можно было подумать, что еда вернула ему обычное расположение духа, и, беря из рук Натали чашку кофе, Игорь заговорил оживленно:

— Только не надо паниковать, Натусь. Даже меня ты ухитрилась вывести из себя. Прости. Надо все узнать, все взвесить. Я убежден, что и из этого положения есть выход.

## 18

Проснувшись необычно рано от какого-то тревожного толчка в сердце, Натали повернулась к Анне Степановне, спросила:

— Плохо вам?

— Плохо нам, — раздалось в ответ, — совсем нам плохо.

— Позвать врача?

— Не надо.

Анна Степановна лежала с закрытыми глазами и кусала губы.

— Пройдет, — сказала она, передохнув громко и судорожно. — Тут всяко может быть. Возьму да и... не поминайте лихом. В любой момент. Жалко. Вот что, Наталья. Карандаш возьми с бумагой. Мне письмо написать надо. Я говорить буду, а ты записывай. Мне с моим-то уж не повидаться, а кое-что сказать ему надо. Пиши давай... Здравствуй, Саша. Я уж померла...

— Ну, что вы...

— Пиши, пиши. Значит, так. Письмо мое получишь, когда я уж отмучилась. Пишу тебе потому, что надо мне об тебе позаботиться, а то ведь некому. Кроме меня. Я на тебя особенно не сержусь. Ты меня тоже не ругай. Ты об себе подумай. Не пей больше. Брось пить. Может, дети у тебя еще будут. И жена добрая, здоровая. Только ты ей белье мое не отдавай. Сожги лучше или продай. Фотографию со стены, где мы с тобой молодые, сними и спрячь куда-нибудь. Только не пей. Не ломай себе жизнь второй раз. Жену бери не шибко молодую. И не пей. Вот и все. Твоя жена Анна...

В спокойном, мудром, словно отрешенном от окружающего взгляде Анны Степановны ненадолго застыла боль, потом растаяла.

— Сердце мое кровью обливается, — тихо сказала Вера Ивановна. — Даже смертью своей мужика потащишь. Да будь ты проклят, напиши. В шары, мол, твои бесстыжие плюю. Понимаешь?

— Лежачего не бьют. Да и против сердца идти не могу. А оно просит, чтоб я об нем позаботилась. Некому больше.

— А я почему-то верю, что он придет вас навестить, — сказала Натали.

Анна Степановна повернула голову в ее сторону, долго смотрела, отвернулась, проговорила задумчиво:

— Из двух только один другому помочь может. В нашей паре я помощница... Придет не придет — ничего уж не изменится... Быстро жизнь прошла. Я сейчас ее вспоминаю — вроде кино смотрю, так же быстро все проходит, один сеанс. В одной серии. Всю жизнь собиралась я пожить, да и не собралась, все откладывала — то стирка, то кухню побелить надо, то капусту солить... Учиться я даже собиралась. Учебники уж купила.

— Век живи, век учишься, дураком помрешь, — глубокомысленно изрекла Вера Ивановна. — Возьму я своего идола в оборот. Пить он у меня боле не будет. Можно еще из него человека сделать. А то — прибью.

— Только ори на него меньше, — посоветовала Анна Степановна. — Любим мы все на мужиков сваливать опосля времени. Мне бы от моего уйти надо было лет этак хотя бы десять назад. Освободить его. А то он совестливый бывает, сам-от не собрался по-настоящему-то, так ляжку и тянули... Было, было время, когда я судьбой овладеть могла, потом уж она мной завладела... Ну, Наталья, досказывай. Еще успеешь...

Рассказывать осталось немного...

В консультации ей сказали:

— Времени подумать у вас было достаточно. Теперь назад,

как говорится, не повернешь. Будем надеяться, что все обойдется благополучно.

А на улице припахивало весной. Натали вздохнула так грубо, что закружилась голова.

Может, голова закружилась от радости. А радостно было потому, что Натали чувствовала себя сильной, готовой выдержать все.

Сегодня же она скажет Игорю, спокойно, даже ласково, — и это будет искренне, — что им надо расстаться, соберет вещи и переедет в общежитие. Пусть Виктор не любит ее, она любит — это главное и это надо беречь... Оставаться с Игорем — значит плыть по течению, отказаться от самой себя. Уж лучше быть одной, чем с чужим, нелюбимым. Скоро она окончит институт, впереди работа, впереди жизнь. Пусть она пока не удалась, вот и не надо ждать от нее милостей, а находить их. Они — есть. Только они не даются бессильным.

Но — не хотелось идти домой. Она долго бродила по улицам, пока не замерзла, и зашла в кафе.

Ее соседом по столику оказался отчим, и сегодня она не удивилась такой случайной встрече.

— Как живешь? — спросила Натали.

— Как? Очень неплохо. Видишь ли, я долго не мог приспособиться к привычкам жены, — оживленно говорил отчим, прямо-таки виртуозно обсасывая рыбий скелетик. — Это, как ты помнишь, осложняло наши взаимоотношения. А потом я поступил по-мужски, решительно — высказал ей свои аспекты. Правда, кое в чем она настояла на своем. Например, чтобы я завтракал и обедал в кафе. А в остальном — все отлично. А ты?

— Я? — Она взглянула на свой живот. — Я жду сына или дочь.

— А с мужем... по-прежнему?

— Нет. Я уйду от него. Завтра.

— Чушь какая! Иные ловят мужей, а ты... А как вы разделите обстановку? Как с квартирой? Учти, что обмен, раздел — это громоздкое, необычайно сложное мероприятие. Это дележ!

— Я пока буду жить в общежитии. А обстановка вся его.

Отчим пожал плечами скорее презрительно, чем недоуменно, вытер уголки рта бумажной салфеткой, аккуратно сложил ее и сунул в карман, спросил:

— Но кто возьмет тебя с ребенком?

Тогда Натали пожалла плечами.

— Ты плохо кончишь! — радостно заключил отчим. — Превратишься в какую-нибудь травинку. А ведь могла бы жить! Почему бы тебе не поучиться жить у меня? — деловито спросил он. — Вот я приближаюсь к периоду — ты можешь стать его свидетельницей, — когда буду подводить итоги. Я горд и спокоен. Мне ничего не грозит. Вот как надо жить. За всю жизнь я не потратил зря ни копейки!

— Хочешь кофе? — предложила Натали. — Я угощаю.

... — Спасибо. Я с удовольствием. Изредка можно себе позволить... Я имею в виду неполадки в сердце.

— Слушай, — сказала Натали. — А зачем тебе деньги? Одет ты плохо. Питаешься кое-как. Объясни мне. Ты не торопишься? Я тоже. Выпьем еще кофе. Я слушаю.

— Вопрос одновременно и примитивный и сложный, — напыщенно ответил отчим. — Примитивный — потому, что все ясно, как дважды два четыре. Сложный — тебе все равно не понять. Сначала надо учиться... — Он в поисках подходящих слов постукал кулачками друг о друга. — Надо научиться из копеек делать рубли. Понимаешь, не истрать сто копеек и... и вдруг увидишь, что это же рубль! А из чего он возник? Из ничего! Не выпил газированной воды несколько раз — не умер же. Прошелся пешком. Полезно. А в результате — рубль! А если ты научишься из рублей делать рубли... — В блаженной истоме он закатил глаза. — Сам процесс этого удовольствия... наслаждения... Разве это не счастье? Деньги вовсе не обязательно тратить. Истратить может любой дурак, а вот — делать их... Мне, имея их, не о чем рассуждать, нечего выяснять. Мне все ясно. Я ни от кого и ни от чего не завишу.

— Я ничего не поняла, — призналась Натали. — Муж мой копит, экономит, но и тратит. Это я разумею.

— У меня все есть. Мне не на что тратиться... Прости меня, я разволновался. Можно еще кофе?

— Конечно. И ты даже в молодости был таким?

— О, к сожалению, нет. Тенор местного значения, кой-какой успех, немного поклонниц. Я жестоко жалею о нескольких годах.

— Но ведь тебе было хорошо?

— Мне было... прекрасно. — Отчим даже застыдился. — Но потом пришлось жалеть... От тех лет не осталось ни копейки.

— А кому останутся твои деньги?

Отчим слизнул с края чашки последнюю каплю кофе, помолчал и ответил:

— Вот единственный вопрос, который не дает мне покоя. Некому оставлять. Жене — ни в коем случае. Тем более, тебе... Но ведь я не собираюсь умирать. Пусть они будут, — твердо произнес он. — Это главное. И кстати, — сказал он, неожиданно и быстро вставая, — если ты скатишься куда-нибудь вниз, не вздумай обращаться ко мне. Ни за материальной поддержкой, ни за моральной.

Домой Натали пришла усталой, но вытащила чемоданы, с которыми отчима переехала к бабушке, стала складывать одежду.

Игорь спросил, снисходительно усмехнувшись:

— Опять? На какой час заказывать такси?

— Завтра на двенадцать.

— А если я закрою тебя и не оставлю ключ? Не закажу такси?

— Ключ у меня есть. Такси закажу сама. Почему ты даже сейчас... несерьезен?

— Натусь! Ну как я могу относиться к этому серьезно, когда все это... несерьезно в высшей степени? Отбросим пока в сторону важные вопросы. Возьмем мелочь. Место в общежитии тебе дали? Нет. А ты знаешь, что тебе его не дадут? И я же буду эти чемоданы заносить сюда вот обратно. Я понимаю, с тобой что-то происходит. Я сквозь пальцы смотрю на все твои чудачества, но ведь рано или поздно... Сколько можно злоупотреблять моим терпением?

— Вот я и решила больше не делать этого.

Игорь включил телевизор, проверил настройку по сетке, приглушил звук и спросил:

— Была в консультации?

— Да. Сказали: назад поворачивать поздно.

— И последний вопрос: какое ты имеешь право отнимать у ребенка отца?

— Я не хочу, чтобы у моего ребенка был такой отец, как ты.

— Ты жестока, — спокойно отметил Игорь, пропуская кольца сигаретного дыма одно в другое. — Мне кажется, что именно ради ребенка, ради его нормальной судьбы мы обязаны кое-чем пожертвовать. Ты пока думаешь только о себе. То, что ты насколько не считаешься со мной, еще ладно. Но ты не имеешь права одна распоряжаться судьбой нашего ребенка. В конце концов, он не виноват в твоей легкомысленности. И учти: если ты уйдешь, то не вздумай возвращаться.

— Ты все пытаешься объяснить моим характером. Да, он не ахти какой... хотя бы удобный. Но что прикажешь мне делать, если я уверена, что обязана исправить свою ошибку? Пусть дорогой ценой, пусть с опозданием?.. Я ведь не говорю, что я — сама добродетель, а ты... Я, можно сказать, ни в чем тебя не обвиняю. Сама я во всем виновата. А ты предлагаешь мне пронести ошибку через всю жизнь.

Натали говорила спокойно, и Игорь отозвался миролюбиво:

— Я лишь о том, чтобы не торопиться. Если бы разговор шел обо мне, я бы сказал просто: мне с тобой хорошо. Лучше — не надо. Но если рвать, — чего я очень не хочу, — то совсем. Как будто нас с тобой друг для друга нет. И не надо писем, определений, на кого похож ребенок, чей у него носик и тому подобное. Деньги буду переводить до положенного срока. Я не сентиментален... А всего разумнее — давай ужинать...

...На другой день Натали переехала в общежитие.

— Хватит, — тихо перебила Анна Степановна. — Зови врача. Потом Натали долго стояла у окна в коридоре. Она не вы-

спалась, у нее побаливало в затылке, а на душе было смутно. И тревожно. Ведь через несколько дней ее выпишут и...

И выйдет она на улицу, и пойдет на берег Камы. Там она сядет на скамейку...

В сердце кольнуло. А вдруг она не выдержит? Вдруг не хватит сил победить тупое, липкое желание жить равнодушно, привычно, как вниз по течению, а мимо — настоящая жизнь? Позовет ее Игорь, и она вернется, и будет вечерами сидеть у телевизора, будет ходить на работу и в гости и не вспоминать, как когда-то вела себя... Если бы сейчас у нее была Настя, все было бы проще. Уехали бы куда-нибудь и жили — вдвоем... А теперь она одна... совсем одна...

Она прикрыла рукой вырез в халате на груди, улыбнулась, еще не понимая, как там, внизу, за оградой оказался Виктор.

Он махал ей рукой и что-то говорил.

Натали боялась пошевелиться, словно самым легким движением могла спугнуть видение. Ей показалось, что она задремала и вот — привиделось... Но как облегченно вздохнулось... В одно мгновение она освободилась от всего, что угнетало ее.

— Сейчас, сейчас, — прошептала Натали, будто Виктор мог услышать ее, и бросилась бежать по коридору, громко шелкая подошвами тапочек, каким-то чудом не упала на лестнице, рванула дверь...

— Нянечка!

— Да что с тобой?!

— Скорее дайте халат... понимаете, ненадолго... Он пришел! Я быстро, никто не увидит... вы должны понять... я же без него жить не могу... Вы такая добрая... — бормотала Натали, запутавшись в рукавах халата.

— Я на тебя главврачу докладную подам, — растерянно отвечала нянечка, помогая ей завязывать тесемки. — Где это видано? Да меня из-за тебя в два счета с работы выгонят. Никуда я тебя не пущу, психопатка ты ненормальная... — Нянечка, всхлипывая, повязывала ей косынку со своей головы. — Не пущу и — все...

Натали чмокнула ее в щеку и убежала.

Дежурившая при входе медсестра даже головы не подняла от книги.

Прохладный утренний воздух ознобил Натали. Она дышала сквозь стиснутые зубы, словно боясь задохнуться.

Виктор медленно шел к ней. Натали спрыгнула с крыльца, сбросила тапочки, чтобы легче было бежать, и остановилась, почувствовав скользкий холод гравия.

— Я уезжаю, — сказал Виктор, опустив голову.

— Ну и что? — радостно прошептала Натали, ища его взгляда. — Я буду ждать!

— Мы уезжаем, — еще тише сказал Виктор, отвернувшись. — Так лучше. Ты должна понять. Ты обязана... — И закурил.

Натали молча протянула руку, взяла папиросу и — вздрогнув — сломала ее. Выбросила.

Огонек еще долго тлел и дымился.

— Понимаешь... мне от семьи... не уйти... не могу... не имею права... у меня такая работа — мне нельзя...

— А когда?

— Сегодня. Я специально решил хотя бы пройти мимо... и вижу — ты у окна... Потом поймешь, что я был прав.

— Знобит, знобит, знобит, — бормотала Натали, пытаюсь дыханием согреть руки. — Сейчас, сейчас... я что-то должна сказать тебе... самое главное... и забыла, забыла, забыла...

— Наталья! — услышала она нянечкин голос.

— Тебя зовут, — сказал Виктор. — Желаю тебе...

— Так вот... так вот... — торопливо бормотала Натали. — Подожди, подожди... Неужели ты не мог прийти... не так? Я не успею сказать... вспомнить... Ведь ты абсолютно неправ... Ты не понял меня... не захотел понять...

— Наталья, Наталья, бежи сюда! — звала нянечка.

— Ты не понял меня...

— Это ты меня не понимаешь...

— Я понимаю, но... не уезжай, а! Я не буду беспокоить тебя... ведь мне не забыть тебя, как ты не понимаешь!

— Оглохла ты, что ли?! — Нянечка дернула ее за рукав. — Анна Степановна тебя призывает! Помирает она! Да пошли! — И она потянула Натали за собой.

А она протянула другую руку Виктору, а он уже уходил.

— Неходи... только, чтобы хоть в одном городе... Уйдите, нянечка, уйдите... позовите его... нет, не надо... — Натали от волнения охрипла, перепуганная нянечка попятилась, а Виктор оглянулся, сказал испуганно:

— Нет, нет, прощай... я напишу тебе... Ты можешь простыть... босая...

— Попадет мне через нее! — всхлипнула нянечка.

— Не пиши, не надо... я так и не вспомнила...

— Иди, иди, тебя ждут!

— А-а! — Натали прикрыла ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. — Вспомнила... Ты врешь... ты врешь самому себе... ты всю жизнь будешь врать... самому себе... а значит, и всем... Иди, иди, иди...

Виктор уходил торопливо, опустив голову. Жалко уходил, почти убегал.

И Натали, тоже опустив голову, побрела обратно.

Нянечка ждала ее у крыльца с тапочками в руках, шепнула обессиленно:

— Бежи, бежи, опоздаешь, умирает она...

Когда Натали бежала по лестнице, ей казалось, что от каждого шага сердце может разорваться.

Из палаты доносился громкий, с повизгиванием плач.

Натали толкнула дверь.

— Тебя она все звала! — завывала Вера Ивановна. — Горемыченка наша! И на меня успела ласково посмотреть! Ягодка на-а-аша! Почо сволочи долго живут, а... — И задохнулась в рыданиях.

Анна Степановна будто спала. Спокойно. Даже радостно.

Появились санитары с носилками, и Натали вышла из палаты, сжав виски ладонями.

— Бывает, — прошептала нянечка, — никуда от этого... а ты держись, Наталья, экономь себя...

Весь день Натали прислушивалась к самой себе. Она испытывала какое-то необычное ощущение, которое не соответствовало тому, что она переживала. Она ждала тоски, растерянности, хотя бы уныния, но... Конечно, она несправедлива к Виктору. Она же абсолютно не знает его жизни, его работы... Поразило лишь то, что он жалок... И еще она знала, что переживания будут потом, а сейчас надо разобраться, что же с ней происходит. И только ко вечеру она поняла, что просто выздоровела. Значит, завтра ее выпишут. Сначала она посидит в набережном сквере под большими часами, будет долго смотреть, как вздрагивает минутная стрелка. А потом Натали отправится в общежитие. И не будет она ругать свою судьбу, а будет жить.

Нянечка сказала, что внизу ее ждут, и предупредила:

— Жулик, по-моему, какой-то.

А это был отчим, облачившийся в серый парусиновый костюм, с подвернутыми и уже засаленными рукавами.

— Что тебе надо? — спросила Натали.

— Что мне надо! — возмущенно отозвался он. — Что за тон? Мне надо, чтобы ко мне относились по-человечески!

— Кто?

— Ты!

— Я?!

— Да, ты. У меня, у твоего как-никак родственника некоторым образом, несчастье. Крупное. Ты обязана мне помочь. Ведь мы несколько лет жили в одной семье...

— А ты меня выгнал.

— В силу обстоятельств.

— А что сейчас случилось?

— О! — простонал отчим. — Случился детектив. Кошмар. Глупость. Чушь. Но я — жертва. Моя жена, эта мерзавка, авантюристка, вампир...

— Тише, тише, — насмешливо попросила Натали. — Она что, бросила тебя?

— Самым подлым образом.

— А при чем тут я?

— Не могу же я жить один. Я стар. И болен. У меня никого нет. У меня даже постирать некому. Вот в какое я попал положение.

— Но у тебя есть деньги.

— У! Меня! — в ухо ей шепотом выкрикнул он. — Нет! Денег! Нет! Она вынудила меня дать ей доверенность на все сберкнижки и... и улизнула в неизвестном направлении.

— А картина? — не сдержав смеха, спросила Натали. — Те заборные Адам и Ева?

— Висят! — Отчим махнул ручкой. — Я найду покупателя. Продать еще есть что... Я консультировался у юристов. Ничего не получается. Закон, как ни странно, на стороне этой негодяйки. Я прошу тебя! — Он цепко схватил Натали за руку. — Ты не имеешь морального права бросать меня! Это бездушно, бесчеловечно! Я могу, учти, обратиться в газету, в профком твоего института, в комсомол, я потребую...

— Самое странное, — перебила Натали, — я тебя жалею. Мне следует тебя ненавидеть, а я тебя жалею. Почему?

Отчим заморгал, громко проглотил слюну, выговорил:

— Я заслужил... всю жизнь я работал, как лошадь. Я имею в виду не только филармонию, а всю мою деятельность. Экономил каждую копейку даже старой валюты. И — крах... Я думал: не выживу. Несколько дней я лежал, и по моим щекам текли слезы. Я не принимал пищи. Мне хотелось умереть. — Отчим говорил напыщенно, почти декламировал. — Смерть уже стояла у моего изголовья. Я слышал, как останавливается мое сердце... Но представляешь, что получилось бы, если бы я умер?! Эта мёрзавка стала бы обладательницей моей квартиры и всей обстановки! Я встал, пошел в кафе, поел и понял, что переживу ее, обязан пережить.

— Короче говоря, ты хочешь, чтобы я стала у тебя домработницей на общественных началах?

— Зачем такая ирония? — возмутился и обиделся отчим. — Назови это просто заботой о человеке.

— Но ведь ты сам никогда ни о ком не заботился.

— Я человек прошлого. Если хочешь, можешь считать меня даже пережитком. А ты человек нового общества. Вас воспитывают по принципу человек человеку, насколько я помню, не волк.

— всю жизнь, — тоскливо сказала Натали, — ты был бездушен, бессердечен...

— Не надо читать мне нотаций. — Отчим жалобно шмыгнул носом. — Откуда мне было знать, что может случиться такое безобразие? Кстати, стоило мне немножечко проявить души, как я согласился выдать доверенности на все сберкнижки этой отпетой авантюристке... Сейчас у меня нет сил бороться с жестокой судьбой, а ты сильная. Ты можешь все выдержать.

— Да, — задумчиво согласилась Натали, — теперь я могу выдержать все.

— Вот и помоги мне. — Он ласково прикоснулся к ее руке.

Натали брезгливо отдернула руку, сказала:

— Буду давать тебе деньги, чтобы ты мог нанять...

— Нет, нет, нет! — испуганно прошептал отчим. — Не надо все сводить только к деньгам! Мне нужен живой человек, чтобы он приходил ко мне, беседовал со мной, утешал... — Он заплакал.

— Перестань, — попросила Натали мягко, — поздно плакать.

— Обещай... обещай мне...

— А и ладно. Что-нибудь придумаем. Иди.

И вот Натали сидела в набережном сквере под большими часами. Смотрела, как вздрагивает, отсчитывая время, минутная стрелка.

Грустно и светло было на душе.

С Камы прилетел вестер. Натали вздохнула так глубоко, что закружилась голова. Захотелось сказать себе самой: ты еще ничего, почти молодец... Она чувствовала, что пережила свои беды, как затяжную болезнь, и — выздоравливает, пусть медленно, трудно...

Вспомнила, как родила девочку, и от радости чуть не расплакалась...

И сейчас — не расплакалась.

1963—1973

## ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮБОВНИКИ

— Да, да, как положено в таких случаях выражаться, нахожусь в курсе дела. Нет, сигнал в органы печати давал не я, но полностью разделяю мнение сигнализировавшего, точнее, сигнализировавшей... Я, между нами говоря, тоже не нашел в себе сил сдержаться и сообщил необходимые сведения по месту работы этого гражданина. Он на заводе крупном работает, там мой сигнал, может, и не прозвучит достаточным образом, а то и затеряется. Не везде ведь еще к письмам трудящихся относятся с должным вниманием. А вот она — учительница! Ей вот... я полагаю, товарищи по совместной работе, а работа в школе, сами понимаете, в основе своей воспитательная... укажут этой дамочке, что, дескать, чтобы кого-то воспитывать, надо самой... это самое... ну, моральный облик надо иметь... Вы, корреспонденты, в этом хорошо разбираетесь. В школу я анонимно сообщил. Какой смысл в данном случае фамилию указывать? И фамилия-то у меня очень уж необычная, — это я в шутку, конечно, — Иванов. Да и, честно говоря, по моему собственному личному опыту знаю, анонимка-то страшнее иногда, чем с подписью. Да, да! Сообщил факты, а — кто? А неизвестно! А факты — вот они! Кричат! На меня ведь тоже иногда жалобы поступают, правда мелкого масштаба. Так вот, если с подписью,

это ерунда для меня. А вот — анонимка! Кто? Кто? Кто? Ночами ведь не сплю в догадках... Так что анонимка силы своей не потеряла. А может, у нее все будущее, как говорится, впереди... Хорошо, хорошо, приступаю к делу.

Кто они, спрашиваете? Обыкновенные они любовники, или как там еще таких называют. Уж мы-то знаем этот сорт. По опыту. Я ведь по роду своей службы много уже лет вынужден довольно часто сталкиваться с так называемыми моральными проблемами. Вернее, антиморальными.

Гостиница наша, как видите, маловата. Всегда, представьте себе, переполнена. На первом этаже кто-то, извиняюсь, выпил, расшумелся, на втором, значит, этаже клиенты слышат, возмущаются, жалуются. Конфликт, то есть скандал. И так почти ежедневно. Не умеют люди пить. Да и подраспустились некоторым образом. Вам, в органах печати, это хорошо известно. Почти ежедневно, повторяю, так называемые конфликты. Но это еще ерунда. Бывают ситуации куда сложнее.

Есть такой сорт людей: как прибыл в командировку, так бегом — знакомиться. С местными женщинами, как вы сами, наверное, догадываетесь. Глядишь, прибыл утром, а вечером является и этак бочком-бочком, то есть в профиль, к себе в номер перемещается. Не один, как вы, конечно, догадываетесь, а с особой из местного женского пола. Нехорошо. Антиэтично. У нас на этот счет порядки строгие. Мы за моральную сохранность клиентов отвечаем перед вышестоящими организациями. Но есть тут свои тонкости. Если антиморален, положим, какой-нибудь мелкий деятель типа шофера, то разговор у меня с ним короткий и конкретный. Хуже, сложнее, я бы выразился, куда деликатнее, когда в подобной ситуации замешан... ну, как бы вам обрисовать?.. Этакий солидный, скажем, гражданин. Тут и тонким, но понятным, и строгим намеком стараешься воспользоваться, и... и чаще приходится делать вид, что ничего такого особенного не замечаешь. И это не отсутствие принципиальности. Просто подобный солидный гражданин сам за себя отвечает.

Не очень уж часто вышеупомянутые случаи, но все-таки бывают. Причем с шоферами реже. И мы обязаны наш, хотя бы и небольшой, опыт по борьбе с антиморализмом обобщать и в рамках возможного распространять. Тут ведь не все так просто, как кажется. Главное — невозможно определить, с какой целью ведут местную женщину в номер и что у нее, подозреваемой, внутри. Какое духовное содержание, я имею в виду, и конкретные желания в данный момент.

Но факт, к сожалению, остается фактом: с моралью в нашей гостинице дело обстоит не на должной высоте. Я вообще считаю, что человек полностью раскрывается именно в командировке. Вот в проруби тонуть будет, в страшном огне гореть, а всех основных качеств не проявит. И чтобы, уточняя, человека раскусить до конца, надо с ним в командировку съездить.

Теперь, значит, об этой парочке. Лично я не верю в разные там тонкости, как говорится, ньюансы и прочее. Стихов не признаю, поэтов не уважаю, словом, всякие лирические элементы только выпимши вслух употребляю, да и то лишь за компанию, когда говорить уже не о чем, а «завяли лютики» или «мы с тобой два берега у одной реки» уж раз по десять проорали. По-моему, всякие чувства и романы из-за них у взрослых людей, извиняюсь, я шучу, конечно, чепуха на комбижире.

Вот я свою жизнь в качестве примера приведу, если опять, конечно, не возражаете. Женился я, дай бог памяти, двадцати лет от роду. Сейчас мне сорок седьмой. Производим вычитание — получаем что-то чуть более двадцати пяти с хвостиком. То есть четверть века, то есть столетия, прожил я со своей благоверной. Надоела она мне, сами понимаете, основательно. Фундаментально, я бы сказал, надоела. В основе, в принципе надоела. А что делать? Воспитывать совершенно отбившееся от рук подрастающее поколение и терпеть.

И прошу обратить внимание на мою редкую откровенность. В другой плоскости нам нет смысла разговаривать.

А кругом, между нами задушевно говоря, если уж правде прямо в глаза смотреть, молодые дамочки и — что еще гораздо хуже — девушки платьями шуршат, каблучками, чтоб им пусто было, постукивают. На органы чувств действуют. Я уже не говорю о брючках в обтяжечку, о декольте почти на всех частях тела. Тут вообще... сильнейшее производят впечатление и воздействие. Иной раз в глазах потемнеет, сердце вот-вот остановится, как прикинешь, сколько же примерно счастья мимо тебя прошуршало, простукало, в брючках прокачалось. И еще сколько прошуршат, простукает... Обидно, мягко выражаясь.

Сначала детишек, этих цветов жизни, этой вершины любви, как в песне поется, жалко было. Потом они вроде бы выросли. И совесть в наличии имеется. У меня, конечно. Плюс аспект на данные вопросы Я-то знаю, как будут протекать события в случае моей моральной неустойчивости. Ничего хорошего в конечном итоге не будет. Это ведь правильно говорят, что только дуракам везет, что только дуракам счастье. Вот они всегда устроятся... И вот прикидывал я, между нами говоря, проектировал, так сказать, уход от семьи на основании существующих законов, конечно... Объекты для сильных чувств у меня были. Эх, какие объекты! Точнее, субъектки, так сказать... Но... Дурак бы на моем месте вовсе развернулся, а я... Правильно в какой-то книжке сказано: горе от ума. Ум-то мой и останавливал меня, твердил мне: все они, объекты мои, одинаковы. Даже наука, я слышал, это утверждает. А то, чем они друг от друга отличаются, надоедает со временем, приедается. Вот я лично, к примеру, очень уважаю отварной язык с зеленым горошком. И все-таки вдруг обыкновенной картошечки в мундирчике захочется. Организм потребует. Так вот и с этими, которые мимо шуршат и простукивают...

Хорошо, хорошо, сейчас я о деле. О сути, значит. Хотя и все выше сказанное, если глубоко вдуматься, — а вы, работники печатной прессы, обязаны уметь глубоко более или менее думать, — имеет самое прямое отношение к интересующей вас сути. Продолжаю.

Первый раз увидел я их года четыре или даже пять назад. Сидели мы с бухгалтершей над годовым отчетом. Ночь уже... А бухгалтерша тогда у меня была... красоты у нее, конечно, никакой. В выражении лица, я имею в виду. Зато уж все остальное... глаза мои режь какую-то испытывали, когда я на нее смотрел. Зареветь белугой можно было от обиды на то, что я вот с ней годовой отчет просматриваю, а все остальное в жизни она с другим делает... Грубовато я, конечно, выразился, но от души и правдиво.

Ночь, повторяю. Гостиница переполнена. В моем кабинете товарищ из облпотребсоюза спит. А еще будет поезд — проходящий, московский. Хоть редко, но прибывают на нем к нам из областного центра. Но — суббота, совсем уж редко командировочный в такой городишко, как наш, на воскресенье глядя придет.

За бухгалтершей муж зашел, дурак набитый, конечно. Один я остался. Скучаю, тоскую, злюсь и с каждой минутой все больше понимаю, что от морали моей ни черта не осталось! Так и стоит перед глазами выдающаяся бухгалтерша. То есть бухгалтерша-то она самая средняя, а женщина... Слушайте, слушайте, внимательно слушайте! Если поймете меня, все остальное поймете и дадите принципиальную оценку поведения той парочки. Муки, муки мои оцените!

Тут — стук. Дежурная, знаю, дрыхнет. Я, естественно, не тороплюсь. На душе немного полегчало: кому-то сейчас тоже не очень сладко, хотя и по другой причине.

Подхожу я к двери, объясняю через стекло, что свободных мест, а тем более номеров, в наличии не имеется. Ведь в данном случае впустить клиента — значит с ним мучиться. Они ведь как действуют? С улицы они только в помещение просятся будто бы. А как в помещение проникнут, ты им место, будь любезен, предоставь. А мне и без клиентов тошно было. Думал я о том, чем сейчас выдающаяся бухгалтерша занимается...

А на улице ночь, зима.

Поругались мы с ним через стекло, отвел я немного душу, даже чуть-чуть успокоился и тогда дверь отомкнул.

Гражданин вошел, спокойно так вошел, будто я его в люкс пригласил. А пальто на нем не по сезону демисезонное, но дорогое, чувствуется, шапка тоже дорогая, мохнатая, портфель впечатляющий.

— Зря ломились, — говорю, — некуда мне вас пристроить.

— Нет, не зря, — отвечает он и, представьте себе, без всякой злости. — Здесь-то, — он вдруг улыбнулся мне, — теплее, чем на улице. — И опять улыбнулся.

— Логично, — говорю я по возможности ехидно. — А где рассчитываете прилечь? Или вы стоя спать предпочитаете?

— Вот тут, на стуле, и переночую, — весело отвечает гражданин. — Скоротаю как-нибудь ноченьку. Не привыкать.

Уж чего я совершенно не перевариваю, так это веселых людей. То есть не всех веселых, а тех, которые в трудных ситуациях улыбаются, видите ли. Как вот этот! Ведь я имел полное право, вернее, возможность, дверь ему не открывать! Топай себе обратно на вокзал. Километров этак пять. Автобусы-то уже не ходят. Как говорится, не курсируют. И он знал это! И улыбался. Ночь на стуле сидеть, а ему — смешно. Кажется мне в таких случаях, что улыбаются они нарочно, специально и даже подло. Дескать, есть в нас что-то такое, чего тебе никогда не иметь. Чего в тебе сроду и не было, и быть не могло... Ведь попади я в его положение, я бы изорался со злости!

А этот улыбается, как вы, конечно, уже догадались, хорошо так улыбается, открыто, без напряжения. И я понимаю, что это он от всей души, а не в том ракурсе, чтоб койку выклянчить.

А между прочим, один-то номер пустует — наш единственный люкс. Он почти всегда пустует, на всякий случай.

И чем только этот приезжий на меня воздействовал, до сих пор не знаю, а сказал я ему, сам себе удивляясь:

— Ладно. На ночь я вас устрою. — И популярно объясняю, что утром он должен номер освободить без напоминания. Мог бы я с него и расписочку взять, но не взял почему-то.

— Спасибо, — отвечает гражданин и, представьте себе, не удивляется.

А я удивляюсь, мягко выражаясь, тому, что он не удивляется.

Направились мы с ним в люкс. Вы как хотите, а рассказывать буду подробно, потому что если рассказывать кратко, в общих чертах, то, собственно, и рассказывать-то нечего. Любовники и — все, или как там еще называют. Фельетон ваш, я в этом абсолютно убежден, встретит полное сочувствие коллективов всех гостиниц. Откликов будет масса.

Так вот, сообщать об этой парочке есть смысл только во всех подробностях, потому что главное, сугубо антиморальное, явствует именно в некоторых мелочах. А внешне, коротко — чего тут интересного, полезного для разоблачения их сущности? Тут и приличных-то слов не потребуется.

Поднялись мы, значит, в люкс. Вот в этот, где мы сейчас с вами. Как видите, две маленькие комнатки. В первой имеем шифоньер один, трюмо одно, круглый и письменный столы. Диван и четыре штуки стульев с полумягкими сиденьями. Было еще два кожаных кресла, недавно списали. Выдающаяся бухгалтерша себе их взяла. Временами, честно говоря, пытаюсь представить, умственно вообразить, как она в них располагается...

Вторая комнатка предназначена для полного, или, как мы

говорим, люксованного, отдыха. Там кровать одна, почему-то двуспальная, тумбочка одна и прочие мелочи для быта.

Зашли мы, значит, сюда, в первую комнатку. Включил я свет. Приезжий сбросил пальто, шапку, сел на стул и сказал вдруг:

— Хорошо-то как...

Так он это сказал, что я поверил, хотя и не понял, что же именно он имеет в виду.

— Давайте знакомиться,— предложил он. — Адамов.

И я представился и тут же обнаружил, что ни черта он не расслышал!

Устал я, чувствую, да и... в голове все еще бухгалтерша помешалась...

Адамов же не только про меня, а обо всем забыл. Встал он посередине люкса, голову вверх закинул, руки за спину и — улыбается.

И говорит в потолок:

— А неплохо.

Пришла дежурная, сообщила, что звонила моя благоверная, спрашивала, что я делаю и с кем и собираюсь ли сегодня домой. А какое ей, собственно, дело? У меня годовой отчет. Человек я, это ей должно быть хорошо известно, спокойный, выдержанный, держусь с внутренним достоинством, никуда, даже ночью, не денусь.

По-моему, Адамов и не видел и не слышал дежурной, думал себе о чем-то и улыбался, что начинало меня уже раздражать.

Я спросил с подчеркнутой иронией:

— Как вам наш люкс?

Он опять посмотрел на меня удивленно, так, будто только тут и обнаружил здесь наличие моей персоны, сказал:

— Спасибо вам... — И закурил.

Вроде бы я ему и не мешаю и в то же время чувствую, что ждет он, когда я уйду. И мне делать, собственно, нечего, и даже разговаривать не о чем, и домой мне — хочешь не хочешь — надо, а сижу, словно всех умственных способностей лишился. И еще спрашиваю зачем-то:

— Надолго к нам?

Адамов отрицательно покачал головой, опять продолжал молчать, но когда я, можно сказать, принципиально встал, он произнес:

— Не уходите, если не хочется. — Вежливо он это, между прочим, сказал, с явным уважением ко мне. — Вы мне несколько не мешаете. А спать я пока не собираюсь.

Сел я обратным порядком.

Как он выглядел? Ничего особенного. Высокий. Сухощавый. Лицо немного опухшее. Мешки под глазами. Широкоплечий. Волосы густые, черные, с проседью, чуть лохматые. Брови лохматые и тоже с сединой. Глаза глубокие. И еще руки его я запомнил. Огромные. Вены надуты. И руки у него все время — как бы сказать? — жили будто сами по себе. Вот сидит он, не

шевелится, а руки словно, например, спорят или веселятся. Такое получалось у меня устойчивое впечатление.

— Впервые здесь? — спросил я. — В нашем городе я вас не видал.

Он кивнул, вдруг заметно опечалился.

И молчит!

А я сижу и думаю: почему же это я не отбываю? Разговор не клеится, и неудобно, кстати, директору гостиницы вступать в неофициальные отношения с клиентом. Ведь завтра он может мне вот таким образом заявить: я из номера — никуда ни за что...

— А живете вы, товарищ директор, скучно! — вдруг весело сказал Адамов. — И даже доброта ваша от скуки. Домой сейчас придете и от скуки же с женой, ни в чем не виноватой, поругаетесь.

Ума, по-моему, много не надо, чтоб о таком варианте догадаться. Конечно, поругаюсь — тоже мне, научное открытие! И, конечно, от скуки. В основном. Ведь как мы с моей благоверной последнее десятилетие живем? Вот даже интересное, содержательное кино посмотрим, чужой радостью или чужим горем поживем, мысли иногда могут даже возникнуть, а скука во мне все больше тяжелеет. Тогда дома, знаете ли, уже не конфликт, а инцидент.

Я и спросил Адамова:

— Какое вы имеете право оскорблять человека? Откуда вы предполагаете, скука там у меня или...

— Скука, скука, — отвечает Адамов и, представьте себе, в высшей степени добродушно. — Мне это очень знакомо. Было. И меня вы, товарищ директор, не пускали в свою обитель только потому, что ршили немного поразвлечься. В конце концов, это ведь действительно интересно: вы в тепле, есть свободный номер, а кто-то, если вы захотите, будет мерзнуть на улице. Вот вы его в тепло и не пускаете. И не так уж вам скучно, когда вы этого человека через дверное стекло пугаете...

— Слишком много на себя берете... — Я хотел возмутиться, а высказался вяло: — Кто вам дал право рассуждать подобным образом?

— Не обижайтесь, — сказал, вернее, даже попросил Адамов. — Если я не прав, так мы завтра с вами все равно расстанемся, и вы забудете о моих ошибочных суждениях. — Проговорил он это спокойно, а я со злостью почувствовал, что нисколько и не обижаюсь, а наоборот — послушать его хочется.

А он молчал.

В номере холодно. За окнами ночь. Там, где-то в тепле, моя выдающаяся бухгалтерша... не тоскует, по всей вероятности. А мне идти домой, точнее, плестись... И приплетусь я домой, а дома — жара. А дома — жена. Ничего я против нее не имею, кроме того, что она тыщу лет мне законная супруга. Не изменял я ей толком ни разу. Фактически-практически. Все только в уме,

методом фантазии... Прав Адамов: скука. Ведь вообразить надо, представить, какие женщины на свете выросли. В кино иной раз такую увидишь, что вся твоя моральная подготовка к чертовой бабушке или куда-нибудь еще подальше летит да попискивает жалобно, а то и воет!.. Сидишь, пялишь глаза на это дело, а в голове мысль аж скрипит: а ведь муж у такой-то или кто другой имеется!.. И ничем он меня, вполне может быть, фактически не лучше... В шутку, конечно, я... а может, и значительно серьезно... Но вот что опасно! Ведь то, что иногда нам на экранах зарубежную оголенность, как говорится, демонстрируют, некоторой части молодежи нравится. Истинной-то сути раздеваний, вернее целей оголенности и всего такого прочего, она-то, молодежь, не улавливает и постепенно разлагается! От шестнадцати лет, а то и раньше! Долго я эту тему анализировал и одно только придумал: недостаточно у нас контролируют моральную сторону репертуара кино... И вдруг так мне захотелось Адамову о выдающейся бухгалтерше рассказать! Вернее, посоветоваться. Чувствую, что сразу бы на душе полегчало... А тут в висках стучит: скука, скука, скука... А отчего? На службе еще вроде бы жизнь, а дома... надосело все. Обрыдло.

— А что прикажете делать? — вырвалось у меня. — Может, вы и посоветовать способны?

— Советовать я не мастер. — Адамов улыбнулся задумчиво и, по-моему, грустно. — А вы не юноша. Вас уже не переделать... Утренний автобус когда приходит?

— Первый в десять. Ждете кого-нибудь?

— Жду, жду! — громко и весело ответил Адамов, вскочил, прошелся и плюхнулся на диван. — Жду, жду... — Он снова вскочил, снова прошелся, остановился передо мной, спросил ни к селу ни к городу:

— Давно в этом заведении директорствуете?

И, представьте себе, я отвечаю, хотя и понимаю, куда он клонит:

— Кто-то должен и гостиницами заведовать.

— Это само собой, — соглашается Адамов. — Не важно, чем заведовать, важно — как.

— А вы знаете, как я руковожу?

— Почти досконально. Вам ваша должность нравится. Не за хлопоты вы к ней привязались. Не за возможность доставлять людям хотя бы мелкие удобства. Любите вы свою малюсенькую должность лишь за то, что она дает вам хотя бы малюсенькую, да власть над людьми. И властью этой вы пользуетесь для удовлетворения своего провинциального тщеславия. Приятно вам, например, на вопрос о свободных местах, даже когда они есть, чуть-чуть помолчать, наслаждаясь, как вам глядят с надеждой в глаза. Да? Так ведь? Не случайно со мной вы сегодня перепилились, а не дежурная! — И Адамов рассмеялся.

И мне хохотнуть пришлось, чтобы юмор получился. Не могу же я ему всерьез возражать? Хотя, конечно, приятно чувство-

вать себя не последним человеком, ну, к примеру, перед таким, как Адамов. Понятно, что директор гостиницы — должность не самая важная. Но для приезжих я кое-что значу и, естественно, не могу отказать себе в удовольствии реализовать данное обстоятельство.

В свое время я достаточно переживал, что не получил ни образования, ни специальности, а покатился по хозяйственной части. Привык. И зарплата невелика, зато жизнь тихая, вся, так сказать, для себя. Привык, повторяю. Пусть меня по телевизору не показывают, пусть про меня в газете за всю жизнь всего один раз, да и то пакость, напечатали, зато я дольше многих проживу. Инфаркт от служебных переживаний мне не грозит. У меня, как вы выразились, малюсенькая власть, а у многих и такой нет. Вот и не имею я оснований приbedняться.

Адамов мне:

— Без телевизора не можете. Был ли хоть один вечер, чтобы вы его не включали?

Тут мое терпение лопнуло. Хватит. Без тебя соображаю. Но вот спорить с ним я боюсь. Не знаю, как вам объяснить, а уж очень он на меня воздействовал. Злился я на него, но держался корректно и спросил вежливо:

— Какое вам дело до меня и до моего телевизора?

— Не сердитесь, — ответил он весело. — Просто так поинтересовался.

И опять молчит!

А я все уйти не могу, будто жду чего-то важного, сообщения серьезного, такого, что мне после этого жить станет не очень тоскливо.

В углу, как видите, фикус. Громадина. В потолок, подлец, уперся и чуть не половину данного помещения занимает. А вытаскать его отсюда невозможно. Рубить нельзя — инвентарь, да и жалеют некоторые. Клиенты и персонал. Даже в книге отзывов о нем положительно записано. Дескать, берегите.

— А меня он раздражает. — Адамов поморщился. — Устроился тут, как незваный гость! И знает, что нельзя его выгнать!

— Может, засохнет еще добровольно.

Помолчали мы довольно длительное время, встал я, попрощался независимым голосом и ушел: и с Адамовым мне тоскливо стало, надоело на его несущественные вопросы отвечать.

Иду. Бреду. Плетусь. Мороз. Ветрина дует страшный. Мурно мне. Так бы вот и пробежал мимо дома своего. Но это уж лирика.

А факты, значит, следующие. Утром я проснулся, будто кто меня в бок ткнул, позавтракал впопыхах и — буквально бегом в гостиницу.

Выписался, оказывается, Адамов. Все как положено — деньги заплатил, номер сдал. Не придерешься. Расстроился я, вроде бы обиделся, зашел почему-то в люкс, посидел, покурил... И чего я об этом Адамове думал? Почему? Чего я в нем обнаружил?

Днем я его встретил на улице, около автовокзала. А он меня и не заметил, не взглянул в мою сторону — пустое я для него место, получается.

А рядом с ним стояла она. Маленькая такая дамочка, незначительная. Накрашенная. Не сказал бы, что красивая. Улыбается. И он улыбается.

И если уж всю правду сообщать, зависть во мне закопошилась. Почему, спросите? Сам не знаю. Но вот идут люди, и все на них смотрят. А ведь ничего особенного в них нет. Стоят двое, он и она, чего-то там говорят и улыбаются друг другу. А все на них смотрят. И я рот, извиняюсь, разинул. И завидую самой лютой завистью — мне бы вот так постоять! Не в дамочке дело. Бог с ней... Но мне ведь с бухгалтершей-то своей выдающейся стоять-то ведь так... даже представить нельзя. Чего это я с ней на улице зимой торчать буду?.. И не в Адамово дело. Вот вместе с дамочкой они — вот завидно!.. Наплевать им, полагаю, и на мороз, и на ветер, а тем более — на меня, конечно. Одни они на всем белом свете. Никого не видят, никого не слышат, и никто им не нужен.

А ведь не жена она ему...

И он ведь ей, извините, не муж...

Любовники они обыкновенные, полюбовники или как там еще таких называют, — вот кто они!

Счастье-то у них, может, и есть, а совести нету. Бессовестные они!

Чего ж он меня вчера учил? Чему? Фигус рубить? Получается, — это вы уж обязательно запишите! — если с Адамовым согласиться, так лучше жене изменять, чем телевизор смотреть? А если поглубже в него, в Адамова-то, заглянуть, то ведь он самый настоящий пережиток прошлого. И дамочка его тоже. Не наш они образ жизни ведут!

Но часто я эту парочку вспоминал потом. В основном, конечно, с моральным осуждением, а иногда, извиняюсь, и по-хорошему. Завидовал опять же. Были у меня, как говорится, ассоциации воспоминаний. Да, да, исключительные ассоциации! Смотрю я, предположим, кино, и встретится там что-нибудь этакое светлое — сценка, к примеру, приятная. Так я не выдающуюся бухгалтершу вспоминаю, которая уволилась к тому же, а парочку ту антиморальную... Но в основном, в принципе, я их безусловно осуждал.

Не буду вас отвлекать разными подробностями моей личной жизни, хотя они и имеют значение в связи с данной историей. Возьмем, в частности, вопрос о телевизоре. Ничего в нем страшного нет. Можно его регулярно каждый вечер включать. Худо ли, плохо ли, а содействует телевидение укреплению и — особенно! — сохранению семьи. Не прав тут Адамов в своих насмешках. Уважай он телевизор, понимай его значение, может, и не влип бы в ситуацию, о которой морально устойчивые люди были вынуждены сигнализировать.

Вторично я встретил их месяца два назад. Осенью. Жуткая осень, как вы помните, была. Дожди круглосуточно.

Опять-таки в субботу торчал я в гостинице без особой надобности, вернее, без всякой надобности. Но предлог нашел — дежурная Клава Соколова намекала, что в кино ей хочется, так я ей даже билет организовал. Сажу, журнал «Огонек» просматриваю.

Входит женщина.

Взглянул я — она! Адамовская.

Плащик у нее просвечивает, и производит она впечатление — ну, мотылек, что ли, какой или что-то с воздухом связанное, с легкостью, с невесомостью, если по-нынешнему формулировать. Капюшончик она откинула, поздоровалась радостно, будто мы с ней знакомые, и — улыбнулась.

— Присаживайтесь, — говорю я ей по возможности скептически. — Только свободных мест в наличии не имеется. И ждать бесполезно, от всей души не советую.

Она на это сообщение не произвела абсолютно никакого реагирования. Очень жаль. Непонятно. А то понаблюдал бы я!

Сняла она плащик, отряхнула, повесила на спинку стула. А у меня в уме сразу воображение: вдруг да я ее в люкс провожу, сядем мы с ней рядышком под фикусом... Головой я тут затряс от возмущения: вот публика! До каких неприличных мыслей порядочного человека довести способна!

А дамочка — будто ни в чем и не виновата! — спрашивает: — Как же мне быть?

— Понятия не имею, — не скрывая радости, отвечаю я, а самого так и подмывает информировать ее, что кое-что мне о ней известно. Вернее, не кое-что, а подлинную сущность я ее знаю.

Она у зеркала волосы расчесывает, а я от нее глаз отвести не могу. Такое тут несообразие получается: голову-то я отвернул, а глаза-то как бы на прежнем месте остались — в воздухе вроде бы висят! — и на нее смотрят. С мозгами, значит, что-то она у меня сделала... Не потому, что она в моем вкусе, нет. Хотя, впрочем, изящная, я бы сказал, до невозможности. Мне ее было интересно вот с какого ракурса проанализировать: из-за чего Адамов с ней дело имеет? Семью свою рушит из-за какого, извиняюсь, места? Ну, ножки там (я лично ноги предпочитаю), талия и то, что поблизости, ничего. Но и ничего особенного. Тем более выдающегося. Ведь должно что-то быть, из-за чего до сдвигания достукаться можно!

Ресницы как искусственные, вымазанные чем-то. Ротик маленький, тоже в краске. Глазки голубые и, знаете ли, со смыслом, только не определить, с каким именно... Смотрел я, смотрел с таким, понимаете ли, сильным умственным напряжением и ничего, представьте себе, значительного не обнаружил. Видимо, не на ум такие воздействуют.

— Что же вы делать собираетесь? — спрашиваю я все же с удовольствием.

— Не знаю, — отвечает она спокойно и даже до глупости беззаботно. — Понятия не имею.

А голосок приятный. Легонькая она вся, надо полагать. На руках он ее... тьфу! Затрясло меня почти. Ведь скажи я ей, что выставляю ее сейчас под дождь на ночь, так ведь что она сделает? Она встанет, плащик накинёт, капюшончик поднимет, улыбнется мне и — уйдет. Честное слово, уйдет назло мне, лишит меня элементарного удовольствия порадоваться хотя бы на растерянность. А я тут останусь журнал «Огонек» просматривать, имея в перспективе домой топать, семью у телевизора сохранять!

А в голове у меня жуткая мысль: уйдет эта для меня ничем не выдающаяся, потому что у нее — встреча с ним. Этим она и живет. А у меня этого — нету и, главное, не будет...

А наверху, между нами говоря, люкс, как положено, пустует. Мог бы я ее на ночлег устроить сразу. Но нет, натура не позволяет.

— Надолго к нам? — вдруг спрашиваю.

Она отрицательно покачала головой и грустно улыбнулась, так грустно, что жалко мне ее стало. Человек ведь она, женщина, хотя и не в моем вкусе... А с другой стороны, чего ее жалеть прикажете? За что? За какие такие заслуги? Да и на физиономии ее крашеной такое счастье проявляется, какого мне в жизни не только не видать, а и не вообразить... Никакие ассоциации не помогут!

Ждет она его. И кроме него, ей никого и ничего не надо.

Слышу я, что говорю ей:

— Не волнуйтесь. Устрою. Номер тут есть забронированный, но вряд ли кто с ночным поездом прибудет.

А с ночным поездом приехал он, Адамов. Но об этом я узнал только утром. У Клавы Соколовой даже обычно очень яркие губы побелели от справедливого девичьего возмущения.

— Какое безобразие! — чуть ли не крикнула она. — Только в заграничном кино такое и увидишь! И то краснеешь! А тут... у нас... — И указательным пальцем правой руки пододвинула два паспорта.

— Ладно, ладно, — пробормотал я, — бывает...

— И воровство бывает, и грабежи, и убийства! Нельзя же на преступления сложа руки смотреть! Делать что-то надо! Предпринимать! Действовать!

— Да как и что получилось? — спросил я по возможности невозмутимым голосом, чтобы Клава Соколова немного успокоилась. Она ведь в случае чего и меня впутать в эту историю сочтет возможным.

— Я их предупреждала! Я им все высказала! А он, видите ли, паспорт рядом с ее паспортом положил! «Делайте, что хотите», — сказал и ушел. К этой, конечно! Я требую от вас...

Смотрю: Адамов с чайником идет.

— Слушайте, — говорю я ему, специально не ответив на его приветствие. — Вы что, правил внутреннего распорядка не знаете? Или будто бы понятия не имеете, как мы обязаны квалифицировать ваше поведение? Или на работу о данном случае сообщить? — не гневно, а насмешливо спрашивал я. — Как вы на это смотрите?

— У вас закурить есть? — он спрашивает, и я машинально угощаю его. — Спасибо. А то мы за ночь все выдымили... Правила внутреннего распорядка я знаю. Мое поведение квалифицируйте, как вам будет угодно. Помешать вам сообщить на работу не имею возможности. Еще вопросы есть?

— Когда отбываете?

— Придется, видимо, сейчас.

Вижу: сник он, обиделся, растерялся. Это приятно.

— Понимаете... — говорю я неискренне, конечно, — мне-то что... А вот дежурная, — и головой показываю в сторону Клавы Соколовой, которая от возмущения плюс негодования с брезгливостью к окну отошла, — она девушка молодая, комсомолка. Как ей ваше поведение объяснить?

Адамов пожал плечами и ушел, даже забыв в чайник кипятку налить.

Брожу я по вестибюлю, соображаю, пытаюсь сформулировать текущие события, анализирую — нет, не сходятся концы с концами. Тянет меня к ним, к этим! Какую-то духовную инфекцию они выделяют, что ли. Посидеть бы с ними, поговорить, проблему рассмотреть какую-нибудь, отвлечься, словом... А нужен я им? А кто им вообще нужен? Потому они и счастливыми себя полагают, что никто им не нужен. Действительно, они и без телевизора могут... Ни мороза, ни дождя, ни правил внутреннего распорядка не боятся...

И все же, если смотреть глубоко в корень, в суть, завидовать им нечего. Тайком они счастливы. Незаконным способом. Под угрозой общественного осуждения счастливы. И никакими красивыми или непонятными словами этого не прикрыть. Уж лучше скука, но законная, но — чтоб людям в глаза прямо смотреть. А не прятаться в чужом городишке, будто здесь о морали понятия не имеют.

Удивляться вы, конечно, будете, но я к ним постучал. Разрешили мне войти. Вошел я. Адамов сидел за столом. Она — примерно вот здесь, на стуле, поджав под себя ногу.

— Без курева вы, — хотел сказать я остроумно, а промямлил — получилось. — Вот пожалуйста.

— Спасибо вам огромное, — сказала она. — Не сердитесь на нас. Мы скоро уйдем. Присаживайтесь.

Ага, грустными сделались, чувствую, невеселенькими! Не думаю, конечно, что совесть у них, предположим, голос подала. Просто Клава Соколова хорошенько их припугнула.

— Вот что, товарищ директор, — сказал Адамов, и, по-моему,

довольно грубо, — если уж вам очень необходимо, ну, душа ваша просит сделать нам пакость, ограничьтесь, пожалуйста, только мной. То есть сообщите лишь обо мне. Если уж иначе не можете. Понятно?

— Пакостей я делать никаких не собираюсь, — ответил я, сами, наверное, догадываетесь, с внутренним достоинством. — Но долг свой общественный выполнить в принципе обязан.

— Вы меня поняли или нет? — спросил Адамов, закуривая третью подряд мою папиросу. — Я вас русским языком прошу: не можете если вы без пакостей, выполняйте свой общественный долг в отношении меня, а ее не трогайте.

— Вы мне не диктуйте, — сказал я и вдруг добавил: — Не беспокойтесь. — И быстро ушел, словно не им передо мной стыдно было, а мне перед ними.

Клава Соколова сдала дежурство, но не уходила. Видно было, что девушка уж очень была оскорблена поведением той парочки.

— Я бы таких... — Она даже кулаки сжала. — Ненавижу!

Уж какой на меня стих нашел, не помню и до сих пор не понимаю. Наверное, что-то вроде временного затемнения сознания. Но заговорил я примерно так:

— Ты, Клава, в принципе абсолютно права. Так сказать, объективно права. Но жизнь, она... всякая, знаешь ли, бывает. Не всегда от человека зависит, каким боком она к нему повернется. Сложности в ней бывают. Противоречия. Ситуации. Инциденты и парадоксы. Тут уж лучше не загадывать.

— Извините меня, — сказала Клава таким благородным голосом, какой меня, не буду скрывать, всегда восхищал и даже некоторым образом волновал. — Не согласна я с вами! Отговорки все это! Наказывать таких надо! Судить! Садить!

— За что?! — Тут я прямо растерялся.

— Будто не знаете! — И благородный голос Клавы превратился в обыкновенный злой. — За разврат!

— Какой разврат?! — можно сказать, поразился я. — Где ты его видела?

— Этого еще не хватало — видеть! — И Клаву всю передернуло. — Что они там, по-вашему, книжки читают? Не-е-т! Вы прекрасно знаете, чем они там занимаются!

Вот когда я сам о них думал, то делал выводы точно такие же, как Клава Соколова, но когда она говорила о тех двух, мне захотелось ей противоречить, и резко. И в то же время мне не хотелось с ней спорить: еще решит, что я такой же. Повторяю, она и меня могла к этой истории приплести.

Одной детали я сугубо не понимал, если уж быть объективным до конца. Вот эта самая очень высокая моральность Клавы Соколовой временами казалась мне чуть ли не болезнью. Только прошу понять меня правильно. Вот была бы Клава Соколова не то чтобы с дефектом, а просто не слишком фигурная хотя бы. Тогда было бы ясно, почему у нее к морали такие высокие тре-

бования. Но ведь она... телогрейку, к примеру, наденет, а деталей некоторых, извиняюсь, и то скрыть не может. Поразительное у нее... все, выдающееся... А у меня с ней отношения. Односторонние, правда. С моей только стороны. Я ей очень сильно увлекаюсь. Будь я пошляком каким-нибудь или просто непорядочным человеком, я бы... Рядом ведь она, почти всегда перед глазами... Неужели она сама-то сил своих невообразимых не чувствует?! Живая ведь она!.. Но ни о чем, конечно, в отношении отношений с ней и речи быть не может. Пресекает она даже взгляды на себя... К делу это не относится, но ситуацию проясняет.

Дежурство ее, значит, окончилось, а она не уходит. Стоит неподвижно, и заметно, как журнал «Огонек» в руках у нее дрожит.

А я почему-то думаю: как же так получается, что никто за ней не ухаживает? Неужели только на меня она производит исключительное впечатление?.. И — главное — почему в ней не чувствуется потребности, мягко выражаясь, нравиться?.. Несоответствие получается. Своего рода ненормальность, я полагаю. Жить человек должен в соответствии с природными потребностями, ощущения испытывать, чувства и прочее интимное... Неудобно сообщать об этом, но ведь в данной ситуации высокая моральность Клары Соколовой выглядела чрезмерной, тоже вроде бы ненормальной... Честно признаюсь, что тогда я в своих мыслях запутался. Не зная, что мне и сказать Кларе Соколовой, я спросил ее:

— Почему домой не идешь?

— Должна я на их посмотреть, — дрожащим голосом ответила она. — С какими физиономиями они мимо проходить будут?

— А чего тебе их физиономии? Ничего ведь мы с тобой об этой парочке не знаем.

— Не знаем! — Клара Соколова презрительно взглянула на меня. — А чего знать-то? Сигнализировать надо! Не-е-ет, я должна посмотреть, с какими физиономиями они мимо честных людей проходить будут!

А они как раз и спускаются по лестнице. Посмотрел я на их физиономии и подумал: «Ох, и напьюсь же я сегодня! Со всей ответственностью!»

Адамов-то еще как-то смотрит, что-то вроде бы еще и видит вокруг. А она... Вот утверждают, что человек иногда как бы в самого себя, вовнутрь, в сущность свою смотрит. Так и она, эта.

Вышла она на улицу. Адамов расплатился, документы взял, внимательно посмотрел на меня, кивнул.

— Попробуйте только еще хоть раз приехать! — почти крикнула Клара Соколова.

— Больше уже не приедем. — Адамов грустно улыбнулся. — Не поминайте лихом. — Хотел он еще что-то сказать, но опять улыбнулся, но уже чуть веселее, махнул рукой и ушел.

— Мерзавцы какие, — сквозь зубы процедила Клара Соколова. — Неужели вы таким поблажку сделаете?

И будто не я, а кто-то другой отвечает ей, а я с интересом слушаю:

— Ты погорячилась, Клава. Они не маленькие, сами разберутся, а к нам больше не придут. Ну, бывает же, что хорошие люди ошибаются. Ты мало знаешь жизнь. Видно, не любила еще и... — И тут я был вынужден резко изменить точку зрения: Клава Соколова так гневно задышала, что груди ее чуть ли не в подбородок упирались. — Это я в порядке обдумывания сказал. Я их осуждаю.

— Мало осуждать на словах! Надо применять меры! Наказывать! И если вы недостаточно...

— Что ты, что ты, Клава, я...

— Я и без вас все сделаю, не беспокойтесь! Есть на свете фельетоны для этого! Я корреспондентов вызову! Вот я все сведения об этих из паспортов списала. Получат по заслугам, не отвертятся!

— Правильно, правильно, принципиально, — постарался сказать я громко и уверенно, а получилось глухо и уныло. — Ты абсолютно права. Если бы все так думали и, главное, практически действовали, с воспитательной работой дело бы далеко вперед шагнуло.

Смотрел я вслед Клаве Соколовой и серьезно сожалел. Она с дежурства уходила, а моя жизнь, вернее, ощущения мои убывали. И дверь уже за ней захлопнулась, но я все еще видел Клаву Соколову, во всех доступных выдающихся подробностях видел и как никогда убежденно сознавал, что нельзя мне с такой иметь даже односторонние отношения. Приятно было сознавать, что не разрешил я себе распуститься. Какой бы моя благоверная ни была, я могу спокойно смотреть ей в глаза. И для детей я пример.

Больше я ту парочку не встречал. А когда вспоминал о них, сомнений уже никаких не испытывал. Не имеем мы права делать поблажки ни себе, ни другим. Надо уметь сдерживать противозаконные чувства. Ведь иначе мораль на должной высоте не сохранить. И нечего там теории всякие выдумывать и стихи на неприличные темы сочинять. Знаем, к чему это на практике сводится. Недаром государство за моралью следит даже в гостиницах второго разряда.

Много еще предстоит нам работы в этом направлении. Без ложной скромности скажу, что если такой, как я, временами мысленно поддавался запретным ощущениям, чего о других говорить?

Кто сигнализировал о той парочке, догадываюсь. Клава Соколова, конечно, немного перестаралась. Она и о ней, и о нем на работу сообщила и, видимо, к вам в редакцию... Но ее понять надо. Очень уж она принципиальная. Ей бы, я полагаю, не в гостинице за мораль бороться, а в более широких масштабах... У меня все...

## МАСТЕР ПО АВАРИЯМ

Не припомню за давностью лет, как именно называлась его должность в штатном расписании, но на нефтепромысле, который обслуживала наша электроразведка, он был известен как аварийщик или мастер по авариям. Оба названия звучат, согласитесь, по крайней мере двусмысленно: ведь он, конечно, не делал аварий, а ликвидировал их, кстати, с редким мастерством и поражающей простотой.

Когда выдавалась авария не только серьезная, а такая, что никто и понятия не имел, как с ней справиться, когда хоть бросай скважину (сколько труда и средств впустую, да и война в это время была), тогда и вызывали Ефима Курочкина. Не бывало, чтобы он не спас скважину.

Личность он был почти легендарная. Во всяком случае, задолго до знакомства с ним я слышал немало историй, одна другой удивительней, иные даже с оттенком неправдоподобности, а то и вовсе невероятные, героем которых был он, Ефим Курочкин.

Кроме профессиональной славы, сопутствовала ему еще более громкая и поразительная. Он слыл неким всеильным устроителем человеческих судеб. Распалась, к примеру, семья, и достаточно было, дескать, появиться Ефиму Курочкину, что-то там быстренько предпринять или вообще что-то посоветовать, как семья тут же соединялась и в ней навсегда воцарялись мир и благополучие. Кого-то он будто бы спас от жестокой и, казалось, неминуемой несправедливости, кому-то лекарства редкие доставал, кого-то даже жильем ошастливил. Короче говоря, Ефим Курочкин обладал совершенно необыкновенным и безотказным влиянием на людей, в том числе и на высокое начальство.

Долго мне не доводилось встретиться с ним, а историй о нем я узнавал все больше и больше.

Одна меня особенно удивила, хотя полная ее достоверность вызывала немалые сомнения, а в моем изложении может прозвучать и совсем неправдоподобно, однако риску.

В поселке, где жил Ефим, славилась красотой и вздорным характером Нинка Капустина. Я встречал ее, и она поразила меня с первого взгляда. В кого она такая уродилась? Высокая, вроде бы даже тонкая, но богатая каждой частью тела, и все они то и дело как бы оживали, требуя к себе внимания.

Но больше всего Нинка завлекала естественной, идущей из глубины существа жизнерадостностью, не наигранной, а природной веселостью, способностью без всякого напряжения не предаваться унынию. В военные годы это много значило, более, чем молодое красивое тело.

Голос у нее был глуховатый, откровенно чувственный, с кем бы она ни говорила. И каждому парню и, уж конечно, мужчине

мерещилось, как бы она ему этаким-то голосом сказала бы некоторые слова...

Вот лицо Нинки, пожалуй, ничем особенным не отличалось, кроме почти беспрестанного выражения лукавства и не обидной ни для кого насмешливости.

Из множества женихов со всей округи она, видимо из-за вздорности характера, и выбрала неказистого, тишайшего, низкорослого да еще и рыжего, конопатого шофера Мишку. Несуразность этого решения станет еще очевиднее, если добавить, что по фамилии Мишка был Дураков.

Объявив о своем неожиданном выборе, всполошив всех, Нинка со свадьбой не спешила, оттягивала ее до неприличия так долго, что и смеяться над этим, и злословить, и недоумевать всем надоело. А тут обрушилось 22 июня 1941 года, и о затянувшейся отсрочке свадьбы сразу начисто забыли, а месяца через два Мишку призвали в армию.

Никодим — отец Нинки — был дикарь дикарем. Рассказывали, что первая его жена молодой еще от побоев умерла, вторая — сбежала, а вот третья — Нинкина мать — как-то с непутевым, жестоким мужем ладила или просто научилась безмерно терпеть.

Беспутный, бабник несусветный, Никодим лицом чернел, когда выкрикивал бесконечные подозрения дочери в ее надвигающемся или, как он предполагал, уже состоявшемся грехе.

— Убью, убью, убью, если что! — только и твердил Никодим и, чувствуя, что Нинка не шибко его угроз пугается, выдыхивал будто из последних сил: — Изувечу...

И вот является Нинка к Ефиму, как рассказывали, и сообщает этак легко и чуть ли не весело, что беременная от своего Мишки Дуракова. Дескать, пожалела она жениха несуразного, солдата к тому же, накануне отправки в армию, сама, дескать, напросилась, да еще, мол, и уговаривать пришлось женишка.

— Никто ведь и не поверит, — беззаботным тоном закончила Нинка, — а отец меня очень даже и убить может. Вы знаете, какой он на этот счет.

— Матери говорила? — сразу оценив опасность, так сказать, сложившегося положения, хмуро спросил Ефим.

Долго толковали они и про любовь, и про глупости, с нею связанные, и, главное, про то, что Нинка от Мишки ребеночка хочет и будет ждать своего жениха, или, точнее, мужа, верно, как обещала.

К концу разговора Ефим помрачнел, отвернулся, и даже по его, ставшей вдруг сутулой, спине Нинка поняла, что вполне может получить и отказ, для нее неожиданный: до того она всегда была уверенной в себе.

Тут вот самое время сообщить одну существенную и кое-что объясняющую подробность: Никодим не то что безгранично ува-

жал Ефима Курочкина, а считал его непререкаемым авторитетом во всей жизни, слушался его даже тогда, когда дикарил из всех сил и унять Никодима никто и не пробовал.

— Заварила ты кашу, — сумрачно, растерянно и не без доли явной обиды на что-то сказал Ефим. — Убить, конечно, не убьет, но покалечит уж обязательно... Да я-то тут при чем?! — Он резко повернулся к Нинке, и во взгляде его промелькнула чуть ли не ненависть.

— Так вы ж мастер по авариям... — попробовала Нинка и взбодрить Ефима шуткой, да и уважить, но не получилось.

Ефим смотрел на нее отчужденно, готовый вот-вот обозвать ее словом, какое она потом не раз услышит у себя за спиной.

Хотела Нинка уже встать, уйти куда глаза глядят. Ефим поднялся первым и проговорил деловито:

— Придется мне ваш грех на себя взять. Другого выхода нету. Соображаешь?

Сначала Нинка согласилась радостно и легко, как все в жизни делала, но, заметив, что Ефим, прищурившись, неподвижным взглядом уставился на фотографию, где он был с женой и детьми, сникла и хрипло прошептала:

— Может, и не надо... так-то?

— А как еще прикажешь? — зло спросил Ефим и горько добавил: — Мастер же я по авариям... чужим. Наколбасят, а мне...

Пришлось ему еще и долго уговаривать, будто он самого себя спасать собирался.

И всю близкую, показавшуюся вдруг неблизкой, дорогу Ефим ее чуть не силком тащил, а Нинка вяло, безнадежно сопротивлялась, словно Ефим казнить ее решил.

Явились они к Капустинным, и он уважительно, но и твердо, без всяких там объяснений и извинений сообщил Никодиму о том, что они якобы сотворили с его дочерью...

Под дикарский вопль отца пришлось Ефиму не выбежать, а прямо-таки вышвырнуться во двор. Там они долго бились, вернее, Ефим только оборонялся. Ростом и силой они были одинаковы, но Никодиму мешала ослепившая его злоба. Ефим же действовал расчетливо, исхитрился топор отобрать, забросил его далеко в огород. Никодим схватился за вилы, вопил не переставая и страшно.

Жена и дочь выли на крыльце жалобно и испуганно, без всякой надежды, но разом замерли, когда Никодим перестал суетиться и начал кидаться на Ефима совсем уж опасно.

Вдруг тот и говорит, хотя и тяжело, прерывисто дыша, но спокойно, словно работу предлагает:

— Пошли в лес подале, там и разберемся. Чего тут людей пугать?

И пока Никодим пытался уразуметь смысл недослышанного, но все еще дергался, блажил истошно, матерился, размахивая вилами уже впустую, будто и забыл, для чего они ему понадобились, Нинка сбегала за бутылкой самогона и закуской, нали-

ла в кружки и на крыльцо мужиков пригласила, как к столу, выпить за доброе дело.

Тут они и опорожнили кружки стоя, занюхали солеными огурцами, отдышались немного, закурили, сели. Руки у Никодима все еще не успокоились, спросил он неожиданно жалобным голосом:

— Как это ты... сообразил? Кто-кто бы... а ты-то... как?

— А вот так... Не знаешь, что ли, как бывает? — тоже жалобно сказал Ефим, видимо, от усталости и нелепости своего поведения, подлинной сути которого никто и знать не мог. — У меня впервой такое, — еще жалобнее против своей воли продолжал он. — Порешили мы с Ниной, что скрываться от людей не будем. И никакого тебе, значит, позора, а уж я...

— Не! Не! Не! — Никодим аж трижды подпрыгнул сидя. — Дети ведь у тебя! И жена, конечно! Авторитет! Партбилет! Уважают тебя, верят, к тому же... Ох, прибью я ее, кошку!

— Больно круто судишь, — равнодушно отозвался Ефим. — Сам не грешил? А вот если тебя судить бы по-твоему? Сколько бы раз кого прибили?

Нинка тут (мать до сих пор пошевелиться еще не могла) опять им кружки протягивает, опять они выпивают, закуривают, и опять Никодим жалобно говорит:

— Дочь ведь моя...

— И те чьи-то дочери были.

— Но ты-то, ты-то как?! — завопил Никодим не по-хорошему. — Баб тебе мало? Нинка почему тебе потребовалась обязательно?

— Да не базлонь ты, — и без укора даже посоветовал Ефим. — Война идет, неизвестно еще, как жить-то придется... За себя-то я не боюсь. Дальше фронта не пошлют, а я туда в любой бы момент по собственному желанию... А тебе в тюрьму какая надоба напрашиваться?

Никодим явно стих, сам налил в кружки, выпили они остатки, долго и старательно хрустели солеными огурцами, и он решительно прохрипел, предварительно от всей души сматерившись:

— Дите будет считаться будто бы от Мишки Дуракова! — Он обильно и громко сплюнул. — Всел! И боле ничего! — И до того он обессилел, что откинулся спиной на ступеньки крыльца, но сразу же выпрямился и угрожающе завопил в пространство: — А кто не поверит, башку сверну! — Вскочил и скрылся в доме.

И с этого времени Никодим так вот и повел себя, никому ничего не сболтнул, Нинку даже грубым словом не трогал, а всем встречным и поперечным твердил:

— Мишка-то, мол, Дураков, конечно, а каков орел! Таку девку обкрутил — раз, два и готова!

А тут-то и оказалось, что прав был Ефим в своем нелепом и для себя опасном проступке: никто, ни один человек про Миш-

ку Дуракова не верил! Никодим и драться лез, и скандалил, и подпаивал, чтобы хоть кто-нибудь про Мишку согласился. Зря старался вконец растерявшийся Никодим.

Сплетен образовалось немало, но никакая не коснулась Ефима.

Измучившись, Никодим смирился до того, что сказал ему, чуть ли не потребовал: раз, мол, так уж получилось, гони, дорогой зятек, монету, — война, а молодую жену в ожидании потомства кормить сытно надо.

Ефим регулярно приносил деньги и даже кое-что из продовольствия. Нинка страдала, впервые в жизни голова ее и сердце что-то серьезное испытывали.

В отсутствие мужа мать всюю корила Нинку: не валяй-де дурочку, забудь своего Дуракова, а Ефима, пока не поздно, к рукам приberi законно. Слушала ее дочь с нескрываемой радостью, потом криком просила молчать про невозможное...

А вдруг приходит от Мишки с фронта письмо: дескать, будь ты трижды проклята со своим... (здесь он Ефима и будущее дите назвал нехорошими словами, которых вообще в письме было много). Теперь-то я скумекал, для чего ты меня, такая-сякая, использовала! Это, мол, тебе даром не пройдет! Если, мол, я погибну в войне с немецким фашизмом, то друзья мои боевые тебе, такая-растакая, за поруганную любовь мою отомстят...

Кто ему и зачем сообщил, что Нинка ждет ребенка будто бы не от него, долго оставалось загадкой.

Родила Нинка мальчика и еще больше расцвела, до того привлекательной сделалась, до того в ней женские силы чувствовались, что опять вокруг нее женихи и что-то вроде засуетились, на любые условия согласные, чтобы только такое добро зря не пропало.

Характер у Нинки переменялся на спокойный и рассудительный, даже с женихами обходительной была: толково и убедительно доказывала, что не нуждается в них.

Никодим же стал растерянным, будто забыл, как к кому относиться надо, на фронт просился, да врачи не пускали, пробовал возбудить себя непомерными выпивками, но вместо прежней необходимости scandalить и куражиться, как раньше бывало, утихомиривался, а то и плакал втихомолку... И еще желалось ему пьяному стать никем не замечаемым, чтоб никто его видеть не мог. Постепенно стало доходить до Никодима, что всем он в своем доме чужой и нет у него над женой былой власти, тем более над дочерью. И совсем уж несусветно: не нуждался он в прежнем превосходстве над домашними. Придет он с работы еле живой от усталости, и, пока сам организм у него не заорет, никто на Никодима и внимания не обращает. Потом ему и орать запретили: не пугай внука...

Жена на внука наглядеться не могла, дочь вся сияла — счастливая жизнь вокруг Никодима образовалась, и был он в ней лишним...

Ефим тоже переменялся. Изредка навешая Капустиных, сидел он недолго, напряженно как-то; мельком, но глубоко взглядывал на Нинку, и все женское в ней отвечало ему, глаз уже отвести не мог, резко вскакивал и уходил.

А потом и перестал заходить. Это после того, как однажды Нинка вышла вслед за ним и на крыльце — хотела шепотом, получилось громко — сказала:

— Извелась я вся!

— Я тоже, — прохрипел он и ушел.

— Ничего больше тогда не приноси! — крикнула Нинка. — Не возьму!

— Как это так — не возьмешь?! — рассердилась мать. — Я бы его и самого потребовала... Видно ведь!

Никогда и никому Нинка таких слов не выкрикивала, какие достались на сей раз матери. И та смолчала...

Но вот вернулся с фронта Мишка Дураков без правой руки по плечо... И сразу он растрезвонил, растрепал повсюду про свой якобы позор, и все это проделал, еще не заходя к Нинке, страшно грозился отомстить, не уточняя, правда, кому именно...

А ему никто не сочувствовал, не верил даже! Будто бы он и женихом Нинки никогда и не считался. Чем больше он хорохорился, чем больше проклятий употреблял, тем меньше его слушали. Потом и намекать стали, что хоть ты, мол, и руку на великой войне потерял, а Дураков и есть! Но таких дураков, чтоб тебе поверили, что Нинка от тебя без замужества родила, а сейчас и близко к себе не подпускает, таких, мол, дураков не обнаружишь!

Одно ему, бедному, и осталось утешение — над бывшей невестой своей измываться: идет пьяный за ней по улице и чего только не навывкрикивает. Конечно, срам несусветный, самого себя мужик потерял.

Ну, полагается с ним Никодим, попробует убедить смириться перед Нинкой, ну, пригрозит, но ведь не поднимется рука на однорукого солдата, хотя он и твою родную дочь поносит. последними словами, и тебя самого, и жену твою, и внука...

А вот Ефима Мишка и не упоминал! Боялся, что ли? Верно, того опасался, что уж вконец его люди дураком сочтут, если не хуже.

Ефим сам пришел к нему, угадав, что Мишка трезв и даже не очень с похмелья, объяснил обстоятельно, какой ценой спас Нинку, а закончил так:

— Не позорь звания солдата, бросай пить. На работу тебя подходящую устрой, чтоб без дела не болтался. И жди. И если даже парень твой не рыжим вырастет, все равно рано или поздно себя в нем опознаешь. Проси у Нины прощения, на коленях перед ней... Дураков!

Плакал Мишка долго и не стесняясь, вырвелся, спросил все-таки подозрительно:

— А деньги-то зачем давал? Тем боле продукты-то?

— А я все в жизни серьезно делаю. Меня мастером по авариям зовут. И раз я взялся вашу с Ниной аварию ликвидировать, то и делал до конца все как положено. И последнее: кто тебе на фронт пакость переслал?

— Маманя ее! — огрызнулся Мишка, помолчал и зашептал доверительно: — Чуть не сдох я после того письма... Одно только и спасло, что на фронте был... под каждую пулю сначала башку подставлял... Я ведь без Нинки жить не могу.

— Можешь, можешь! — почти с презрением бросил Ефим. — Трудно тебе сейчас будет Нину вернуть.

— Тогда, значит, ребеночек-то не мой! Если бы мой...

— Да твой, твой! Близко рядом с ней никого не было. Ждала она тебя верно. А ты ее обидел, оскорбил. Так что держись, солдат. Характер Нины ты знаешь.

Не вышла она за Мишку даже и тогда, когда видно было, что отец рыжего сынишки.

Мишка пил. Жалко было на него смотреть и страшно. Управившись с Ефима воздействовать на Нинку, тот угрюмо и с еле заметной болью отвечал одно: «Я все сделал». Даже Никодим терпеливо, вернее, равнодушно выслушивал Мишку, но Нинка оставалась непреклонной: его она будто не видела и не слышала.

А тут она взяла вдруг и уехала, неизвестно куда. Никодим, тоскуя по внуку, даже помаленьку выпивать перестал. Жена вечерами плакала с подвываниями и подолгу. Мишка вскоре умер. Потом от Нинки письмо пришло, но к тому времени Ефим у Капустиных уже не бывал.

При случае я расспросил его об этой истории, так ли все было. Он отозвался нехотя и не сразу:

— Что-то вроде... примерно... Вот бывают хорошие женщины! — вдруг с ожесточением воскликнул Ефим. — Никогда им хороший муж не достанется!

— А вы-то... — осторожно сказал я. — Вы-то... как?

— На мой век аварий хватит, — неопределенно и опять же нсохотно ответил он.

1986

## КАК Я НАПИСАЛ ГЕНИАЛЬНУЮ СТРОКУ

В не всегда благодарных занятиях литературным сочинительством, особенно во дни уныния, когда и маленькие радости кажутся несбыточными, съедала мой мозг и мучила сладкая надежда: написать бы хоть раз в жизни хотя бы одну гениальную строку. Нет, не просто хорошую, отличную, замечательную

или даже прекрасную, — а чтоб гениальную строку вывела бы моя рука!

Это было не желание, не мечта, а наваждение какое-то, и рассказывать об этом — лучшего повода для насмешек и не придумаешь.

И все-таки расскажу.

Жил я тогда в деревне Быковке в маленькой избушке, вставал рано, варил на таганце кофе и уныло писал.

На дворе поздняя осень, холодно, и пес мой Атос уже не убегал по утрам в лес, а крепко спал, временами сладко похрапывая. Кот не слезал с печи.

Повесть застряла на том месте, где требовалось описать развалившуюся мельницу, которую я видел из окошка.

С чем только я не сравнивал старое, отжившее свой век строение! Какие только эпитеты не придумывал!

И вдруг — в то незабываемое на всю жизнь утро — трепет прошел по всему телу, замерли руки, правая, в которой карандаш, одеревенела, голове стало жарко, на лбу мгновенно выступил холодный пот.

Непонятный страх и тут же предчувствие удивительной радости охватили меня.

Пес недоуменно открыл сонные глаза, зевнул, вскочил и, приветливо виляя хвостом, подошел и застыл, как бы в ожидании.

Правая моя рука ожила, и ею, дрожащей, я написал:

«Вот мельница, она уж развалилась...»

Господи, до чего просто и великолепно!.. Каждое слово на вес золота... Вот мельница, она уж развалилась... А сколько времени, нервов, сил затратил я на эти всего пять слов!.. Я встал и даже чуть покачнулся, словно разом обессилев...

Вот мельница, она уж развалилась...

Закружилась голова от необыкновенной музыки слов. Я вышел на крыльцо, постоял, наслаждаясь всем сразу — и тем, что живу на белом свете, и тем, что кругом утренняя деревенская тишина, леса, в которых алеют мои любимые рябины, и тем, что успею дописать повесть до первого снега и будет в ней одна гениальная строка...

Я побрел в гору, а мне хотелось бежать... Кто знает, может, я трудился всю жизнь только для того, чтобы вот однажды испытать неизъяснимый священный трепет, который вызвала во мне всего одна строка... Но — какая зато!

Я наслаждался сердцем, а не умом. В самом деле, не мог же я одуреть до того, чтобы посчитать себя способным на гениальную строку.

Просто случайно пришли в голову необыкновенно выразительные и точные слова и выстроились — сами! — в идеальном порядке.

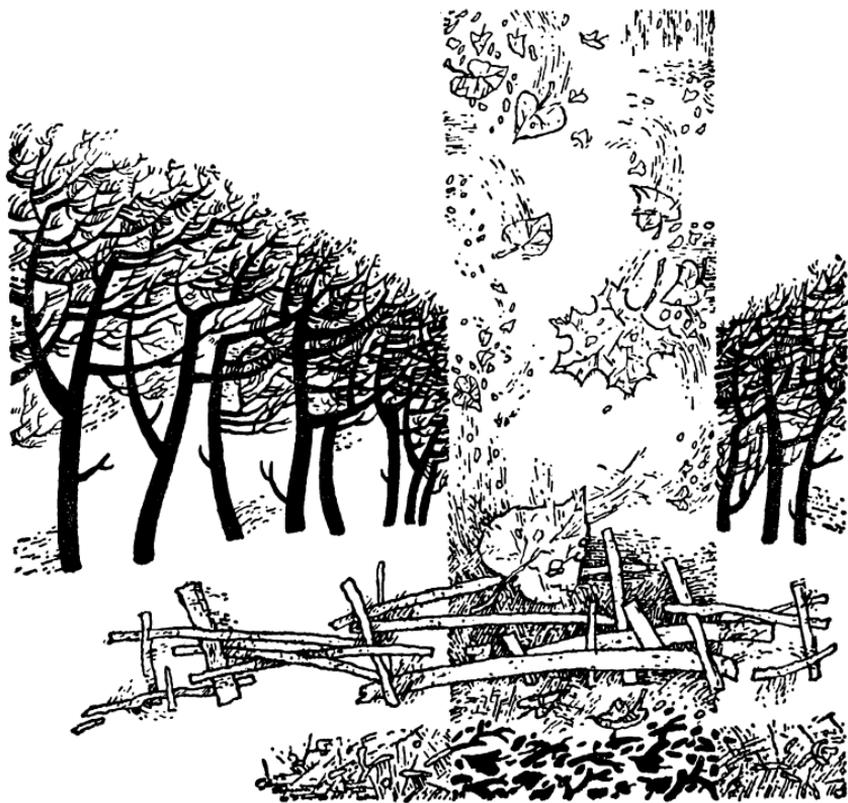
— Вот мельница, она уж развалилась... — вдруг запел я, помолчал и закончил: — А вот и дуб заветный...

Пушкин. «Русалка». Даргомыжский. Опера. Ария князя...

Я сразу замерз. Ждал, что в душе появится обида, горечь, злость на самого себя.

Ничего такого не было. Пусть смешно получилось, глупо, пусть не моя строка, но вывела ее моя рука... И это неплохо. Я пережил нечто высокое, мне недоступное больше уже никогда..

1976



## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСТВО

### ПОЧЕМУ СМЕЯЛСЯ ДОМ

В деревню ехать — всегда радостно, потому что там Олю и бабушку с дедушкой ждут не дождутся разные удовольствия, которых в городе нет и быть не может.

Самое главное удовольствие, когда приедешь в деревню, — топить печь сухими красивыми дровами. Они звенят, как ксилофон, когда дедушка складывает их себе на руку.

Дедушка несет шесть поленьев, Оля — два или даже три. Бабушка в это время приносит два ведра воды из колодца. Оля

по лесенке забирается на полати, там в корзине береста — растапливать печь.

На сей раз к избе подъехали почти уже в темноте, потому что по дороге заменяли у машины колесо, да еще что-то в ней ломалось, а шофер был хотя и очень молодой, зато и здорово сердитый и все время ворчал, будто во всем этот были виноваты Оля и бабушка с дедушкой. А им все равно было радостно: они знали, что в деревне их ждут не дождутся разные удовольствия, которых в городе нет и быть не может.

— Ведь мне сразу спать нельзя, правда? — несколько раз по дороге спрашивала Оля и сама себе отвечала: — Ведь печь затопить надо? Воды принести надо? Поесть ведь перед сном обязательно надо? Да еще кукол накормить надо! Ведь они сколько дней без меня ну совершенно ничего не ели!

Все так оно и было, как она говорила. И печь затопили, и воды принесли, и поели, и кукол накормили, сидели, чай распивали.

А перед этим случилось вот что. Когда в темноте кромешной поднялись в сени, дедушка долго шарил рукой по стене, искал выключатель, потом долго возился с замком, который никак не хотел раскрываться.

— Кто это смеется? — испуганно прошептала Оля, обеими руками схватившись за бабушкину руку.

— Тебе показалось, — сказала бабушка. — Ты устала в дороге, вот и... Ну, кто здесь может смеяться? Ведь мы здесь одни. Никого больше нет.

— А вы послушайте, послушайте... — еще испуганнее прошептала Оля. — Слышите?.. Кто-то смеется...

Дедушка с бабушкой прислушались и явственно услышали что-то похожее на негромкий смех:

— Ххх-и... ххх-и... ххх-и...

— Кто, кто это? — совсем еще испуганнее прошептала Оля, еще крепче схватившись за бабушкину руку, а бабушка весело объяснила:

— Да это дом смеется. Это так скрипят половицы, когда мы на них стоим.

Они втроем еще раз прислушались, послушали, как смеется дом, и дедушка рассудил:

— Его много-много лет не ремонтировали. Сначала он, наверное, плакал или сердился, жаловался на судьбу, потом, верно, решил, что нет смысла жаловаться понапрасну, и стал веселым.

— Да он просто обрадовался, что мы приехали! — воскликнула Оля, отпустив наконец-то бабушкину руку. — Он ждал, ждал целый день нас, думал, думал, что сегодня мы уже не приедем, а мы вдруг приехали, вот он и засмеялся! Да, да, заправду!

— Вполне, вполне вероятно, — согласился дедушка. — Но пора приниматься за дела! Пусть он себе смеется, а мы поработаем.

Принялись они за дела, закипела у них работа. Каждому, как всегда, нашлось чем заняться, а поработав, сели они за стол перед вовсю разгоревшейся печью.

Оля спросила:

— Печка смеяться может?

— Огонь в ней смеется, — ответила бабушка. — Даже дым в трубу летит весело.

Они долго смотрели, как плясало пламя над поленьями и как действительно весело тянулся из печи в трубу густой дым.

— А вот у дяди Гриши дом, по-моему, плачет, — неожиданно и печально проговорила Оля. — Ведь дядя Гриша очень редко приезжает сюда. Дом его ждет, ждет, а дяди Гриши все нет, нет, нет... А вдруг куклы здесь без меня плачут?

— Вряд ли, — ответила бабушка. — Ведь они прекрасно знают, что ты обязательно наведишь их. Уж если дом обрадовался нашему приезду, то представляешь, как весело сейчас твоим кукам!

— Нет, нет, — довольным тоном возразила Оля, — они уже спят, они ведь у меня очень послушные. Пойдемте, пойдемте! — умоляюще воскликнула она. — Послушаем, как наш дом смеется!

Они вышли в сени, дедушка включил свет. Оля опять схватилась за бабушкину руку обеими руками, прошептала:

— Слушайте, слушайте!..

Они прислушались и услышали:

— Ххх-и... ххх-и... ххх-и...

И Оля рассмеялась и отпустила бабушкину руку. И дедушка рассмеялся. Бабушка, глядя на них, улыбалась, но сказала почти строго:

— Между прочим, уже очень поздно. А нам еще чаю попить невредно.

Когда снова уселись за стол перед печью, Оля утомленно проговорила:

— Между прочим, мне сегодня разрешили ложиться поздно, да?

— Не совсем уж поздно, — поправила бабушка, — а чуть позднее обычного. В честь приезда.

Они маленькими глотками осторожно пили горячий чай, заваренный на смородиновых листьях, молчали, любовались огнем в печи.

— Надо рассказать дяде Грише про наш дом, — вдруг решила Оля, — про то, что он смеется. Может, и у него дом смеется, когда он приезжает? Пусть дядя Гриша почаще сюда ездит, — уже совсем медленно говорила она. — Дядя Гриша мне рассказывал, что его все бросили. Братья приедут, картошку заберут и больше носа не кажут... Ой, я спать хочу... у меня даже голова не держится... она свесилась...

И едва дедушка взял ее на руки, она крепко заснула.

Утром Оля, как всегда, проснулась первой, но не стала будить бабушку с дедушкой, а оделась, почистила зубы, умылась, правда не очень старательно, и принялась кормить кукол, рассказывая им:

— Вчера наш дом смеялся от радости, что мы приехали. А вы здесь без меня не вздумайте плакать. Вот дядя Гришин дом, может быть, без него плачет. Ведь дядя Гриша редко сюда приезжает. У него нога больная. На войне ранили и до сих пор вылечить не могут. И еще все его бросили. Один раз у него был день рождения. Так знаете, что случилось? Никто к нему не приехал! А он картошки нажарил, рыбы наловил, огурцов и помидоров в огороде насобиравал... — Оля помолчала, вспоминая. — Капуста соленая у него была, грибы маринованные! Вот сколько вкусных вещей! А поздравить дядю Гришу пришла только соседская кошка. Он ее рыбой за это угощал. И на кровати ей спать разрешил, прямо на подушке... Если он сегодня приедет, мы с вами пойдем к нему в гости, чем-нибудь его угостим, стихи ему прочитаем, песенки споем, попляшем... А главное — узнаем, умеет ли у него дом смеяться.

Дом дяди Гриши был прямо напротив, через дорогу. В палисаднике густо разрослись малина и крапива. Всю изгородь обвил хмель и уже тянулся к малине. Вид у дома был нежилой. В двух окнах вместо стекол давным-давно вставили фанерки.

Раньше Оля не замечала этого. А вот сейчас, когда она села завтракать у окна, долго разглядывала дяди Гришин дом, спрашивала:

— А дому бывает больно?

Бабушка с дедушкой переглянулись, дедушка ответил:

— Конечно, нет. Но и, конечно, лучше бы заменить фанерки стеклами, крышу отремонтировать...

— Так смеется он или плачет? Вот что мне надо узнать, — решительно произнесла Оля.

Весь день она то и дело проходила через сени, чтобы послушать, как дом смеется, и весь день ждала дядю Гришу, выходила встречать каждый рейсовый автобус.

Но дядя Гриша так и не приехал.

Осень наступала уже, и погода стояла неважная: солнышко то выглянет, то спрячется, то вдруг ненадолго дождик закапает или налетит не теплый, но еще и не холодный ветер.

И Оле казалось, что, когда солнышко выглядывает, дяди Гришин дом все-таки чувствует себя чуть-чуть получше. А вот когда капает дождик, дом словно готов поежиться...

В этот вечер только и разговоров было, что о доме дяди Гриши.

Чтобы успокоить Олю, дедушка сказал:

— Просто дом дяди Гриши очень стар. Ведь ему около ста лет. Он как старый человек. Очень старый. И все-таки это дом, а не человек.

— И все равно мне его жалко, — печальным голосом прого-

ворила Оля, глядя в окно на дяди Гришин дом. — Все равно ведь лучше, когда в доме кто-то живет. Скажете — нет?

— Нет, скажем — да, — сказала бабушка. — А можно еще считать и вот так. Дом, например, может знать, что дядя Гриша приезжает редко, и привык к этому. Дядя Гриша и его дом — давнишние друзья и давно знают друг друга. Может ведь так быть?

— Конечно, конечно, может! — обрадовалась Оля. — Я так и думала! А наш дом... — Она растерянно замолчала.

— А наш дом, — продолжила бабушка, — знает нас совсем недавно, всего года три. Но и то, видимо, поджидает нас каждую пятницу. И радуется, когда мы приезжаем.

— А дом любит, когда ему печку топят?

— Вот это уж точно! — ответил дедушка. — Пошли-ка за дровами.

Назавтра день был просто прекрасен. И дело даже не в том, что он был солнечен, а небо безоблачно, а в том, что от этого у всех было просто прекрасное настроение.

С первым утренним автобусом приехал дядя Гриша. Оля встретила его у ворот, и они вошли в дом.

Бабушка с дедушкой ждали ее, сидя у открытого окна. Вот Оля выскочила на улицу, но никак не могла перейти дорогу, потому что машины и мотоциклы мчались друг за другом в обе стороны.

Оля не выдержала и закричала:

— Представьте себе! Представьте себе, у дяди Гриши дом тоже смеется! Вы понимаете? Это очень важно!

Дедушка с бабушкой кивали головами и улыбались.

А день был просто прекрасен.

1981

## **ТЫ — ЭТО БУДТО Я, А Я — ЭТО БУДТО ТЫ**

— А ведь ты, дедушка, конечно, тоже был маленьким? — задумчиво спросила Оля. — Был ты еще меньше, чем я?

— Был, был, конечно. Все люди, даже самые старые, были в свое время маленькими.

— А было, что тебя не было? Неужели всех людей когда-то не было? — продолжила озабоченно расспрашивать Оля.

— Собственно, а в чем дело? — удивился дедушка.

— Дело, собственно, вот в чем, — серьезно и старательно выговорила Оля. — Я никак не могу понять, почему сначала обязательно надо быть маленькой, а потом долго-долго-долго расти. Почему сразу нельзя стать бабушкой? Ведь это так интересно!

Дедушка рассмеялся и ответил:

— Бабушкой быть, конечно, очень интересно, хотя и трудно-

вато. Но ведь не менее интересно, я считаю, быть и внучкой. Я бы, например, с огромнейшим удовольствием снова стал маленьким.

— И что бы ты делал? — настороженно спросила Оля. — Чем бы ты занимался, если бы снова стал маленьким?

— Что бы я делал! — весело воскликнул дедушка, всплеснув руками. — Чем бы я занимался! Да детством бы наслаждался!

— Как это — наслаждаться детством?

Дедушка стал серьезным, даже грустным немного, и ответил печальным голосом:

— Ну, во-первых, вся жизнь у меня снова была бы впереди, вот как у тебя сейчас... Я просто был бы маленьким, вот и все! И было бы мне очень-очень замечательно!

— А разве никак нельзя этого сделать? — озадаченно спросила Оля.

— Увы...

Оля с сожалением покачала головой, долго молчала, задумчиво глядя на дедушку, сказала таинственно:

— Нет, не увы. Сейчас я порисую, немного полеплю из пластилина, а потом что-то для тебя придумаю. — И весело добавила: — Тебе понравится!

Пока она рисовала и лепила, дедушка изредка и с интересом посматривал на нее, чистил картошку для супа. Оле еще рано доверять настоящий металлический ножик, но есть у нее маленький пластмассовый ножичек, которым ей можно резать грибы для сушки или жарехи и хлеб можно резать небольшими кусочками. Вот мыть картошку для супа — Олина обязанность.

— Посмотри, дедушка, посмотри! — позвала она и протянула рисунок. — Это вот дом, а в этом окошке — я, видишь? Правда, меня не видно, потому что занавеска. А в этом окошке — ты, видишь? Правда, тебя тоже не видно, потому что занавеска.

— Ну, если не видно... — Дедушка внимательно поразглядывал рисунок. — Но вполне можно представить, что за занавесками ты и я.

— Представить, представить! — Оля прыгнула с табуретки на пол и попрыгала от радости, но вдруг в одно мгновение стала серьезной, проговорила деловито: — Слушай меня внимательно. Тебе хочется быть маленьким, а мне хочется быть большой. Вот за этой занавеской, представь себе, ты — будто я, а вот за этой занавеской я, представь себе, — будто ты... Давай, дедушка, завтра... — Голос ее от волнения понизился до шепота. — Давай завтра ты будешь — будто я, а я буду — будто ты?

— И как мы это сделаем? — недоуменно спросил дедушка. — Я — ты, а ты — я?

— Неужели не понимаешь? — удивилась, даже немножечко обиделась Оля и стала увлеченно объяснять: — Завтра я буду будто бы ты, большая, будто бы твоя бабушка, а ты будешь будто бы маленький, будто бы мой внучек! Вот и все! Только взаправду будем, а не понарошке!

— Постараюсь... — неуверенно и почему-то с виноватой улыбкой проговорил дедушка. — И сколько времени мы будем играть?

— Ты опять ничего не понял! — Оля посмотрела на него с разочарованием и укоризной. — Мы будем как бы вразправду! Ты будешь меня слушаться, а я буду за тобой ухаживать и воспитывать тебя!

— Один вопрос... — Дедушка долго смеялся, а Олино лицо становилось все серьезнее. — Скажи, пожалуйста, а мне можно будет иногда... капризничать? Не есть кашу? Выпрашивать конфеты?

Оля тяжело вздохнула и грустно ответила:

— Не знаю... По-моему, я никогда не капризничаю. Просто бывает плохое настроение, а вы этого не понимаете.

— А когда у нас бывает плохое настроение, ты это понимаешь? — уже серьезно спросил дедушка.

— Вам все равно легче, чем мне! — убежденно сказала Оля. — Вот уложили вы меня спать. Да? Я одна, а вы с бабушкой вдвоем. Мне спать, а вам разговаривать, разговаривать, разговаривать!

— Ну, хорошо, бабушка, — сказал дедушка, — я, внучек твой, пойду спать, а ты сиди и разговаривай.

— Спокойной ночи, мой внучек, — благодарным тоном сказала дедушке Оля. — Вот и получилось, представь себе, что ты — будто я, а я, представь себе, — будто ты!

— Но сегодня, как я понимаю, мне еще можно побыть дедушкой?.. Тогда мой картошку, а я открою консервы.

Весь день Оля была серьезной, сосредоточенной и задумчивой. Не шалила она, не просила конфет, супу съела целую тарелку и с хлебом, вечером сама, без напоминаний, вернулась с улицы и сказала:

— Попьем чаю и спать. Завтра у нас важный день.

— Судя по всему, из тебя получится неплохая будто бы бабушка, — сказал дедушка с уважением. — А я постараюсь быть неплохим будто бы внуком.

Хорошо спится в деревне, куда лучше, чем в городе. Тишина ведь здесь такая, что если прислушаться, вникнуть в эту тишину, то услышишь, как под окном шелестит каждый листочек на маленькой березке... Комната в избе, по сравнению с городской, — просто огромная, воздуху много, и дедушка, сидя на кухне, с удовольствием и нежностью слушает, как глубоко дышит во сне Оля, иногда громко посапывая.

А самое главное: хочешь — спи на раскладушке, хочешь — на кровати или длинном старинном деревянном диване, а еще замечательнее — на печи или на полатах!

Оля всегда просыпалась раздумывавшейся, веселой и сразу спешила будить бабушку или дедушку, хотя было еще очень рано. Вскоре, едва успев позавтракать, Оля уже убегала в огород, где ее ждали многие дела.

На этот раз Оля проснулась и долго лежала не двигаясь, разбуженная неясным волнением, потом села на раскладушке и задумалась... Что-то сегодня должно произойти очень, очень, очень... А что?.. Грустное или веселое?

— Что-то очень, очень, очень важное, — прошептала Оля и сразу вся просияла. — Ведь сегодня я — бабушка, а дедушка — мой внучек! Дедушка, дедушка! — радостно и громко позвала она. — Да нет, нет! — Она рассмеялась. — Внучек, внучек мой, иди будить меня, свою бабушку!

Дедушка сел на кровати, долго протирал глаза, зевал, ничего не понимая спросонья, удивлялся:

— Какой внучек? Какая бабушка?

— А ты вспомни, вспомни, вспомни! Сегодня я твоя бабушка, а ты мой внучек! Мы же вчера договорились! Что ты — это будто я, а я — это будто ты! Вот и буди меня, как я всегда буди тебя!

Дедушка три раза зевнул, один раз вздохнул и проговорил:

— Доброе утро, бабушка. Пора вставать. Дай мне конфету! — потребовал он.

— До завтрака никаких конфет! — строго отказала Оля. — Быстро умываться и чистить зубы!

Бабушка из нее получилась очень веселая, а внучек из дедушки получался очень хмурый и недовольный. Он проворчал:

— У меня на сегодня запланирована масса дел. Надо принести дрова...

— Сначала надо наконец-то навести порядок в игрушках! — сердито произнесла Оля. — Все они свалены в кучу! Неужели трудно выбрать полчаса...

— Хорошо, хорошо, бабушка! — проворчал дедушка. — Давай сначала позавтракаем. Вот я попью кофе...

— Ты что?! — поразилась Оля. — Разве дети пьют кофе?!

Тут они чуть-чуть не поссорились, вернее, чуть-чуть не обидели друг на друга. Оля упрямо повторила:

— Дети не пьют кофе. Мы же договаривались, что будем бабушкой и внуком взаправду, а не понарошке. Ведь договорились?

— Хорошо, я не буду пить кофе, — сдерживая раздражение, сказал дедушка. — Но надеюсь, что и ты, ба-буш-ка, последуешь моему примеру?

— Если ты на каждом шагу будешь спорить, мой внучек, — грустно произнесла Оля, — мы никогда не позавтракаем. Вот так целый день и проспим.

— Больше я не буду, бабушка, — печально пообещал дедушка и покорно стал пить чай. И Оля стала пить чай, объяснив это тем, что не все же бабушки пьют кофе.

Дальше дела у них пошли веселее, хотя короткие споры возникали частенько: дедушка нет-нет да и забывал, что он будто бы внучек, зато Оля все время помнила, что она будто бы бабушка,

Дедушка больше часа провозился с игрушками, разложил их по местам, и Оля угостила его конфетой, но напонила:

— У тебя же куклы голодные! Кроме того, им скоро пора спать!

— Я все-таки будто бы внучек твой, а не будто бы внученька! — рассердился дедушка. — Мы, мальчишки, в куклы не играем, к твоему сведению! Ба-буш-ка!

— Правильно, — с неохотой согласилась Оля. — Тогда я позову Андрюшу и Катю, и вы устроите в избе трам-тарарам.

Дедушка даже запыхтел от возмущения, но промолчал, а Оля сказала:

— Не знаю только, как им объяснить, кто мы с тобой сегодня такие? Андрюша ведь не поймет: он уже большой. Зато Катя маленькая, и ей объяснять долго, по-моему, не придется.

Так оно и получилось. Второклассник Андрюша ничего не понял. Сидел он и, выпучив от изумления глаза и потеряв дар речи, смотрел, как дедушка ведет себя будто бы он внучек.

Трам-тарарам — это надо из раскладушки сделать дом, заползти в него, немного там посидеть, снова вылезти, опять заползти... и все время орать и хохотать!

А бабушка должна все время повторять:

— Тише, дети, тише! Пора кончать!

Вскоре после начала трам-тарарамы дедушка честно признался:

— Я устал. Мне давно пора есть и спать. Ведь я маленький.

— Хорошо, — с видимым удовольствием согласилась Оля, — но настоящие дети не просят спать, особенно днем.

— Он же дедушка твой, — в страхе прошептал ничего не понимавший Андрюша. — Чего это вы?

— Да она будто бы бабушка, — объяснила маленькая Катя, — а он будто бы внучек.

— Зачем?! — поразился Андрюша. Оля с Катей махнули на него рукой, и он в полном смятении убрел, а с улицы крикнул: — Ерунда какая-то у вас получается!

— Сам ты ерунда! — крикнула в окошко Катя, а Оля сделала ей за это строгое замечание.

— Хоть ты будто бы и бабушка, но ведь не моя! — обиделась Катя и ушла.

— Да, трудно быть бабушкой, — озабоченно проговорила Оля и принялась накрывать на стол.

— Маленьким быть несколько не легче, — со вздохом сказал дедушка.

А вот когда дедушка после обеда лег спать, а Оля пела ему убаюкивающие песенки (какие он пел ей, когда она была внучкой), он подумал, что совсем неплохо быть внуком даже в пожилом возрасте.

И вечером после ужина Оля укладывала его спать и опять пела убаюкивающие песенки...

— Завтра я снова буду я, — уже сквозь сон прошептал де-

душка; — а ты снова будешь ты... Маленькие все равно рано или поздно становятся большими. А большим все-таки никогда не стать маленькими...

— Спи, мой внучек, спи, — ласково прошептала бабушке Оля, — набирайся сил...

Она выключила настольную лампу, в темноте осторожно прошла к раскладушке, разделась, забралась под одеяло и, засыпая, с огорчением успела подумать, что ведь она могла сегодня еще долго-долго посидеть на кухне. Ведь она пока еще буд-то бы бабушка...

1981

### ЛЫЖИ СИНИЕ, ПАЛКИ КРАСНЫЕ...

— А почему все люди разные? — удивленно спросила Оля и настойчиво повторила: — Почему все люди разные?

Дедушка тоже спросил:

— В каком смысле — разные?

— Ну-у-у... — почему-то недовольно протянула Оля. — Неужели не понимаешь? Ну все, все, все люди разные! Почему?

— Почему? — опять спросил дедушка. — Станный и совершенно непонятный вопрос. Все люди разные? А как же иначе? Кошки, например, тоже разные.

— Мыши! Мыши! — радостно закричала Оля. — Мыши все одинаковые! Скажешь — нет?

— Скажу — нет. Они кажутся нам одинаковыми, потому что маленькие и видим мы их только мельком.

Они сидели за столиком в огороде и чистили смородину.

— Мыши — ладно, — сказала Оля. — Но почему даже бабушки и то разные?

— А бабушки?

— Но ты-то у меня один, а бабушек две.

Дедушка строго посмотрел на Олю и грустно спросил:

— Разговор опять о лыжах?

Она виновато посмотрела на него, кивнула и прошептала:

— Я не виновата.

— Я знаю.

И они молча чистили чернющие крупнющие ягоды, думая оба об одном и том же.

...Оле не разрешали кататься на лыжах, говорили, что сначала надо обязательно подрасти, прятали лыжи и палки тоже прятали.

Жалела об этом Оля, потому что лыжи были синие, а палки красные. До того они ей нравились, что она завидовала только тем девочкам, которые катались на синих лыжах, держа в руках красные палки.

Вообще-то Оле давно было известно, где спрятаны лыжи и палки, — в дальней комнате за шифоньером.

Несколько раз, когда дома все спали после обеда, Оля осторожно доставала свое богатство и будто бы каталась. И хотя под лыжами был не снег, а ковер, Оле все равно было хорошо и она любовалась своими синими лыжами и красными палками.

Но потом ей становилось грустно и обидно, до того обидно и грустно, что хотелось крикнуть: «Да не такая уж я маленькая! Есть поменьше меня, а всюю катаются! Я видела!»

Оля убирала свое богатство на место, садилась рисовать зиму и думала: «Все равно я будто бы покаталась на синих лыжах, в руках у меня были не какие-нибудь, а красные палки! Дома, на ковре, но покаталась ведь! И еще буду!»

Однажды дедушка навестил чуть прихворнувшую внучку, все вздумали пойти в кино и оставили их вдвоем.

— Сиди и смотри, — таинственно округлив глаза, попросила Оля. Она быстренько достала из-за шифоньера лыжи и палки. — Я катаюсь! Правда, здорово?

Тут дедушка посмотрел на нее долгим печальным взглядом, отвернулся и тихо сказал:

— Правда, здорово... Только больше не делай этого, пожалуйста.

Недоуменно пожав плечами, Оля убрала свое богатство на место, обиженно спросила:

— Почему? Ведь это мне так нравится... Я же не виновата, что очень хочу кататься на синих лыжах с красными палками!.. Ведь никто не узнает!

— Вот и плохо, что никто не узнает. — Дедушка поморщился, будто от зубной боли. — Ведь получается, что ты обманываешь, врешь.

— Как — вру?!

— Так...

Они молчали, молчали, молчали, растерянные, опечаленные.

— Я не понимаю, — сказала Оля. — Одна бабушка купила лыжи и палки, а другая кататься не дает... Я маленькая, но лыжи-то ведь тоже маленькие! И палки!

— Я очень прошу тебя, — глухо сказал дедушка, — больше не прикасайся к ним. Когда-нибудь я тебе все объясню. И не сердись на меня. И не обижайся.

Оля и не сердилась, и не обижалась на него, но ничего не понимала. Больше к своему богатству она не прикасалась, только очень часто вспоминала разговор с дедушкой и грустно взглядывала на шифоньер.

И вот даже сейчас, жарким летом, Оля опять вспомнила о холодной, но красивой зиме и подумала: «Лыжики мои бедные, палочки мои миленькие, что же вы там без меня делаете? Я тут загораю, купаюсь, в лес хожу, а вы... А мне сказали, что и в эту зиму мне все еще нельзя на вас кататься...»

— Дедушка, дедушка! — испуганно и очень громко позвала

Оля, хотя он был рядом. — А пока я здесь расту, лыжи и палки там тоже вырастут?

— Опять? — нахмурившись, с упреком спросил он. Оля кивнула, и он сказал: — Ты сама должна сообразить, что палки и лыжи, конечно, не растут.

— Хорошо, хорошо, я сама сообразила, что лыжи и палки не растут, — обиженно сказала Оля. — Тогда что получается? Я здесь подрасту, а они там останутся маленькими?

Дедушка посмотрел на нее долгим печальным взглядом, как тогда, зимой, когда она каталась на лыжах по ковру в комнате, проговорил холодно:

— Купим другие.

— Ты что? Мои-то обидятся! Они-то думают, что я буду кататься на них! Я им обещала!

— Это лишь в сказках, — со вздохом сказал дедушка, — вещи бывают живыми, то есть думают, обижаются, ждут кого-то или чего-то. А на самом деле...

— А на самом деле, — осторожно, но все-таки решительно перебила Оля, — ты вот разговариваешь с грибами. А когда ты колешь дрова, то разговариваешь с поленьями. Значит?

— Значит? — Дедушка улыбнулся, а потом и рассмеялся. — Значит, иногда я забываю, что грибы и поленья не умеют разговаривать.

— А я никогда не забываю свои синие лыжи и красные палки. Это смешно или глупо?

— Это не смешно и тем более не глупо, — серьезно ответил дедушка. — Это, в общем-то, даже замечательно.

— Почему? — обрадовалась и удивилась Оля.

— Знаешь, что... — Дедушка помолчал, задумчиво глядя на внучку. — Все же к вещам надо относиться так, как относишься ты. Будто они и в самом деле живые. Ведь делали-то их люди, и людям хотелось, чтобы сделанные их руками вещи приносили пользу и радость.

— Я так и знала! Я так и знала! — восторженно воскликнула Оля. — Только не могла выговорить! Вот почему я хочу кататься на этих лыжах, а не на новых!

— Тоже правильно, — вздохнув, согласился дедушка. — Я тебя понимаю. Я очень хорошо тебя понимаю. Просто ты взрослеешь.

— Не... неужели? — с трудом от охватившей ее радости спросила Оля. — Ты уверен?

— Представь себе. Я ведь тоже когда-то был маленьким. Замечательное это было время.

— А у тебя тогда были лыжи?

Дедушка сосредоточенно перебирал крупнющие чернющие ягоды. Оля несколько раз кивнула и озабоченно проговорила:

— Главное, куклам я обещала покатать их на лыжах. А кукол-то уж никак нельзя обманывать.

## УПАВШАЯ С НЕБА ЗВЕЗДА

— Дедушка, дедушка! — громко позвала, почти прокричала Оля, показывая обеими руками на темное вечернее небо. — Звезды-то летают! Они же летают, оказывается!

Далеко запрокинув голову, Оля смотрела на звезды и спотыкалась на каждом шагу.

— Нет, — сказал дедушка. — Это лишь кажется, что они летят, потому что ты идешь. Вот остановись...

— Вот всегда ты со мной споришь! — недовольно и обиженно воскликнула Оля, остановилась, долго молчала, смотря вверх, вздохнула. — Все-таки они немножечко...

— Нет, нет, — твердо возразил дедушка. Оля уже собралась совсем обидеться, как он проговорил: — Зато бывает, что звезды падают.

— Как? — поразилась Оля. — Куда падают? А поймать можно?

Они с дедушкой медленно двинулись дальше по улице. Оля лишь изредка взглядывала на небо, и в эти моменты ей все-таки казалось, что звезды трогались с места.

— Иногда звезды падают, — задумчиво повторил дедушка. — Летят они вниз, к земле, и по дороге сгорают.

— Все? — испугалась Оля. — Все, все... сгорают?

— Представь себе, — ответил дедушка.

Оля остановилась и неуверенно возразила:

— Не может быть. Неужели ни одна звезда не долетит до меня?

— Представь себе, не долетит, — ответил дедушка, — ни одна. Зато есть такое вот поверье. Если увидишь падающую с неба звезду и успеешь загадать желание, пока она не сгорела, желание твое обязательно исполнится.

— Как это? — спросила Оля.

— Да так, как я сказал. Успей загадать желание, пока звезда падает, и желание твое обязательно исполнится.

Была зима, темнело рано, и каждый вечер во время прогулок Оля не сводила глаз с неба. Звезд было множество, но ни одна из них, казалось, и не собиралась падать.

— Ты, по-моему, что-то напутал, — сказала однажды Оля. — Я все, все глаза проглядела, а...

— Я же предупреждал тебя, что это бывает редко, — сказал дедушка, — даже очень редко. Если мне не изменяет память, звезды падают, в основном, осенью.

— А я уже и желание придумала... — Оля тяжело передохнула. — Чтобы Эдик Сумкин перестал быть злым. Понимаешь, он очень здорово умеет кататься на коньках, а злой!

— Странно, — чуть удивился дедушка. — Очень здорово умеет кататься на коньках, а злой. Почему?

— Этого никто не знает. Даже он сам. Но ведь это очень неприятно, когда человек злой. Я его жалею.

— Ну, а в чем выражается его злость?

— Да во всем! — возмущенно воскликнула Оля. — Он просто все время злой. Ему скажешь: «Здравствуй, Эдик!», — а он отвечает: «Топай, топай отсюда!» Ведь неприятно, правда?

— Конечно, неприятно, — согласился дедушка, — но и непонятно. Если он сейчас злой, то что с ним будет, когда он вырастет?

— Он хвастается, что будет дрессировщиком и что его будут бояться даже волки. Вон, вон он... — прошептала Оля.

Под фонарем стоял маленький худенький мальчик в красной куртке и в красной с белой кисточкой шапочке. Он пинал обеими ногами столб.

— Здравствуй, Эдик, — тихо сказала Оля, когда они с дедушкой приблизились к мальчику.

— Топай, топай отсюда! — зло отозвался Эдик, отскочил от столба, разбежался и снова начал пинать его обеими ногами. — Топай, топай отсюда! — еще злее крикнул он.

— Видал? — Оля тяжело и часто задыхалась от обиды, а дедушка недоуменно спросил:

— Эдик, а что ты, собственно, делаешь?

— Что надо, то и делаю! — совсем зло ответил Эдик. — А раз вам делать нечего, вот и топайте, куда топали!

— В кого ты такой невежливый? — спросил дедушка.

— Сам в себя!

— А в кого ты такой злой? — строго спросила Оля, а Эдик крикнул, чуть ли не заорал:

— Не твое дело! С малявками не разговариваю!

— Тогда поговори со мной, — предложил дедушка, — ведь я-то не малявка. Объясни мне, пожалуйста, для чего или почему ты пинаешь столб?

— А просто так! Хочу и — все!

— Ну тогда пинай себе на здоровье, — насмешливо сказал дедушка и сумрачно продолжал: — Глупое, правда, занятие, но если ты ничего умнее придумать не можешь...

— Могу, могу, могу, могу! — Эдик даже запрыгал от злости. — Пойду девчонок в снег толкать!

И убежал.

Дедушка с Олей растерянно и удрученно молчали.

— Он взаправду будет девочек в снег толкать? — испуганно спросила Оля.

А дедушка мрачно ответил:

— К сожалению, такой на что угодно способен. И все же почему он столь зол? Маленький ведь еще, а уже злой.

— Он очень здорово на коньках катается, — жалобно прошептала Оля, помолчала и решительно произнесла: — Я буду стараться увидеть упавшую с неба звезду. Я загадаю желание, чтобы Эдик перестал быть злым.

— Видишь ли... — виновато пробормотал дедушка. — Это ведь что-то вроде сказки.

— Пусть, — еле слышно, но с отчаянием сказала Оля. — Я все равно загадаю. Я хочу, чтобы Эдик перестал быть злым.

— Будем надеяться, — неуверенно проговорил дедушка.

Всю дорогу домой Оля то и дело взглядывала на небо. Несколько раз она в страхе прошептала:

— Это же ужасно, если он будет толкать девочек в снег! — И вдруг она радостно вскрикнула: — Ой, летит! — споткнулась и упала.

— Ну вот! — огорченно вырвалось у дедушки. — Ушиблась? Больно?

— Неприятно... Но я видела упавшую с неба звезду! Как быстро пролетела звезда... сгорела она как быстро... я не успела загадать желание... А ведь, если бы я загадала, он бы не толкал девочек в снег!

Дедушка помог ей подняться, отряхнуть снег с шубки и растерянно пробормотал:

— Ну что ты... ну что ты... Расстраиваться-то зачем?

— Если все они так быстро... я же никогда не успею загадать желание!.. Значит, Эдик навсегда останется злым?

— Это зависит от него самого, — строго ответил дедушка. — Идем домой. Нас наверняка уже потеряли.

Бабушка, едва открыв дверь, обеспокоенно спросила:

— Что случилось?

— Я упала, но не больно, а только неприятно, — смущенно отозвалась Оля и, пока бабушка раздевала ее, рассказала об упавшей с неба звезде и злом Эдике.

— Противный мальчишка, — брезгливо произнесла бабушка, — совершенно испорченный.

— Но он прекрасно катается на коньках! Лучше всех!

— Не знаю, как он катается на коньках, но человек он очень плохой. Его бабушка просто измучилась с ним.

Оля на это ничего не ответила, хотя в глубине души все еще жалела злого Эдика и надеялась, что он исправится, если она увидит падающую с неба звезду и успеет загадать желание.

«Надо только быстро-быстро-быстро загадывать, когда увидишь, что звезда падает, — подумала она. — Чтобы Эдик не был злым... чтобы Эдик не был злым...»

Но пока Эдик был злым, и даже очень. Вскоре Оля сама убедилась в этом, и это принесло ей много горя.

Как-то она лопаткой весело копала снег у подъезда. Дедушка задержался в подъезде, разговаривая с кем-то из соседей.

Вдруг откуда ни возьмись рядом с Олей появился Эдик, закричал:

— Ага, попалась!

И обеими руками толкнул ее в спину. Оля упала лицом в сугроб и страшно испугалась, так испугалась, что даже пошевелиться не могла. Снег набился ей в рот, нос, залепил глаза.

— Негодный мальчишка! — услышала она в ту же минуту гневный голос дедушки. — Как тебе не стыдно!

— Так вот ей и надо! Так вот ей и надо! — издали донесся голос злого Эдика.

Дедушка поднял Олю из сугроба, носовым платком начал осторожно вытирать ей лицо, приговаривая:

— Только не плачь... только не плачь... чтобы этот злока не видел... что ты из-за него плачешь... что ты из-за него плачешь...

— Не буду, — мерзлыми губами с трудом выговорила Оля, хотя слезы уже блестели в ее глазах и готовы были хлынуть. — Ни за что не буду...

А вот дома Оля расплакалась, сколько ни сдерживалась. Плакать она перестала только потому, что бабушка и дедушка стояли рядом и молчали.

— Почему вы меня не утешаете? — дрожащим голосом спросила Оля. — Почему вы меня не жалеете? Знаете, как мне было страшно и обидно?

— Жалеют слабых, — сказала бабушка, — а ты сильная.

— Я сильная? — обрадовалась Оля. — Взаправду?

— Главное, что тот злока не видел и не слышал, как ты из-за него плакала, — сказал дедушка.

И весь вечер Оля провела весело: уж очень приятно было ей сознавать, что она поступила правильно, как бы трудно, обидно и страшно ей ни было.

Загрустила она только перед самым сном: все-таки было очень жаль, что мальчик Эдик живет таким злым.

Но она вспомнила, как он толкнул ее в сугроб, как кричал: «Так вот ей и надо!» — и твердо решила, что не будет загадывать о нем, когда увидит падающую с неба звезду. Он недостойн этого.

А она отныне будет мечтать о том, чтобы хоть одна-единственная, пусть самая маленькая, звездочка долетела бы до земли и Оля нашла бы ее, упавшую с неба...

Во сне она видела много-много летающих звезд. Они летали как будто бы наперегонки, кружились в веселых хороводах и даже вроде плясали, как девочки в детском садике на празднике... И вдруг одна звездочка отделилась ото всех, замерла в сторонке, словно к чему-то приглядываясь или чего-то выжидая, и быстро-быстро устремилась вниз, с каждым мгновением разгораясь все ярче и ярче. Звезда летела к Оле.

И Оля проснулась.

— Пойдем в садик пешком? — предложила она дедушке, — Может, я сегодня увижу упавшую с неба звезду?

Дедушка сказал, что если они пойдут пешком да Оля будет смотреть на небо и спотыкаться на каждом шагу, то они обязательно опоздают. Но зато дедушка обещал немного постоять у садика и посмотреть на небо.

Так они и сделали. Смотрели они, смотрели на огромное-огромное небо — все в звездах, но ведь как угадать, откуда именно одна из звезд устремится вниз?

— И все-таки это очень интересно, — со вздохом произнесла

Оля, когда почувствовала, что им с дедушкой пора прощаться. — Гораздо интереснее, по-моему, чем пинать столб или толкать девочек в сугроб.

— В том-то и беда его, — согласился дедушка, — этого зюлки в шапочке с кисточкой.

— Он, может, даже и не знает, что бывают на небе звезды, — полувопросительно сказала Оля. — А если даже и знает, то ничего не понимает. Хотя и очень здорово катается на коньках.

Через несколько дней Оля заболела, в садик не ходила, а когда стала поправляться, бабушка вечерами разрешала ей ненадолго выходить на балкон, дышать свежим воздухом.

Оля с удовольствием дышала свежим воздухом, смотрела на небо и думала, думала, думала: а вдруг когда-нибудь хотя бы одна-единственная, пусть самая малюсенькая, звездочка все-таки долетит до земли и Оля найдет ее, упавшую с неба... и, может быть, успеет загадать одно очень, очень важное желание...

1981

## КАК ЗВАЛИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Оля недоуменно сказала дедушке:

— Вы читаете мне одни и те же сказки, а я до сих пор даже не знаю, что такое Неизвестный солдат.

Дедушка ответил:

— Неизвестный солдат — это памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

— Но почему неизвестный? — удивилась Оля. — Неужели совсем никто не знает, как его зовут? Разве нет у него папы и мамы? Бабушки и дедушки разве у него нет? Может быть, у него дети есть? Сынок или дочка? И неужели даже они не знают, как его зовут?

Дедушка задумчиво взглянул на нее и печально ответил:

— Неизвестный солдат — это памятник не одному человеку, а всем, понимаешь, всем, кто погиб за нашу Родину. — Он опять задумчиво взглянул на внучку и скорбно продолжал: — Война была очень большая и страшная. На ней погибло много-много солдат. Так много, что каждому поставить памятник невозможно.

— Почему? — допытывалась Оля. — Почему?

— Потому, что памятников было бы много-много, так много...

— Ну и что? Пусть много-много. Ведь солдаты были хорошими людьми.

— Они были замечательными людьми.

— Но почему неизвестные? — изумилась Оля. — Знаю, знаю! — Голос ее обиженно задрожал. — Сейчас ты скажешь: подрастешь — поймешь! А мне надо знать сейчас! У нас в группе все говорят о Неизвестном солдате! Одна я ничего не знаю!

— И что именно говорят?

— Что видели Неизвестного солдата! Вот!

— И ты увидишь памятник Неизвестному солдату, — сказал дедушка.

— Когда? — восторженно прошептала Оля.

— Скоро.

— Это будет замечательно! — Оля облегченно вздохнула и с надеждой выговорила: — Может быть, мы даже узнаем, как его зовут.

— Я не скажу тебе: подрастешь — поймешь, — сказал дедушка и тяжело вздохнул. — Просто слушай меня внимательно. На той большой и страшной войне каждый солдат совершил подвиг, каждый был героем. Многие из них отдали жизнь за всех нас, в том числе и за тебя.

— За меня? — поразилась Оля. — Откуда же они знали про меня? Ведь, по-моему, меня тогда еще не было. Даже папы моего во время войны не было. Он мне рассказывал.

— Они погибли за всех детей, — скорбно произнес дедушка. — Понимаешь?

— Не очень, — призналась Оля. — Но я постараюсь. Мне главное — увидеть Неизвестного солдата и все-таки узнать, как его зовут. Понимаешь, — виноватым тоном продолжала она, — он погиб в том числе и за меня, а я не знаю, как его зовут. Это же нехорошо.

Дедушка промолчал, потом сказал:

— Ты увидишь памятник Неизвестному солдату. А сейчас пора спать.

— Конечно, конечно, — согласилась Оля. — Может быть, я уже сегодня увижу его во сне.

Нет, не увидела она во сне памятник Неизвестному солдату, очень расстроилась, даже завтракала неохотно, через силу, сказала:

— Все в нашей группе видели его, а он мне даже во сне не приснился. Что делать?

— Во-первых, не расстраиваться, — ответил дедушка, — во-вторых, собирайся и поехали. Увидишь памятник Неизвестному солдату.

Сначала Оля хотела завизжать от радости, потом чуть не запрыгала, но тут же стала серьезной, вроде как бы мгновенно повзрослела, тихо проговорила:

— Я все равно узнаю, как его зовут.

До чего же медленно шел трамвай! «Он не идет, а ползет, — с тревогой подумала Оля. — Надо было бежать. Я бы давно уже была там!»

Они сошли с трамвая и стали подниматься на высокую гору, они так долго поднимались, что дедушка несколько раз останавливался, чтобы отдышаться. Оля тоже тяжело дышала, но от нетерпения не могла стоять спокойно, упрямо и недовольно бормотала:

— А я... и... и нисколючко... а я и... и не устала... ни... ско... лечко... не...

И вот они стояли у большой чаши, в центре которой бился огонь. Около чаши лежало много цветов. Подходили люди, опускали цветы, молча стояли.

Где-то, казалось на небе, звучала тихая, печальная, но и суровая музыка.

— Она про войну? — прошептала Оля.

Дедушка кивнул.

Всю дорогу обратно они молчали. И дома Оля молчала. А уснуть долго не могла.

— В чем дело? — спросила бабушка.

— Я не видела никакого Неизвестного солдата, — недоуменно и даже обиженно ответила Оля.

— Но ты же видела памятник ему, — сказала бабушка.

А дедушка объяснил:

— Памятник — от слова память. Люди смотрят на Вечный огонь и вспоминают погибших за Родину. Каждый вспоминает своего родного, близкого или знакомого солдата. Понимаешь?

— Немного понимаю, — печально прошептала Оля, — совсем немного понимаю. Но у нас в группе говорят, что видели Неизвестного солдата. Может, врут?

— Не знаю, — пожав плечами, ответил дедушка. — Мы найдем с тобой памятник Неизвестному солдату. Обязательно найдем.

— Солдата или опять огонь? — настороженно спросила Оля.

— Солдата, — твердо заверил дедушка. — Спокойной ночи.

А через неделю они втроем — внучка, дедушка и бабушка — поехали на юг, к морю, в Крым, к дяде Вите.

Море Оле сразу понравилось, хотя несколько дней она его чуточку побаивалась.

— Да нисколько оно не страшное! — весело воскликнула однажды Оля. — Просто оно непослушное! И соленое-соленое! Даже пить его нельзя!

На юге, рядом с морем, все люди счастливые и добрые, даже когда море сердится, когда на море шторм.

А добрее всех был дядя Витя. Они с Олей крепко подружились, потому что она тоже была очень доброй.

Они подолгу беседовали о жизни. Оля рассказывала, какие неприятные случаи были с ней в детсадишке, а дядя Витя жаловался, как трудно ухаживать за виноградом и убирать его. И оба возмущались тем, что мальчишки всдут себя плохо, а некоторые девочки воображают.

— Вот ведь мы с тобой не воображаем, — говорила Оля. — И вседем себя хорошо.

— Да, я стараюсь, — соглашался дядя Витя.

Словом, жилось Оле до того привольно и интересно, что она и не вспоминала о Неизвестном солдате, пока вдруг не заметила, что на правой руке у дяди Вити нет среднего пальца.

— Это мне на войне фашисты оттяпали, — перехватив се испуганный взгляд, объяснил дядя Витя.

— Как это... от... тя... пали? — со страхом спросила Оля. — Ты разве был на войне? Почему же ты мне не рассказывал?

Этот их разговор закончился тем, что Оля осторожно спросила:

— Ты не знаешь, где можно увидеть памятник Неизвестному солдату?

— Да здесь, у клуба, — просто ответил дядя Витя.

Оля от радости и неожиданности так растерялась, что не могла ничего сказать, даже пошевелиться не могла.

— У клуба, у клуба, — подтвердил дядя Витя, удивленно глядя на нее. — А что?

— А то! А то! — радостно закричала Оля. — Мы с дедушкой давно его ищем! Я хотя бы во сне хотела его увидеть, да ничего не получилось!

И они — Оля, дедушка с бабушкой и дядя Витя — пошли к клубу. Оля шагала впереди, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать.

Солдат стоял не высоко, как обыкновенно стоят памятники, а просто на плите, на земле, за которую погиб, и поэтому казался живым. Он был молод и задумчив, чуть-чуть суров, в руках он крепко сжимал автомат, словно готовый в любой момент шагнуть с плиты в бой, если врагам вздумается обидеть Олю.

— Вот я и увидела тебя, — тихо сказала она. — Я знала, что обязательно найду тебя.

Солдат смотрел на Олю, а Оля смотрела на него. Они долго молчали. Оля сказала:

— Какой он хороший. По-моему, он очень добрый. Можно, я принесу ему цветы?

Бабушка присела в сторонке, а дедушка с дядей Витей молча стояли, опустив голову и не двигаясь.

Оля нарвала в траве букетик, подошла к солдату, осторожно положила цветы к его ногам в больших сапогах, присела на плиту...

По дороге домой дядя Витя рассказывал, какие ужасные бои были здесь, на крымской земле, как много погибло здесь солдат и моряков.

Весь вечер Оля ни с кем не играла, взяла цветные карандаши и бумагу, но ничего не нарисовала.

— Почему никто не знает, как его зовут? — спросила вдруг она.

— Все у нас в селе знают, — ответил дядя Витя. — Я вот зову его Петей. Был у меня такой боевой друг. Погиб в сорок третьем году. Бабка Александра, которая напротив нас живёт, зовет его Ваней. Сына так у нее звали. На мне подорвался. Каждый его по-своему называет.

Оля улыбнулась и сказала:

— Ну вот... Спокойной ночи.

## МОЯ ПРЕЛЕСТНАЯ ПОДРУЖЕЧКА

Вы знаете, никто в нашей группе не хочет со мной играть. Никто. Ни один человек. Ни девочки, ни мальчики.

Я уже даже не обижаюсь, когда меня обижают. Вот Петька Кривошеков отобрал у меня сухарик. Я сказала:

— Кривошеков, зачем ты отобрал у меня сухарик? Я бы его тебе и так отдала, если бы ты попросил.

Но он показал мне длинный-предлинный язык и убежал.

Я спросила воспитательницу тетю Галю, почему никто не хочет со мной играть.

— Потому, что ты много выдумываешь, — сердито ответила она. — И часто реवेशь.

— Зато я веселая и всех стараюсь рассмешить, — сказала я и расплакалась.

— Ну вот опять! — совсем рассердилась тетя Галя. — Только и знаешь реветь! — И ушла, хотя мне очень хотелось поговорить хотя бы с ней.

Почему-то все говорят, что плакать нельзя, что это стыдно. А как же мне не плакать, если никто со мной, никто не играет?

Плакала я так долго, что лицо у меня заболело, и я вдруг захотела на горшок. Пришла, а все горшки унесли мыть. Нянечка тетя Вера сказала:

— Вечно ты не вовремя хочешь!

А я так хотела, что снова расплакалась.

— Ну, и рева же ты! — рассердилась тетя Вера, ушла, принесла горшок. — Да перестань ты, надоело!

Она ушла. Колготки у меня были мокрые, а я не знала, что мне делать. В шкафчике (на нем яблоко нарисовано) были еще одни колготки, но если я буду переодеваться, тетя Галя опять рассердится, а Петька Кривошеков будет дразниться очень хорошими словами.

Лицо у меня все болело от слез, голова тоже болела. И еще мне было страшно.

Я знаю, что я очень маленькая. Младше всех в группе. И ростом я меньше всех.

Говорят, что это оттого, что я мало ем.

Мне есть неинтересно. Вот пить я люблю. Чай, компот, кисель, газировку, фруктовку — все-все!

Неужели никто со мной не играет потому, что я самая маленькая в группе? Но ведь зато я самая веселая. Я бы всех рассмешила, если бы со мной играли.

Противно в мокрых колготках и страшно. Скорей бы за мной пришли. Нет, еще очень долго ждать. Еще обед, потом спать, потом полдник, потом гулять... Выйдем мы во двор — все разбегутся от меня в разные стороны. Все начнут играть. И я буду играть. Только одна. Сама с собой. Каждый раз я думаю: а вдруг сегодня кто-нибудь согласится играть со мной? Хотя бы Петька Кривошеков...

Нет, все равно никто со мной играть не будет. Я знаю.

Ах, если бы у меня была подружка! Как бы я любила ее! Я бы ей все, все, все отдавала! Мы бы играли с ней в магазин, в больницу, в школу...

Я опять чуть не расплакалась. Но плакать было нельзя. Ведь опять все рассердятся.

Когда кто-нибудь плачет, я вот того обязательно жалею. Даже Петьку Кривошекова. И воспитательницу тетю Галю я тоже бы пожалела, если бы она расплакалась.

А вот когда плачу я, все почему-то сердятся. Будто я нарочно плачу, будто мне это приятно. Слезы из меня сами рвутся, даже лицу больно, а остановиться я не могу.

И все равно я разревелась, да еще очень громко. Пришла тетя Галя, что-то говорила, дергала меня за руку, но я ничего не слышала, зато уже не боялась больше. Это ждать, что тебя будет ругать, страшно. А когда ругают, как-то ничего.

Тетя Галя стянула с меня мокрые колготки. По-моему, вся группа пришла смотреть на это. А у меня ревелось все громче и громче, хотя я совсем не боялась.

Потом меня дразнили до самого обеда. Петька Кривошеков выдернул у меня ленточку из косички. Ну что я могла сделать? Плакать нельзя. Жаловаться тоже нельзя.

Я сказала им:

— Давайте не дразниться, а хохотать.

Хохотала я одна, но не от смеха, а просто так. Все равно мне делать больше было нечего.

Есть я никак не могла. Рот не раскрывался.

— Она опять не ест! — закричал Петька Кривошеков. — Воображает!

Тетя Галя ничего не сказала, но я-то знаю, что она еще больше сердится, когда молчит. Зато все она расскажет тому, кто за мной придет.

Я очень часто не знаю, кто за мной придет: мама или папа, дедушка или кто-нибудь из бабушек. Не знаю, к кому меня отвезут.

— Она и второе не ест! — закричал Петька Кривошеков. — Воображает!

Тетя Галя опять ничего не сказала, а меня прямо чуть не затошнило. Это очень ужасно, когда ну совсем есть не хочется, а надо...

Все равно рот у меня так и не раскрылся. Вот компот я выпила быстро и попросила добавки.

— Хи-и-итрая! — закричал Петька Кривошеков.

Нисколько я не хитрая. Это он хитрый. На меня жаловался, а котлету мою проглотил прямо как крокодил.

Спать я тоже не могла. Я лежала с закрытыми глазами и думала, почему все-таки никто со мной не играет? Вот Петька Кривошеков всех-всех обижает, а с ним все играют. Я никого никогда не обижаю, а со мной никто не играет.

Полдник я съела весь (целую булочку!) и два стакана киселя выпила.. Стали собираться на прогулку. Мне уже было хорошо. Ну поругают, что я медленнее всех одеваюсь... Зато скоро за мной кто-нибудь придет.

— А где у тебя ленточка? — строго спросила тетя Галя. — Потеряла, конечно?

Жаловаться нельзя. Плакать нельзя. Пусть считают, что я сама ленточку потеряла, что я разиня, что я все теряю... Одеваюсь я, конечно, медленнее всех. Неужели из-за этого со мной никто не играет? Да я просто еще не умею быстро одеваться. Раз я маленькая. И еще я думаю, когда одеваюсь. Думаю, думаю, например, о том, кто сегодня за мной придет, думаю, думаю; смотрю: все уже оделись...

Сначала во дворе мне грустно. Каждый раз мне кажется, что сегодня кто-нибудь согласится со мной играть... Но когда все от меня разбегутся в разные стороны, я постою немного и пойду играть одна, а потом и привыкну...

Все равно ведь я когда-нибудь подрасту и будет у меня не просто подружка, а прелестная подружечка! Она будет ходить ко мне в гости. Я буду ходить к ней в гости.

И тут я вдруг увидела мою прелестную подружечку!

Она лежала у забора, и с ней тоже никто не играл! Я так сразу пожалела ее, что чуть не заплакала.

— Здравствуй, Света! — сказала я. — Давай с тобой играть?

По-моему, Света сразу согласилась. Я взяла ее, прижала к себе, ну просто не знала, что мне с ней от радости делать! Я даже не догадалась ее поцеловать.

Главное, куда ее спрятать, чтобы ее не увидели, особенно Петька Кривошеков или тетя Галя. Я знаю, что все они скажут, что Света некрасивая и грязная. Ну и что? Дома я ее вымою с мылом, высушу, и она будет красивее всех девочек в нашей группе!

Света, по-моему, тоже боялась, что и ее ругать будут за что-нибудь. Я сказала:

— Ты ни о чем не беспокойся, Светочка, пожалуйста. Если хочешь, можешь даже заплакать. Я знаю, что зря не плачут, и никогда не сержусь на того, кто плачет.

И Света, по-моему, сразу успокоилась. Я расстегнула пальто, засунула под него мою прелестную подружечку, застегнулась.

Вся группа думала, что я одна, раз никто со мной не играет, а ведь мы были вдвоем!

Правда, Света оказалась мокрой, потому что была тряпичной и долго лежала на земле, но ничего! Скоро за мной придут.

А где она будет жить? Ведь я-то живу на разных квартирах. Оставляю ее у папы с мамой, Света меня будет ждать, а из садика меня заберет кто-нибудь из бабушек... Представляете, как Света будет скучать и беспокоиться!.. Придумаем, придумаем что-нибудь...

По-моему, Свете было уже очень хорошо. Ведь это же ужас-

но — лежать на земле... никто с ней не играл, как со мной. Я знаю, что это ужасно. Ничего, ничего, я нарисую ей глазки, носик, ротик, пришью ей руку, нашью ей много-много платьев!

Спать мы с ней будем в моей кроватке. Перед сном я буду рассказывать Свете сказки...

Я даже громко рассмеялась от радости. Пусть я самая маленькая в группе, но ведь Света еще меньше меня. А я знаю, что маленьких надо не ругать, а любить... Играть надо с ними обязательно.

Теперь я, может быть, не буду плакать в садике. Может быть, я даже и есть буду.

1981.

### ЧУМАЗЫЙ ФЕДОТИК

Если бы вы только знали, как плохо и трудно быть маленьким! Если тебе даже уже пять-шестой, то какой-нибудь воображада, которому всего-то-навсего шесть-седьмой, с тобой и зняться не желает!

Никто и не играл с Федотиком, а те карапузы, которым и пяти не исполнилось, его не интересовали. Ничего эти малявки толком не понимают, разговаривать с ними не о чем.

Вообще-то Федотик жил хорошо, а вел себя и того лучше. Ел он замечательно, спал великолепно. Не дрался он, не дразнился, не обзывался. Не с кем было драться, некого было дразнить и обзывать.

Лишь одно обстоятельство очень угнетало Федотика: времени он ужасно скучал, а еще чаще ужасно страдал от того, что на него мало обращали внимания. Страшно подумать, что его и ругали-то редко, почти совсем не наказывали. Не за что было ругать и тем более наказывать.

Вот и приходилось ревмя реветь, чтобы обратить на себя внимание. Тут его начинали бранить, дразнили и немного обзывали. Федотик в ответ ревел изо всех сил. Тут его начинали утешать, и, усталый, довольный, он крепко засыпал, спрятавшись на сеновале.

Выспавшись и восстановив силы, потраченные на рев, Федотик обнаруживал, что жизнь интересна и жить можно, даже если тебе пять-шестой. Можно, на худой конец, и с малявками поиграть, а самое главное — набраться терпения, подождать, когда тебе будет шесть-седьмой.

На краю деревни, у тракта, была автобусная остановка, и четыре раза в день сюда прибывал автобус. Из него выходили люди, приезжавшие к родственникам и знакомым погостить, а садились в него те, кто уже погостил.

Но никто, ни один человек ни разу не обратил внимания

на Федотика, когда он приходил на автобусную остановку. Все здоровались и прощались, обнимались, целовались, махали руками.

Федотик стоял в сторонке, завидуя и тем, кто приезжает, и тем, кто уезжает. Особенно он завидовал тем, кому махали руками и кричали:

— До свиданья! До свиданья!

И не передат, как он завидовал тем, кому кричали:

— Приезжайте еще! Приезжайте еще!

Грустным, обиженным на судьбу, возвращался Федотик домой, до того обиженным и грустным, что уже и реветь не мог, а просто очень сильно страдал и с горя ел горох в огороде. Горох он ел для того, чтобы живот у него заболел. Вот тогда на Федотика были вынуждены обращать внимание, ухаживали за ним. Сестра — семь-восьмой — сказки рассказывала, брат — восемь-девятый — книжки читал, а бабушка не отходила от внука.

Но иногда, увы, получалось так, что живот у Федотика становился, как барабан, но болеть отказывался.

Бедный Федотик, ну не болел у него животик!

Однажды он разыскал в огороде за баней в густой высокой траве горку битых закопченных кирпичей и задумал построить из них дом.

Дом Федотик построил хороший, но и вымазался здорово. Руки он кое-как обтер о траву и об трусики, а лицо так и осталось чумазым, чего он, конечно, не мог заметить.

К этому времени подоспела пора идти на автобусную остановку и там грустно смотреть на чужую радость, страдать, глядя, как встречаются и прощаются счастливые люди.

По привычке Федотик встал в сторонке, приготовился завидовать всем, но вдруг услышал веселый звонкий голос:

— Смотрите, смотрите, какой чумазый мальчик!

А другой голос прозвучал еще веселее и еще звонче:

— Вон, вон он! Чумазый, чумазый какой!

И пораженный Федотик обнаружил, что все смотрят на него и ему, именно ему, кричат:

— Чумазик, чумазик, как тебя зовут?

— Где ты вымазался, чумазик?

— До свиданья, чумазик!

— Чумазик, поехали с нами!

Прямо-таки оглушенный радостью, Федотик стоял не шевелясь, даже не помахав в ответ. Он стоял, не шевелясь до тех пор, пока из проезжавшей мимо машины не услышал восторженный голос:

— Смотрите, смотрите, какой чумазый мальчик!

— Меня Федотиком зовут! — наконец-то крикнул он вслед автомашине и махал руками так долго, что руки заболели.

Он уже собрался уходить, потому что очень устал от радости, как мимо прёкатил грузовик, в кузове которого было много людей.

И опять Федотик услышал:

— Смотрите, смотрите, какой чумазый мальчик!

— Приветик, чумазик!

— Чумазик, привет!

Люди в кузове показывали на него руками, хохотали, махали ему, что-то кричали.

— Федотик я! — крикнул и он вдогонку, немного помахал усталыми руками и чуть-чуть попрыгал.

Сил радоваться больше не было ни капельки, и он отправился домой, совершенно утомленный неведомыми доселе переживаниями.

Кроме всего прочего, он испытывал еще чувство необыкновенной гордости, но не представлял, как рассказать о случившемся бабушке, сестре — семь-восьмой и брату — восемь-девятый. Вдруг они не поверят, и это будет ужасно несправедливо.

Но то, что произошло дома, явилось для Федотика полнейшей и обиднейшей неожиданностью: его здорово бранили, а бабушка еще больно вымыла ему лицо и шею мочалкой да приговаривала:

— Грязнуля! Грязнуля! Грязнуля!

Вволю отревевшись на сеновале, Федотик очень крепко задумался над тем, что же произошло. Многие и многие люди заметили его, обрадовались ему, развеселились даже, что он чумазый, много и много людей махали ему руками, кричали ему «До свиданья!», а дома ему попало. Сестра — семь-восьмой — обозвала его поросенком, брат — восемь-девятый — припугнул, что чумазые не растут, а бабушка больно вымыла его мочалкой.

Кто тут прав?

Как тут быть?

Чистенький-пречистенький, Федотик пришел на автобусную остановку и в нетерпении ожидал, что же будет.

А ничего и не было.

То есть все было как раньше, как всегда — никто не обращал на Федотика внимания. Он сначала растерялся, потом горько обиделся. Из глаз его готовы были брызнуть слезы, когда он видел, что люди здоровались, прощались, обнимались, целовались, махали руками.

Федотик стоял в сторонке, завидуя и тем, кто приезжает, и тем, кто уезжает.

Укатил автобус, ушли приехавшие и встречавшие, и у дороги остался одинокий Федотик. Был он чистенький-пречистенький, никого не собирался ни дразнить, ни обзывать, драться ни с кем не собирался, а никому он был не нужен, никто и не взглянул в его сторону.

Пришел Федотик домой, думая, что и там ничего хорошего его не ждет.

А дома его встретили восторженно.

— Какой же ты у нас чистенький! — обрадованно сказала сестра — семь-восьмой.

— Будешь всегда такой, — сказала бабушка ласково, — всегда буду кормить тебя пирожками и блинами.

И хотя брат — восемь-девятый — промолчал, на душе у Федотика потеплело.

Но ненадолго потеплело на душе у Федотика. Уже через несколько минут он вспомнил, как был чумазым, как это было замечательно, и едва не заплакал.

Целую неделю Федотик прожил будто сам не свой, даже пирожки и блины ел плохо, спал неважно, потому что видел один и тот же сон: много-много людей машут ему руками, зовут его куда-то, смеются...

Не вынес однажды Федотик светлых воспоминаний и тяжелых переживаний, пошел в огород, отыскал в траве закопченные кирпичи, с отчаянием вымазал себе лицо и бегом, вприпрыжку примчался на автобусную остановку и от волнения долго не мог перевести дух.

Подкатил автобус, и он, не выдержав нервного напряжения, крикнул:

— Меня Федотиком зовут!

— Здравствуй, Федотик! — отозвалось несколько голосов сразу, а вслед за этим раздались:

— Посмотрите, посмотрите, какой чумазым мальчик!

— Эй, чумазик, поехали с нами!

— Его зовут Федотик!

— До свидания, Федотик!

Он видел махавшие ему руки, улыбавшиеся ему лица, кричал:

— До свидания! До свидания! Приезжайте еще!

Из отъезжавшего автобуса неслось:

— До свидания, Федотик!

— Приезжай к нам, чумазик!

Уже давно все разошлись, а он все стоял, словно огушенный счастьем. Его, счастья, было в нем так много, что больше и быть не могло, и Федотик отправился домой.

На сей раз, увы, никакой радости, тем более никакой гордости, он не испытывал. Ему было все равно. Федотик не думал даже о том, что дома за чумазость ему попадет.

Пять-шестой, а понимал, что сестре — семь-восьмой, и брату — восемь-девятый, и бабушке поведение его не понравится. Бранить его будут и больно мыть.

Но не угадал Федотик. Увидев чумазика, все только тяжело вздохнули, промолчали.

Пробовал он с горя гороха столько съесть, чтобы заболеть, — не получилось: не жевался горох и не глотался. Пытался Федотик с горя реветь — не ревелось. И даже лезть на сеновал, чтобы с горя поспать, — не захотелось.

Вечером брат — восемь-девятый — сказал:

— Вымойся-ка сам. Не такой уж ты маленький, чтобы самому не умыться.

Когда Федотик смыл с себя всю чумазость, бабушка накормила его любимыми пирожками — с малиной.

А сестра — семь-восьмой — перед сном рассказала ему сказку, любимую — про колобок.

Не ходил больше Федотик на автобусную остановку чумазым. Никто, ни один человек не обращал на него внимания. Все прощались или здоровались, обнимались, целовались, махали руками.

Федотик стоял в сторонке, завидуя и тем, кто приезжает, и тем, кто уезжает.

Грустным, обиженным на судьбу возвращался он домой, до того обиженным и грустным, что ни реветь с горя не мог, ни горюх в огороде есть не мог, чтобы живот заболел, просто залезал на сеновал и спал там с горя крепко-крепко.

Выспавшись и восстановив силы, потраченные на тяжелые переживания, Федотик обнаруживал, что жить можно, даже если тебе всего пять-шестой. Можно на худой конец и с малявками — три-четвертый — поиграть.

А самое главное — надо набраться терпения, подождать, когда тебе будет шесть-седьмой...

1980

## **БАБУШКА МОЯ ЕВДОКИЯ МАТВЕЕВНА**

Бабушка моя Евдокия Матвеевна была доброй и справедливой, но и очень строгой, иногда даже суровой. Она терпеть не могла, когда ее не слушались.

— Заболею от расстройства, если кто против моего слова пойдет, — нередко признавалась она.

Она действительно допустить не могла, чтобы ее не послушалась, например, курица, не говоря уже о кошке, тем более обо мне, внуке.

Дом наш стоял на берегу реки Усолки в городе Соликамске. Жилось мне вольготно, хорошо и весело, хотя и приходилось слушаться.

Как-то, когда я прикручивал к валенкам коньки, бабушка моя Евдокия Матвеевна сказала обеспокоенно:

— Лед-то на реке до сих пор тонок. Не вздумай по нему кататься. Провалишься, а то, чего доброго, и утонешь. Вытаскивать тебя некому. Берег высокий, а у меня ноги больные. Пока я к тебе спущусь, поздно будет.

Но ведь всем известно, что есть у мальчишек такая, скажем прямо, глупейшая особенность. Стоит им хотя бы краешком уха

услышать, что чего-то никоим образом, ни в коем случае делать нельзя, как мальчишки это обязательно и делают. Так в детстве часто поступал и я.

Конечно же я пошел кататься по льду! И лишь только я откатился от берега, в ушах у меня раздался громкий хрустящий треск, и я провалился сквозь лед, завопил от страха, даже глаза от страха закрыл, словно от этого тонуть было бы легче. Вернее, глаза сами собой закрылись, прямо-таки захлопнулись.

Страшно мне до того было и вопил я настолько истошно, что от собственного голоса мне стало еще страшнее, просто ужасно стало. Я не сразу сообразил, что не тону, а стою ногами на твердом дне. К моему счастью, воды оказалось всего по пояс, и вопил я уже радостно.

Открыл я глаза, обернулся, увидел на высоком берегу, далеко от меня, бабушку мою Евдокию Матвеевну, снова испугался, снова завопил не своим голосом и стал пробираться назад, к земле, ломая лед кулаками.

— Иди, иди скорей сюда, миленький! — звала бабушка моя Евдокия Матвеевна громко и ласково. — Побыстрее, дорогой! Сейчас ты у меня получишь, утопленничек! Да шевелись ты, шевелись проворнее, хулиган береговой! Ну и достанется тебе от меня, зимогор соликамский!

Зная ее характер, я несколько не удивился, что сначала она меня отшлепала, немного, но больно надрала уши, а уж потом только помогла переодеться в сухое белье, уложила на печь, дала аспирину и чаю с малиновым вареньем да еще растерла грудь и спину уксусом. Я пропотел, крепко и сладко поспал в тепле, но проснулся в страхе. Мне подумалось: «А что бы сейчас со мной было и где бы я был сейчас, если бы провалился под лед не у самого берега, а подальше?!» На жаркой печи мне стало холодно и жутко, как недавно в ледяной воде, до того жутко, что я едва не завопил истошным голосом.

Бабушка моя Евдокия Матвеевна еще в детстве, но на всю жизнь доказала мне, что старших надобно слушаться, как это сначала не было бы неприятно.

Она мудро рассудила и следовала этой мудрости неукоснительно, убежденная, что основные беды начинаются с непослушания. Как только карапузик или карапузочка решит, что старших можно не слушаться, так и сделает, может быть, первый шаг к тому, чтобы вырасти нехорошим человеком.

Случалось, конечно, что я бывал виноват перед взрослыми, особенно перед родителями, а вот бабушки моей Евдокии Матвеевны я после одного случая не ослушивался.

Настряпала она как-то морковных пирожков, вскипятила самовар, выставила варенья, пригласила меня к столу и давай угощать.

А я отказался есть пирожки.

То ли мне не захотелось именно морковных пирожков, то ли я просто есть не хотел, но — отказался.

Сейчас-то, более сорока лет спустя, когда я уже сам дедушка, понимаю, что ничего бы со мной не случилось, если бы я из уважения к заботам бабушки обо мне съел хотя бы два или три пирожка.

Но вот тогда, более сорока лет назад, я наотрез отказался прикоснуться к угощению.

— А ведь я для тебя старалась, — грозно проговорила бабушка моя Евдокия Матвеевна. — Изволь попробовать! Если ты пирожки есть не будешь, — отчеканила она, — я буду бить китайский сервиз!

Красоты и цены этот сервиз был редкой. Бабушка моя Евдокия Матвеевна гордилась им и пользовалась им только в особенно торжественных и исключительных случаях.

Берет она в руки чашку красоты и цены необыкновенной и тихо спрашивает меня:

— Есть пирожки будешь?

— А если я не хочу нисколько?

— Если ты пирожки есть не будешь, я чашку раскоаю!

А я небрежно пожал плечами: дескать, не рассказывайте мне сказки.

И чашка из дорогого во всех смыслах этого слова китайского сервиза была раскокана на мелкие кусочечки.

Конечно, я удивился, поразился, растерялся, но сдаваться не собирался.

Тогда и блюдо было раскоcano на мелкие кусочечки.

— Буду бить сервиз до тех пор, — глухо, с явным отчаянием произнесла бабушка моя Евдокия Матвеевна, — пока не станешь есть пирожки.

И об пол ударились вторая чашка.

А в руках оказалось второе блюдо...

И начал я есть пирожки, которые, кстати, были весьма и весьма вкусные, и съел я их немало.

Осколочки от двух чашек и одного блюда были собраны в стеклянную банку и выставлены в буфете на видном месте.

А еще расскажу об одном случае, когда я послушался бабушку мою Евдокию Матвеевну, и это пошло мне на пользу.

Очень страдал я от соликамских хулиганов, здорово мне от них доставалось. Немало я от них натерпелся и долго, долго боялся их. Дело дошло до того, что хоть и на улице не показывайся. Драться я не умел, а их всегда было не меньше трех штук. Отлупить меня им не представляло никакого труда, тем более опасности. Они всегда выбирали момент, когда я оказывался один, а поблизости ни одной живой души не было.

Я понимал, что, может быть, драться один на один и побеждать — дело интересное. Но какое удовольствие, радость какая — набрасываться на одного втроем, а то и впятером? Какая же это победа? Правда, иногда меня бил один Генка Сухарь, но ведь он был старше и сильнее меня, да тут же стояло несколько его дружков.

Проведав о моем, так сказать, житье-битье, бабушка моя Евдокия Матвеевна страшно возмутилась:

— Ну и рохля же ты, внук! И правильно они, зимогоры соликамские, делают! Правильно, правильно они делают, что такую рохлю, как ты, почему зря лупят! Почему бы им тебя, тюню, не колошматить, если ты не возражаешь?

Мне пришлось честно сознаться, что я очень боюсь их, что их несколько штук, а...

— Бери палку! — строго, даже грозно приказала бабушка моя Евдокия Матвеевна. — Палку бери и марш к ним! И палкой их, окаянных, палкой! Кусайся, царапайся, бодайся, — деловито перечисляла она, — и, главное, кричи: «Наших бьют!» и не убегай! А если убежишь, тебе от меня крепко достанется! И будет доставаться до тех пор, пока не перестанешь хулиганов бояться!

Я прекрасно сознавал, что она не шутит и не припугивает меня, а сделает именно так, как сказала. Картина представлялась неутешительная: мне либо от хулиганов попадет, либо от бабушки моей Евдокии Матвеевны.

Отыскал я палку, сам вышел на улицу, а душа моя ушла в пятки, точнее, убежала туда — до того я трусил.

Мне казалось, что я медленно, но верно топал на явную смерть. А топал я для того, чтобы сделать вид, что душа у меня будто бы не в пятках, а то бы я ее оттуда вытоптал.

И, конечно, едва я завернул за угол, как увидел Генку Сухря с его компанией. Они сразу двинулись мне навстречу. Ничего не соображая от страха, не понимая даже, в какую сторону мне от них убежать, я бросился к ним. На миг хулиганы растерялись, а потом принялись за меня, вырвав из рук моих палку. Но, попав, так сказать, в привычную обстановку, в положение вечно избиваемого, я немного очухался и заорал во все горло:

— Наших бьют! Бьют наших! Ох, как наших бьют! Бьют ведь наших, бьют!

Хулиганы опять на миг растерялись, и тут раздался грозный голос бабушки моей Евдокии Матвеевны:

— Стой! Ни с места! Стрелять буду!

Смотрю: в руках у нее обыкновенные, правда очень большие, грабли, держит она их наперевес, как винтовку, и кричит:

— Сейчас стрелять буду, а ты, внук, бей их почему зря! Бей, бей, не жалей!

Никого я ударить не успел: хулиганы рассыпались в разные стороны.

Больше они меня не трогали, хотя изредка пугали — кулаками-вслед грозили, что-то вслед выкрикивали, да и только.

Особой заслуги у меня в этой истории не было, но и страха перед хулиганами уже не было. А хулигану довольно почувствовать, что его не боятся, и он отстанет.

Всем бы такую бабушку, какой была моя — Евдокия Матве-

евна. Она и баловала меня щедро, а когда требовалось, не скупилась на самые щедрые наказания. Все мне было только на пользу,

1980

## СВЕТ В КОНЦЕ ДНЯ

Когда-нибудь, прелестное создание,  
Я стану для тебя воспоминаньем,  
Там, в памяти твоей голубоокой,  
Затерянным — так далеко-далеко...

*Из Цветаевой*

Когда он узнал, что стал дедом, ему захотелось прожить на этом белом свете как можно дольше, ибо на этом белом свете появилась она...

И он сразу пересчитал все свои болезни и недомогания, которым до сего придавал ровно столько значения, сколько они мешали нормально существовать и работать.

Теперь же недуги, даже самые малые и просто незначительные, воспринимались как неотвратимая возможность укоротить жизнь. И он возмутился, вознегодовал, обиделся, испугался, потому что отныне его жизнь принадлежала не только ему, но и ей.

Он полюбил ее глубоко и хрупко, сразу, еще не разглядев толком из-за трепетного волнения этого удивительно круглого личика, не в силах оторвать до стыда перед окружающими восторженного взгляда от двух дырочек в потрясающе курносом носике...

А раз он полюбил ее глубоко и хрупко, то, конечно, не умел выразить этого внезапного, но, как потом оказалось, долгожданного и воистину необходимого чувства. Те, которые любили ее буднично, у тех было множество примитивных способов проявить свое отношение к ней.

Еще тогда, когда на короткие минуты ему дали подержать в руках сверток с живым существом, теплота которого сразу проникла в него, он понял, что этому человечку суждено стать его последней и самой сильной привязанностью в жизни. И он с остротой, похожей на сладкую боль, осознал, что теперь будет думать, дышать, работать только для нее.

Но не последней, а первой любовью стала она для него. Ведь с ее появлением на белый свет многое-многое воспринималось им как много-много лет назад, когда он мчался на свидания.

Разница улавливалась лишь в одном: тогда, давным-давно, он не задыхался, взлетая по лестницам. Теперь он, увы, не взлетал вверх по лестницам, а тяжело подымался, брел, вверх, —

зато, быть может, задышался не из-за своих лет, а из-за любви к ней. Дыхание перехватывало пронзительное предчувствие близкой встречи.

Во всяком случае, свидания с ней вызывали трепет сердца, сжимали его почти до головокружения, как вроде бы не бывало тогда, давным-давно...

Она и старила и молодила его. Старила потому, что их одновременная жизнь на этом белом свете должна была стать все равно куда короче, чем до появления ее. А молодила она его тем, что вернула остроту чувств, их необыкновенное разнообразие, все их оттенки, вернула способность удивляться самым обыкновенным вещам. Он быстро привык вместе с ней заново открывать мир, потому что весь мир стал новым.

Нет, нет, она не заменила собой мир, но придала ему неисчислимую, немислимую без нее ценность.

Мир стал значительней и необъятней, потому что в нем была она и любовалась им восторженно и неустанно.

И смысл ее заключался не только в ней самой, вернее, не только в самом ее существовании, а в том, что она одаривала всех, кто был на это способен, своим отношением к окружающему ее.

В свете ее голубых глаз злые выглядели злее, добрые — добрее, ничтожные — ничтожнее, умные — умнее, — все выглядело в свете ее голубых глаз определеннее, безошибочнее.

Самые необыкновеннейшие дела, в которых он принимал участие с ней, становились для него полны неожиданной важности и почти первозданной прелести. А это и есть неувядание, это и есть обогащение души, возрождение, проще говоря, способность радоваться жизни, воспринимать ее как невиданный дар.

Ему и в голову не приходило попытаться угадать, почему она столь много для него значит, и уж тем более его не интересовало насколько, выделяет ли она его среди других родных. Ему навивно представлялось, что все к ней бескорыстно, как он...

Впрочем, все это продолжалось не так уж долго, до поры до времени.

Сначала единственное, что беспокоило, а часто тревожило и пугало, — это ощущение бега жизни, которая не шла, а бежала, что ли...

Как быстро росла она, так быстро мелькала жизнь.

Некоторое время жизнь ничем не омрачалась, кроме обычных событий — вроде прорезывания зубов и связанных с этим слез и рыданий, которые все-таки разрывали ему сердце.

И если для него она была только глубокой и хрупкой любовью и, как всякая настоящая любовь, не нуждалась во взаимности — лишь бы была! — то для других она стала возможностью утверждать свое мнимое превосходство, кого-то наказывать или унижать, потешить самодовольство.

Еще ничего не понимая, ожидая от окружающих лишь радостей и добра, она постепенно стала ощущать, что не все вок-

руг добры и не все хотят ей радостей. Не ее радовать, а ею наслаждаться стали некоторые.

А он, поражаясь их жестокости, бессердечности, выдаваемых будто бы за исключительную заботу, растерянно убеждался, что иногда то, что именуют любовью, бывает злее зла, подлее подлости.

Когда его впервые стали лишать счастья видиться с нею, он боялся подходить к дому, где была она, чтобы не натворить чего-нибудь. Еще больше опасался он расплакаться от несправедливости и бессилия прямо на улице...

Увы, это было только началом его истязаний. Пока он переживал лишь за себя, а она еще ничего не разумела, такое можно было переносить, хотя и не без жестоких страданий.

Но вот когда уже она стала страдать от того, что с нею поступают против ее желаний, ему пришлось призвать на помощь все запасы воли, терпения, не стыдиться даже унижений, которым он подвергался.

Она — росла...

И так как он видел ее редко, то с каждой встречей она представлялась ему стремительно повзрослевшей.

У него образовалось собственное представление о времени. Оно стало как бы длиннее, насыщеннее, почти материальным. Он ощущал время всем самим собой. От встречи до встречи проходили не дни и недели, а уходила его жизнь, и это он чувствовал почти непрерывно.

Со многим он свыкся, кроме одного. В любви к ней он был одинок и никем не понят. Никто не мог понять, как он любит ее и как бесконечно много она для него значит... И он даже не сердился на тех, кто его не понимал, потому что и сам до этого не подозревал о возможности хотя бы подобного чувства. Он-то к нему привык сразу, и лишь иногда, совсем изредка, оно и ему казалось по крайней мере не очень нормальным. Более всего смущало то, что в чувстве этом многие обнаружили старческую сентиментальность. И доходило до того, что он делал безуспешные попытки скрывать это чувство от всех.

В самом деле, думать о ней не переставая, ждать ее смеха, голоса и содрогаться от мысли, что жизнь может ей не удасться... Еще горче было сознавать, что он слишком рано может уйти из жизни. И не самоуверенность, а щемящая тревога подсказывала, что для нее лучше, что он есть. Не боялся, что она забудет его, — пусть, — а жалел он, что мало насладится ею и мало поможет ей...

...Незаметно он привык бродить по местам, где они когда-то бывали вдвоем, и горько и весело вспоминалось о запавших в сердце редких прогулках. Зашел он как-то на площадь к огромной новогодней елке, у которой в этом году не был с ней, и даже голова мгновенно отяжелела: один он здесь, один. Только он здесь — один... Показалось, что душевные силы на последнем

пределе, сосчитал, сколько дней не видел ее, — много, а еще сколько будет длиться испытание?

Но в одну из бесконечно длинных бессонных ночей, когда уже не верилось в способность сердца выдержать разлуку и все, с ней связанное, оно, сердце, как бы само по себе выдержало и даже не потребовало лекарств.

Его осенила спасительная, похожая на озарение мысль: ведь если ты из-за кого-то страдаешь, значит, живешь! А те, которые заставляют страдать, нет у них никаких настоящих радостей, одно только у них и осталось — сеять зло, выдавая его за добро. Ну, пусть они сейчас, сытно поужинав, крепко спят вблизи нее, пусть ты еще долго не увидишь ее, смеха ее колокольчикового не услышишь долго, но она все равно с тобой, она — в тебе, а с теми — лишь рядом. И как ты мог забыть, что все это — горькое, но редкое счастье?

А когда он понял, что дела его и труды ведь для нее, что когда-нибудь она узнает, что жил и работал он для нее, — значит, в ее душе он проживет дольше тех, кто сейчас распоряжается ею и им...

Он заново открывал с ней мир, ничего, кроме этого мира, не предлагая, а ей втолковывали:

— Бабуленька все купит, все!

Попала она в тот страшный для души мирок, где главным является купить, достать, достать, купить... И ее, маленькую, еще несмышленную, втягивали в этот мирок, уверяя:

— Бабуленька все тебе купит, все!

Жена как-то сказала ему:

— Подожди, подрастет и будет, как они, бегать по магазинам, и ничего от ее прелести не останется.

Сначала он, конечно, омрачился: может, вполне может случиться такое — купят ее.

Ну, во-первых, его к тому времени может и не быть уже. Ну, а во-вторых, не каждая же любовь бесконечна. Важно, что она была, и не бесследна для тебя. Ты пережил так много прекрасного, что — вполне может быть — больше судьбой и не положено.

Если ты скрупулезно будешь взвешивать радости и огорчения, разлуки и встречи, потери и находки, удачи и падения, — времени жить будет меньше, а сердце ожесточится.

Так будь же благодарен судьбе за каждый счастливый миг, за каждую светлую минуту и прости ей, если...

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	5
<b>ЗАВАРУХА</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	8
<b>ЛЮБОВНАЯ ДРАМА У НАС В БАРАКЕ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ</b>	
<i>Повесть</i> . . . . .	13
<b>ЖОРА СУСЛОВ И ЕГО КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	58
<b>ЕЛЕНА — РЫЖАЯ ВЕДЬМА — ГРАФИНЯ — ВИТЬКИНА СЕСТРА</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	74
<b>ПЕТРОВНА</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	84
<b>НИКИФОРОВ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	88
<b>МАМА НАДЯ, ЛЕНЬКА И Я</b>	
<i>Повесть в рассказах</i> . . . . .	90
<b>НЮРКА-РАЗБОЙНИЦА</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	108
<b>ФЕНЯ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	113
<b>СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	117
<b>ДУША НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	125
<b>МАМИНО СЛОВО</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	135
<b>ПИСЬМО МАМЕ</b>	
<i>Рассказ</i> . . . . .	140
<b>НАТАЛИ ПЕТРОВНА</b>	
<i>Повесть</i> . . . . .	142

## ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮБОВНИКИ

*Рассказ* . . . . . 224

## МАСТЕР ПО АВАРИЯМ

*Рассказ* . . . . . 240

## КАК Я НАПИСАЛ ГЕНИАЛЬНУЮ СТРОКУ

*Рассказ* . . . . . 246

## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСТВО

*Рассказы*

ПОЧЕМУ СМБЯЛСЯ ДОМ . . . . . 249

ТЫ — ЭТО БУДТО Я, А Я — ЭТО БУДТО ТЫ . . . . . 253

ЛЫЖИ СИНИЕ, ПАЛКИ КРАСНЫЕ... . . . . 258

УПАВШАЯ С НЕБА ЗВЕЗДА . . . . . 261

КАК ЗВАЛИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА . . . . . 265

МОЯ ПРЕЛЕСТНАЯ ПОДРУЖЕЧКА . . . . . 269

ЧУМАЗЫЙ ФЕДОТИК . . . . . 272

БАБУШКА МОЯ ЕВДОКИЯ МАТВЕЕВНА . . . . . 276

СВЕТ В КОНЦЕ ДНЯ . . . . . 280

**Лев Иванович Давыдычев**

**САМОЕ ДЛИННОЕ МГНОВЕНИЕ**

*Повести и рассказы*

Рецензент *Н. Васильева*

Зав. редакцией *А. Лукашин*

Редактор *Н. Гашева*

Художник *В. Капридов*

Художественный редактор

*Т. Ключарева*

Технические редакторы

*Н. Слесарева, Г. Пантелеева*

Корректоры

*Г. Борсук, Г. Черникова*

ИБ № 1642

Сдано в набор 24. 04. 87. Подписано в печать 27. 11. 87. ЛБ 19368. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. тип. № 2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,33. Уч.-изд. л. 20,493. Тираж 15 000 экз. Заказ № 505. Цена 1 р. 70 к.

Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Давыдычев Л. И.  
Д13 Самое длинное мгновение: Повести и рассказы. —  
Пермь: Кн. изд-во, 1988. — 283 с.

ISBN 5-7625-0046-2

Рассказы о сложности душевного мира современного человека,  
о вере, долге, любви.

Д 4702010200—8  
М152(03)—88 20—88

ББК 84Р7—44

**В 1988 ГОДУ В ПЕРМСКОМ КНИЖНОМ  
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫЙДУТ В СВЕТ КНИГИ  
ПЕРМСКИХ ПРОЗАИКОВ:**

**М. ГОЛУБКОВ,  
ЛОГА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ.**

**А. КРАШЕНИННИКОВ,  
ПОЮЩИЙ ОМУТОК. ПОВЕСТИ.**

**В. ЧЕРНЕНКО,  
ГОРЖУСЬ ТОВОЙ. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ.**

**Н. КИНЕВ,  
БЕЛАЯ РОЩА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ.**